

Annotation

“Рвач” (1924) – самый “криминальный”, с точки зрения цензуры, роман Эренбурга. В течение нескольких лет писатель тщетно пытался опубликовать его в России. Критика отзывалась о “Рваче” как “откровенно контрреволюционном” романе, проявлением “правой опасности в литературе”, опять-таки “поклепом” на новую Россию и т.д., поскольку в нем говорится о перерождении комсомольцев, превращающихся в годы нэпа в откровенных хапуг и спекулянтов. Роман анонсировался в составе 5-го тома собр. соч. писателя, который должен был выйти в 1928 г. в издательстве “ЗИФ”, но, будучи запрещенным, оставил собр. соч. без этого тома. Роман удалось напечатать лишь в собр. соч., вышедшем в 60-х годах, но с “покаянным” предисловием автора и множеством купюр.

- [Эренбург Илья](#)
 - [Телескоп, папаша, портной Примятин и нежный возраст героя](#)
 - [Два брата. Злодеяние на Рейтерской. Первый кутеж](#)
 - [«Кармен» в опере и «Кармен» в дарнице](#)
 - [Революция вообще и революция применительно к Михаилу](#)
 - [Герой уходит от революции. Революция приходит к герою](#)
 - [Подходящая партия. Бунт. Впечатление от одной каски](#)
 - [Возвращение в отчий дом. Знакомство со славой](#)
 - [Герой становится героем](#)
 - [Мофективная секция собеса](#)
 - [Шлем и партбилет. Стоимость улыбки](#)
 - [Эпизоды гражданской войны](#)
 - [Ольга](#)
 - [Идиллическая ночь и ее обрамление](#)
 - [Дальнейшие фазы интимной связи](#)
 - [Герой демобилизуется](#)
 - [Учение - свет](#)
 - [Новый человек и бывшие люди](#)
 - [Любовное объятие](#)

- [Глава о фраках](#)
 - [Так называемое «разложение»](#)
 - [Клеение марок](#)
 - [Одесские развлечения героя](#)
 - [Гражданин или муравей](#)
 - [Овчины. Еще одна страсть](#)
 - [Об одном отлучении](#)
 - [Исповедь на другой лад. Герой недоволен родиной](#)
 - [Герой находит достойную его героиню](#)
 - [Не то бескрылый, не то крылатый](#)
 - [Новая разновидность ангела](#)
 - [Профессор Петряков. Квартирный кризис. Неудачная любовь](#)
 - [Работа, сопровождаемая лирикой](#)
 - [Жизнеспособность гнили](#)
 - [Вопрос о рваче, о рвачестве](#)
 - [Заграничное образование. Язык себежских ворот](#)
 - [Шелк. Шелк](#)
 - [Его хватило на это](#)
 - [Техническое заседание с отступлениями](#)
 - [Жизненность героя. Нежизненность других](#)
 - [На десятой или пятнадцатой перекладине](#)
 - [Почти апофеоз](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Эренбург Илья

РВАЧ

Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, в час, когда весь мир нуждается в дожде!

Молитва еврейского первосвященника в Судный день

Телескоп, папаша, портной Примятин и нежный возраст героя

Можно было бы начать историю нашего героя восклицанием: «Злоупотребления в «Югвошелке» наконец-то раскрыты!» Но добросовестность принуждает нас начать издалека, не с «Югвошелка», а с телескопа, с большого хвостатого телескопа, который задолго до образования различных трестов плавал в круглом аквариуме, среди прочих рыбешек и кудластых травинок.

В Киеве, в Пассаже, где прятались порой ревматические чиновницы от дождя, а незарегистрированные барышни от неожиданной облавы, в грязнящем Пассаже помещался зоологический магазин Абадии Ивенсона. Витрины его несколько утешали и чиновниц, и девок, и просто случайных зевак. В левом окне преобладали чучела, ибо сам Абадия Ивенсон умел артистически потрошить орлов, белок и незабвенных болонок. Мифологические совы напоминали глазевшим дуракам о вечности. Что касается кролика, то он щипал гофрированную капусту. Под стеклами линяли оранжевые крылышки бабочек, а на стеклах тучнела пыль. Левое окно могло легко сойти за музей. В правом торжествовала жизнь. Зеленая квакша неизменно заседала на верхней ступеньке игрушечной лестницы, даже в ливень щедро обещая всем ревматикам хорошую погоду. Белые мыши то сбивались в клубок, то от кашля Ивенсона растекались во все стороны, так что делалось их много-много. Рябило от них в глазах. Притом они ухитрялись даже сквозь стекла обдавать прохожих особым запахом уютца и мышиноного бесхитростного благополучия. Над мышами возвышался аквариум, а в аквариуме плавал телескоп, с которого и следует начать нашу историю. Это был особенный телескоп, увечная рыба, подлинный инвалид подводной войны. Золотые рыбки не в счет: они плавали, жирели и дохли. Но по аквариуму сновала маленькая рыбешка с голубоватой чешуей. Породы ее не знал и Абадия Ивенсон, называя попросту «той самой рыбкой». Так вот «та самая рыбка» жесточайшим образом изуродовала телескопа. Как? За что? Дело рыбе. Она не тронула его прекрасного шлейфа, нет, она остановилась на глазах. Глаза у телескопов, надо

сказать, замечательные: две горошинки на ниточках. Глаза как будто чужие, взятые напрокат из оптического магазина. Может быть, эту неестественность и почувствовала «та самая рыбка». Так или иначе, она оторвала оба глаза телескопа. Странное дело, но безглазый телескоп с двумя дырами нежно-абрикосового тона казался чудовищным. Он плавал по-прежнему, по-прежнему заметал шлейфом песок, плотал облаточную бумагу, пускал пузыри. Но это была уже не рыбка, а живые страхи, бред мрачного Пассажа. Трудно понять, почему Ивенсон не выкинул его. Прилипнет, бывало, к стеклу чиновница, все хорошо, даже пятнистое брюхо тритона и то похвалит, а как только проплывет безглазый телескоп, перекрестится и вон, хоть под дождь.

Но была пара глаз, которой нравились эти дыры, нравились до блаженной идиотической улыбки, до слюней. Если стояла у окна старушка, мальчонок ее отталкивал. Он приходил к телескопу на свидание. И, увидев розоватые впадины, живые добротные глазенки Мишеньки как бы уплотнялись. Что ему понравилось в этакой пакости? Кто знает? Мало ли странностей у детей. Как-то раз Мишка, сжимая в кулачке тридцать копеек, полученные от крестного на карамель, храбро запросил самого Ивенсона, сколько стоит телескоп, не обыкновенный, глазастый, и вот «та самая рыбка». Стоили они вместе, даже с любительской скидкой, полтинник. Купить же одну из них Мишка не захотел. Мальчику тогда едва исполнилось восемь лет, но у него уже были и свои вкусы и, по всей вероятности, свои планы.

Во сне громадный слепой телескоп плавал по заплеванному, наслезенному, надышанному Пассажу. Он был завсегдаем этих теплых и душных снов, наравне с курами-танцорками. Это, разумеется, не наседки, мирно клюющие просо, но безголовые куры, вырвавшиеся из рук кухарок, чтобы протанцевать среди крови и помета несколько трагических па. Во сне прыгающие куры достигали каланчи, порой даже звезд, но кровь скверно пахла, и пальцы от нее прилипали к подушке, так что приходилось со сна кричать. Подзатыльник оказывался заработанным. Кроме традиционных кур, мальчику снились и гусеницы. В мае месяце по Пушкинской или по Бибииковскому бульвару можно ходить только задрав вверх голову: внизу происходят переселения гусениц, фиолетовых, изумрудных,

апельсинных. Прохожие безжалостно их давят, и зеленоватая каша достойным образом окаймляла Мишкины сны.

Думая о раннем детстве, Мишка, а впоследствии Михаил Лыков, прежде всего наталкивался на слепую рыбу. Потом уже показывалась аппетитная улыбка папаши, не улыбка, приличный намек на нее, улыбочка под мельхиоровым колпачком, как котлет де воляй, - можно приподнять, если только клиент захочет. Конечно, папаша умел улыбаться и по-другому, даже хохотать, но только при исключительных обстоятельствах, например в первый день Пасхи, когда он пил из зеленого бокала для рейнвейна, с отбитой ножкой, белоголовку, пил единым духом, объясняя это не порочной склонностью, а исключительно хромотой посуды, не терпящей пауз. Выпив, он смеялся, хрюкал, как боров на «Контрактах», и в итоге методически избивал престарелого пойнтера Трефа, ночевавшего у своей хозяйки, мадам Овчинниковой, и приходившего к Лыковым вроде как столоваться. Треф понимающе, даже сострадательно подымал паралитическую губу, роняя на колено папаши пену, и пытался по-собачьи улыбаться, но, не выдерживая методичности побоев, начинал скулить. Это, видимо, папашу успокаивало. Что касается Мишки и Темы, то он никогда их, как лицо цивилизованное, без крайней надобности не бил.

Вокруг папаши лепились различные ритуалы детских лет. Одни названия чего стоили! Все непонятные и дикие, они заменяли и «иже на небесах», и сказки Гримм. Это была волшебная заумь, молитвы, поэзия. «Тимбаль а-ля миланез» не раз ластилось, миловало, почти заменяя мать и даже сливаясь со смутными приметами мамы, которая умерла, когда Мишке было четыре года. От нее запомнились: коровьи ясные глаза, голубизна их, икота, нежная мелодичная икотушка, еще запах ношеного белья, родственный духу ивенсоновских мышек.

Что касается «шатобриана-бэарнез», то он означал основу основ, один заменяя то вязкое и огромное, для чего в школьном катехизисе имеется «троица» с тремя ответами (это по части зубрил) и с ломкими березками в июне. Как нежно, как благоговейно произносил эти слова папаша, торжественно подкрепляя их скрипом манишки! Манишка... У других людей манишка - деталь, предположение, слуховое окошко, пестрый клочочек под галстуком. У папаши манишка была всем, она

раз и навсегда проплотила его шуплое тельце. Папаша был живой манишкой, произносившей поэтические названия нездешних вещей. Когда утром он фыркал или плевался у раковины и, вместо горделивой белой пустыни, на впалой груди жалко болтались косички волос, Мише хотелось заплакать: папаша умирал на глазах. Старший брат, Темка, тот в нетерпении сдувал с манишки пылинки: скорей бы сделать папашу папашей!

Странное, однако, семейство. «Человек» и детишки - это как-то не вяжется. Кто же из посетителей ресторана «Континенталь» на Николаевской мог представить себе, слыша «буше а-ля рен», кровать с сеткой или лифчик, на котором, до известного совершеннолетия, держатся штанишки? Казалось, что не только семьи, даже имени не может быть у того, кто унижен или возвышен до обобщения, почти до абстракции: «человек». Однако у «человека», обслуживавшего столы двадцать два - двадцать восемь, направо от входа, было имя, притом самое обыкновенное: Яков Лыков. Были и дети, которые рождаются, очевидно, не считаясь с профессиональными особенностями родителей. Вне этого недосмотра Яков был образцовым «человеком»: он разрезал пулярку как виртуоз, безукоризненно угадывал соотношения специй в салатах и неприметно, грациозно, воздушно подсовывал счет именно тому, кому нужно. Если подрядчик угощал интенданта, то Яков, храня всю незамутненность государственной совести, тщательно скрывал от приглашенного ноли неприятных сложений. «Не извольте беспокоиться... уже-с!». «Ссс» долго, приятно свистело в ушах, как ветерок в приречной траве.

Утром, в засаленном номере газеты «Киевлянин», Мишка и Тема иногда находили необглоданную лапку фазана или ком слипшихся макарон. А папаша разглаживал газетный лист и читал, все больше о пожарах. Читал он вслух и крайне чувствительно - оплакивал какие-то сгоревшие «службы». Потом уходил в «Континенталь».

Братья играли в бабки. Братья росли.

Раз папашу вызвали гастрольно в кабачок «Босфор», что на острове. Он взял ребятшек с собой: пусть подышат свежим воздухом. Горели громадные буквы, но одна лампочка вскоре погасла, и ночь немедленно проплотила «р». «Босфо», однако, не унывало, веселье шло вовсю. Толстый господин разбил пустую бутылку, при этом он кричал на папашу. Он даже ударил его, хотя и небольно, - салфеткой

по щеке. Папаша не заплакал. Чуть-чуть улыбаясь, он заботливо обнял господина, поддерживая ручками тучный живот. Тогда изо рта толстяка полилась на манишку папаши красная кровь. Мишка визжал. Ему объяснили, что это не кровь, а вино. «Босфо», однако, осталось в памяти тем подлым местом, где салфеткой хлещут папашу, где люди плюются подозрительной краской, где, может быть, турок с вывески фруктовой лавки ночью потрошит детей, как Ивенсон своих болонок.

Но было одно воспоминание, страшнее и кур и «Босфо», по назойливости равное только телескопу. Кто знает, не играй сопливый Мишка в то далекое летнее утро на углу Малой Подвальной, возле чайной Терентьева, может быть, вся жизнь Михаила Лыкова сложилась бы иначе. Детей воспитывают по разнообразным системам, изучают влияние на них различных цветов и звуков, годами осторожно натаскивают их на всяческие чувства, а здесь в две-три минуты маленький Мишка, игравший в бабки на углу Подвальной, познал существеннейшую науку. Было это так: портной Примятин, почтенный, очкастый мужчина, вышел из чайной. Шел он неестественно, как будто обе ноги тянули его в разные стороны, а раздираемое туловище все время трепетало на распутье. Проходя мимо Мишки, он откровенно грохнулся наземь, хотя вовсе и не было скользко. Мишка струсил: портной решит, что это он ему подставил ножку, и потаскает пребольно за ухо. Но Примятин, приподнявшись с натугой, даже улыбнулся Мишке:

- Иди, брат, к жидам Леви, в третий двор, там студень готовят, а бабок прямо тысячи.

Потом Примятин прошел к себе (жил он в том доме, где чайная, четвертый этаж, вход со двора). Мишка о нем успел забыть. Вдруг он видит: вокошке, важный, еще важнее, чем всегда, очки на месте, даже синий широкий картуз с пушком. Портной машет Мишке одним пальцем, острым и длинным, как игла.

- Эй, мальчик!.. Бабки считаешь? Смеешься? Думаешь, я - Примятин, портной военный и штатский, на вывеске покрой, а по совести, чтобы трухлявые задницы утюжить? Врешь! Я и не портной. Я - жаворонок. Я в небесах играю. Я безо всяких шаров обхожусь...

Мишка потом отчетливо помнил все эти несвязные слова и отчаянный голос, то хриплый, кипящий внутри - это пока портной бубнил о покрое, то неприлично для такого почтенного человека

визгливый, когда он перешел на птиц. Засим наступило самое необычайное: Примятин вскочил на подоконник, помахал фалдами своего перелицованного сюртука и взлетел вверх, как был, то есть в очках и в широком картузе. Взлететь, конечно, не взлетел, чуть подпрыгнул и свалился вниз, шагах в десяти от Мишки. Красная краска брызнула, как будто маляр уронил ведро с суриком. Теперь-то Мишка знал, что это не вино, как в подлом «Босфо». Из чайной выбежали люди: потные ломовики, халатники. Чей-то узел в сутолоке развязался, и наземь посыпалось вшивое тряпье. Тяжелозада лошадь, стоявшая за углом, повела крупом и вдруг пронзительно, тонко заржала, рванулась вперед. Терентьев же боязливо оглядываясь на чайную, где в курносых чайниках откровенно булькала водка, крестился:

- Перехватил, а от этого другим беспокойство... Вот меры не знал человек.

Потом все разошлись. Только мухи, докучные мухи облепили живым пластырем мостовую.

Папаша вернулся домой как всегда, то есть под утро. В комнате уже серело, и в рассветном чаду он сразу увидал перед окошком большие оттопыренные уши Мишки.

- Ты что не спишь?

Мишка молчал. Папаша пытался понять, разузнать, урезонить и, только увидав, что все деликатные способы исчерпаны, раздосадованный молчанием, отстегал Мишку помочами. Мишка молчал. Мишка видел на углу Малой Подвальной, среди шелухи тыквенных семечек и конского навоза, расклеванного воробьями, широкий картуз портного, утюжившего трухлявые задницы, а на картузе краску, яркую, прекрасную краску. Не дотрагиваясь до своей спины, больно чесавшейся от помочей, он вдруг прокричал:

- Вы, папаша, сволочь! Все вы сволочи! А я вот... а я вот... жаворонком... И к чертям!..

Два брата. Злодеяние на Рейтерской. Первый кутеж

Тема был старше Мишки на два года. С лица они не походили друг на друга, никто не сказал бы, что это родные братья. Тема был сработан добросовестно, впрок, безо всяких любительских причуд. Ноги, хотя не длинные, но крепкие, как бревна, играли, пожалуй, первенствующую роль. Лицо же можно назвать привлекательным. Что с мальчика требуется? У Темы были умные серые глаза, при встрече с другими глазами никогда не пятывшиеся под брови, высокий лоб, вроде вывески: «Мальчик не глуп, правильно решает задачи на проценты, выйдет в люди», светлые курчавые волосы на предмет грядущей лирики (ведь, судя по всем романам, русским и переводным, женщинам нравятся именно такие волосы). Словом, наружность Темы была хоть и лишенной для паспортиста особых примет, но приятной. Характер тоже: ровный, спокойный, легкий. Он не носился по двору, крича от восторга, как сосунок, чтобы пять минут спустя с угрюмо отвисшей губой бежать в отхожее место из ненависти к миру и там часами отсиживаться, проклиная товарищей, себя самого, все и всех. Нет, это проделывал Мишка, а Тема играл, думал, учился, рос и как-то всем существом - телом, головой, особенно ногами - укрупнялся.

Папаша отдал обоих в прогимназию: пусть выйдут действительно в люди. Он был просто «человеком». Если приналечь, эти могут взобраться выше, стать, например, метрдотелями. И, разглядывая по субботам балльник Темы с триумфальными шеренгами пятерок, папаша приговаривал:

- Выбьешься, Тема?

- Выбьюсь, папаша.

Не следует, однако, думать, что это прилежание означало тупость или хотя бы посредственность. Тема был, что называется, весьма и весьма способным. Пятерки он срывал легко и просто, как яблоки в саду купца Головченки. Забор у купца был с колючками, но Тема смастерил клещатые палки и вечером, без риска продрать штанишки, угощал всю ватагу головченковскими ранетами. Он вообще был изобретателен. На салазки с рулем, которые он соорудил, чтобы,

слетая с Михайловского спуска, поворачивать налево, приходили плядеть взрослые. Один господин дал пятиалтынный:

- Что же, может быть, инженером будешь...

Тема дружелюбно улыбнулся:

- Может быть, инженером...

Инженером, или метрдотелем, или купцом, вроде Головченки, - это еще неизвестно, выяснится впоследствии. Во всяком случае, не «человеком», как папаша: выше.

Папаша за Тему и не боялся. Вот Мишка - другое дело. Может из него выйти и нечто замечательное, гениальный метрдотель, которому место не в «Континентале», а в самом Петербурге, сервировать какой-нибудь дипломатический банкет. А может, и наоборот - свихнется. Мало ли мазуриков проводят по Львовской - голова бритая, халат, две шашки наголо - в Лукьяновку, а оттуда дальше, в Сибирь, где нет никаких банкетов, снег, камень, смерть. Что будет с Мишкой? Все в нем как-то ненадежно. Оставить на столе полтинник и то нельзя: стибрит. Потом или нажрется пирожных в самой шикарной кондитерской Жоржа, как будто он сын владельца «Континентала», или, того глупее, отдаст целиком полтинник паршивым попрошайкам, которые шляются из Соловков в Лавру, растравливая солью гнойные язвы и выклянчивая у честных людей «милостыньку».

Даже наружность Мишки казалась подозрительной: покойница была русой, папаша, прежде чем полысел, брюнетом, а Мишка шевелюрой всех озадачил. Жесткие волосы с неукротимым чубом, и не золотистого цвета, не то чтобы рыжеватые, нет, откровенно рыжие, рыжее не бывает. Чуб издали казался язычком огня. Лицо капризное, подчас злое, но с большой оговоркой: глаза. Может быть, вводил в заблуждение пигмент: как бы опровергая волосы, глаза были темно-карие, глубокие, почти ангелические в их печальной доброте. Такие глаза бывают только у очень старых, замученных палкой погонщика ослов. Какой подлог совершила природа, снабдив Мишку долготерпеливыми, страдальческими глазами! Или правда были в нем лирические залежи, где-то далеко, под злостными проказами, в стороне от мертвой хватки, залежи, не известные ни папаше, ни Теме? Разве нет таких глаз среди тех, кого проводят по Львовской с бритой головой?

Встречные, впрочем, замечали прежде всего Мишкины руки. И глаза и чуб оставались на месте, а руки рвались вперед. Откуда они взялись? Ни Яков Лыков, ни покойница здесь как будто ни при чем. Такие руки нужно суметь придумать. Очень тонкие, белые с синью, не загоравшие даже на июльском припеке, они, упавшие, казались столь беспомощными, столь умилительными, что можно было, глядя на них, даже забыть про чуб. Но потом руки взлетали, проступали жилы, оказывалось, что они - притворщицы: сильные, хваткие, отчаянные. Такие руки все могут. Главным образом - рвать. И не раз, случайно взглянув на уличного мальчишку, гонящего собак, прохожий с некоторой первичностью думал: «Странные руки... бумажник?.. Нет, цел... красивые руки... однако такие дети, предоставленные соблазнам улицы, - это серьезная социальная опасность...» А мальчик, не видя ничего примечательного в своих руках, запачканных чернилами или вишневым соком - в зависимости от сезона, - продолжал гонять собак. Все кобели Еврейского базара его боялись.

Не только кобели. Здесь следует раскрыть одно злодеяние, имевшее место на Рейтерской улице глубокой ночью. В доме Неховецкой помещалась «венская булочная» госпожи Шандау, которая всем в околотке была известна медовыми пряниками с имбирем, а также желтоглазым сиамским котом Барсом. И пряники и Барс являлись гордостью владелицы булочной Минны Карловны Шандау, гордостью справедливой. Других таких пряников в Киеве не было: пахучая хрустящая корочка, а под ней не мякиш - золотой пух. Кот же походил на все что угодно, только не на кота: рысьи глаза, львиные повадки, а ум какого-нибудь сенбернара. Минна Карловна уверяла, что кот на выставке кролиководства (да, почему-то именно кролиководства) получил почетный отзыв и серебряный вазон. Это вполне возможно - ведь приходили же за ним как-то господа с Липок, просили отпустить на денек: на Банковской улице якобы существовала сиамская кошка с неразделенными чувствами. Минна Карловна хоть и была польщена, но кота не дала. Как же она могла расстаться с Барсом, с Барсиком, который спал под венской периной, а утром пил сливки (молоко, даже цельное, кот презирал, очевидно сознавая, что он не простой, но сиамский)? Мишка, кажется, был единственным посетителем булочной, не достаивавшим Барса вниманием. Кот его

никак не интересовал. Нельзя этого сказать про имбирные пряники - на них шли различными путями добываемые гривенники. Но случилось несчастье: как-то Мишка пришел покупать для папаша франзоли. Запах медовой корки его особенно сильно потряс, а гривенника не оказалось. Он вышел, вернулся, понюхал, снова вышел. Запах из этой борьбы вышел победителем: Мишка попытался стянуть большущий пряник, но промахнулся, задел поднос, и поднос звякнул. Пойман с поличным! Если бы Минна Карловна его избила, избила до членовредительства, если бы она позвала городского и преступника повели бы в часть. Мишка знал бы: за дело, больно, несправедливо. Но то, что сделала Минна Карловна, возмутило его неожиданностью и обидностью. При всех - в булочной находились тогда и кухарка Неховецкой, и какой-то студентик, преглупо гоготающий, и еще напуганные ребята - она закричала:

- Иди отсюда, ничтожный мальчик! Я плюю на твою душу!

Правда, Минна Карловна это только сказала. Она и не подумала плюнуть на Мишкину душу, но страшная обида была нанесена. За пряник, подлюга какая, посмела плюнуть на душу! Убить ее? Сжечь дом Неховецкой? Хорошо бы именно сжечь и с угла плядеть, как горит эта ведьма со всеми ее франзолями. Но как это «сжечь»? Дом каменный, если даже раздобыть бутылку керосина, и то не выйдет. Сжечь булочницу Мишке так и не удалось. Но плакать ее он заставил. Перины оставались несмятыми, утренний кофе со сливками нетронутым. Никакие «кис-кисы», в трагической шепотности слышные даже на Подвальной, не помогли. Барс, гордость околотка, лауреат конкурса, духовный владелец серебряного вазона, идеал кошки с Липок, раритет, сиамец, Барс исчез.

Ночью по Рейтерской Мишка волочил мешок. Дойдя до церковного дворика, он оглянулся - прохожих не было. Тогда он принялся кирпичом утрамбовывать прыгавший мешок. Оттуда шло томительное мяуканье: жаловался и умирал сиамский кот, как все коты мира, - раздирающе. Мишка улыбался. Ему казалось, что это отвратительно мяукает не какая-то хвостатая, хотя бы и сиамская тварь, а душа самой Минны Карловны, поганая душа, которая просит пардона, бьется и гибнет. Он же, Мишка, плюет на нее, вот так, сквозь зубы, тонким плевочком.

Труп Барса утром нашли на паперти. Неделю спустя Абадия Ивенсон вручил безутешно рыдавшей Минне Карловне чучело, не чучело - шедевр. Преступник обнаружен не был. Хотя имелись некоторые подозрения, прямых улик не оказалось. Как-то Неховецкая, стоя у окна булочной, сказала Минне Карловне:

- Миленький мальчик. Поглядите, какие у него изящные руки!

Это Мишка нагло разглядывал имбирные пряники в витрине. Минна Карловна только вздохнула. Не одни кобели боялись Мишки.

Можно сказать, что минутами его даже папаша побаивался. Только Тема, тихий Тема, отзывался о брате пренебрежительно: «Трус». Он знал некоторые особенности Мишки: дрожь, неожиданное заикание, даже мелькание пяток. Напугать Мишку окриком или затрещиной было немыслимо - он распалялся, чуб твердел, руки рвались в бой, начиналась наглость. Но стоило ему натолкнуться на нечто спокойное, на неморгающий взгляд или на уверенную широту Темкиных плеч, как он сразу спадал стона, смущался - девочка, и только, - причем изумительные руки приходили на выручку: так они - руки, ручки, бедные ручонки, смиренно складывались на груди: «я не играю», «я больше не буду», «прости». Это не было лицемерием: руки Мишки служили «за все». Очевидно, Мишкина субстанция, та самая душа, на которую хотела плюнуть Минна Карловна, далеко не отличалась твердостью и жесткостью его шевелюры.

Исторической датой его жизни можно назвать первый кутеж, кутеж поневоле в отдельном кабинете папашиного «Континенталя». Кутил приезжий, полтавский сахарозаводчик Гумилев с маклером по продаже домов Розенцвейгом и с думцем Ламановым. В блокноте папаши значилось: «Мадера-драй - 2, Мумм - 3, Шабли 1898 - 4» (это не считая двух графинчиков к закуске). Ассортимент напитков уже давал себя знать, когда Гумилев, которому надоели еврейские анекдоты Розенцвейга о «Балте-Балте» и похабщина Ламанова, клявшегося, что в Бухаресте «мальчики этак раз в четыре дорожке девочек», решил вступить в беседу с плешивым официантом:

- Человек, ты к б... ходишь?

«Человек», то есть папаша, сообразив, что от него требуется, почтительно улыбнулся:

- По слабости природы унижаю себя. Прикажете на сладкое парфе или куп-сен-жак?

- Нет, ты мне скажи, почему это такое, ты к б... ходишь?

- Виноват, - как на исповеди вздохнул папаша.

- Женатый?

- Восемь лет - овдовел. Детишек оставила покойница.

Последнее папаша добавил, полагая, что, раз беседа принимает столь интимный характер, упоминание о детках может размягчить сердце подвыпившего сахарозаводчика и тем увеличить чаевые.

- Детишки? Ха, у тебя, человек, детишки? А ну-ка, подай нам сюда своих детишек! Мы их молочком угостим.

Папаша твердо знал: гость спрашивает, человек подает. Отказа быть не могло. Но никогда никакой клиент не спрашивал у него детишек. Парфе, мадеру-драй, наконец, девочек - все это в порядке вещей. Но детишек?.. Неприличие было явным. И все же нужно было подать: гости высшего качества, из тех, что в карте напитков, не глядя, тычут пальцем пониже, где значится самое дорогое.

Когда папаша, полчаса спустя, ввел Мишку, лучше бы сказать «подавал», ибо чувствовал, что подает гостю с причудой блюдо хоть и невкусное, но редкое, на особый вкус, Гумилев успел уже заесть, запить, даже заспать (чуть вздремнул) свой разговор с официантом.

- Это что же?

- Изволили спросить детишек. Это сын мой.

- Сын?

Гумилов, напрягаясь, хотел что-то вспомнить, но не смог, его голова окончательно замлела, он только приказал дать мальчику бокал шампанского. Мишка залпом выпил и, вспомнив домашние повадки отца, понюхал корочку хлеба. Ламанов захохотал:

- Дурачок, это не водка! Это «Мумм». Экстра сэк. Хочешь еще?

Мишка выпил еще, и третий, четвертый. Глаза его остановились, стали круглыми, яркими, чрезвычайно похожими на стекляшки, которые употреблял для чучел Абадия Ивенсон. Лоб покрылся красной сыпью. Он был дик и достаточно страшен, но никто на него не глядел. Ламанов пил мараскин, рюмочку за рюмочкой, и, щелкая стеклянную пуговку на своем жилете, смеялся: видно, ему было весело с самим собой. Розенцвейг в этой переделке пострадал, он был патетически бледен, на кончике длинного носа накопились крупные капли пота. Время от времени он порывисто вскакивал и несся в угол, к плевательнице, но все же не поспевал. В кабинете начинало

попахивать. А сахарозаводчик все пытался вспомнить: почему он затребовал детишек? О чем это он давеча говорил? Вспомнив наконец, как будто и не было часового перерыва, он тупо повторил все тот же вопрос:

- Почему ты к ним ходишь, человек?

Ответа не последовало. Как папаша теперь ни силился, он не мог ничего придумать и решил ограничиться улыбочкой. Гумилов, однако, не удовлетворился.

- А скажи мне, человек, какие они, жареные или маринованные?

Папаша явно плошал и терялся. Он не только молчал, его знаменитая улыбка становилась все более и более жалостливой. Хотя на нем имелась торжественная манишка, казалось, он с каждой минутой вянет.

Доконал его последний вопрос:

- А что ж, у тебя ребятишки тоже от б...?

Здесь из-под груди «человека», которая определенно существовала, хоть и блиндированная манишкой, из-под впалой груди, покрытой косицами волос, раздалось подозрительное хмыканье. Весьма возможно, что минуту спустя папаша и оправился бы, вспомнил свои профессиональные обязанности и предложил бы любознательному Гумилеву - «еще кофейку-с». Но в дело вмешались, для всех совершенно неожиданно, Мишкины руки. Они рванулись вперед и, схватив с пирамидчатой вазы большую, сочную, изнемогавшую от спелости и от сладости грушу, швырнули ее в наивно ослабленную физиономию сахарозаводчика. Произошло общее смятение. Папашин визг, визг потерпевшего, который вскочил и, тотчас упав на задний диванчик, скатертью утирал щеки, залитые соком дюшеса, смех Ламанова и методические звуки несчастного Розенцвейга, в углу над плевательницей, - все это шло под аккомпанемент разбиваемых стаканов и падающих стульев. Только Мишка был спокоен, над катаклизмом высился его чуб. Он важно прошел к креслу, где до инцидента с грушей восседал Гумилов, небрежно развалился и гаркнул прямо в лицо смущенного кутилы:

- Эй, человек, - теперь ты у меня «человеком» будешь! Подай «кофейку-с»! Понял? И еще отвечай, брехун цыплячий, у тебя, между прочим, супруга или сука? Скорей всего сука...

Дома папаша долго и нудно порол Мишку. Порка была обоснованной, и Мишка молчал. В этот день все ему казалось простым и серьезным: дождаться случая, спихнуть вот такого и самому сесть на его место, чтобы все «человеки», чтобы все метрдотели, чтобы все управляющие мира пели бы хором: «Кофейку-с». Папаша никак не подозревал об этих фантазиях. Он думал, что мальчишка вступился за честь покойницы. Поэтому ему было стыдно пороть Мишку. Но что же делать? Надо приучать мальчика быть почтительным с гостями, чувствовать дистанцию. И все же папаше было стыдно. Он порол молча. Молчал и Мишка, думая о своем, совсем не о матери с ее мелодичной икотушкой, но о коленопреклоненных управляющих. Потом оба легли. Но Мишка не мог уснуть. Под утро папаша проснулся от нежнейшего прикосновения: над ним стоял Мишка и слабенькой ручкой ласково гладил его тощие щеки.

- Папаша, какой же вы глупенький! Ведь у того, что блевал, из кармана торчал бумажник. Толстющий. Наверное, все сотенные. Вот бы нам!.. Не им же оставлять. Свиньям таким: весь кабинет запакоостили. А вы, папаша, как ребеночек, ничего не понимаете...

Папаша со сна долго не мог разобраться, что это вздумалось Мишке. Поняв же наконец суть его сетований, он сокрушенно вздохнул, не поленился, хоть и был смертельно усталый, встал. Мишка был выпорот вторично. Мишка молчал, злобно на этот раз молчал. Портной Примятин был прав: если не вверх, то лучше уж наземь...

«Кармен» в опере и «Кармен» в дарнице

Всякое детство душно. Не в нежные ли годы плотнее всего облепляет слабое человеческое естество костенеющая скорлупа быта? Но есть духота теплая, духота материнского тела, телесной животной теплоты, идущей от свежесполитых огуречных грядок, духота кладовок со всяким занятным скарбом, буфетов с шепталой, духота саше в белье, дядюшкиных шуб, яичного мыла, левкоев, слез. Мишкино детство было душным по-иному: терпкой, жесткой духотой - детство многих, достаточно обычное детство, наперекор вывеске игрушечного магазина, отнюдь не «золотое», даже не золоченое, откровенно оловянное, «третий сорт».

В прогимназии, отзубрив проценты, перешли к учету векселей. «Случаев» же не было, и хоть странно это, но правда: необыкновеннейший случай, приключившийся в тот год со всем человечеством - война, - Мишке показался мелким, не достойным внимания, ничтожней любого уличного скандала. Война? Что она меняла в его жизни? В прогимназии отслужили молебен. Иные из сверстников Мишки, толкаясь у старенькой карты, висевшей в актовом зале, брали австрийские крепости. Это ли «случай»? Наводнение и то интересней. Жизнь оставалась неизменной, и быстро навстречу Мишке, вместо неслучающегося «случая», неслась третьесортная карьера мальчика на побегушках. Тема волнуется? Читает газеты? Но Тема - баран. Мишке плевать на войну.

В ту зиму, первую зиму войны, его взволновало совсем другое, с виду зауряднейшее событие: он раздобыл билет в оперу. Давали «Кармен». Мишка сидел аккуратно, и, наблюдая за ним со стороны, можно было подумать, что он порядком скучает. Только в конце, когда раздались жиденские хлопочки, приличия ради, тех, что боятся утрудить ладоши, но все же жалеют актеров, Мишкины руки перелетели через бархатный барьер. Они не аплодировали, нет, они рвались к сцене, где за линиялым занавесом остался чудесный хлам, скалы, контрабандисты.

Ночью Тема проснулся от непонятных звуков. Как будто кто-то мычал по-телячьи. Звуки шли от Мишкиной кровати. Странно:

Мишка не плакал никогда, он, кажется, и не умел плакать.

- Ты это что? Зубы болят?

- Ах, Тема!..

И Мишка выпростал тонкие руки. Нелепо стал он рассказывать заспанному брату о каких-то скалах, о темных страстях, где рядом роза в зубах и нож. Тема отчаянно зевал.

- Глуposti это. И как тебя может интересовать подобная ерунда? Ты только подумай: война. Я вот весной обязательно убегу на фронт.

- Да нет же! Конечно, театр ерунда. Ты думаешь, я не вижу, что это все нарочно? Вот та, что Кармен представляла, совсем старуха. Морда у нее вся в краске. Разве в этом дело? Но папаша - «кофейку-с». Ты - в конторе. Я - через месяц в «Континенталь», это же скучища! Зевай, дурак, мало зеваешь! А есть жизнь. Иначе нельзя такое придумать. Пусть в Испании. Тогда нужно туда бежать, а не на твой дурацкий фронт. Что я, солдат не видел? Портянок? Понимаешь, чтобы с розой в зубах и на смерть. Вот, как поет «а-а-я»...

И, вскочив на кровать, в больших латаных кальсонах с хвостиками тесемок, Мишка все тщился передать своим ломающимся, то хриплым, то мяукающим, голоском какую-то одну ноту, из-за которой вот он, никогда не плакавший, взял и замычал в подушку. Ничего из этого, разумеется, не вышло.

- Да замолчи ты! Спать хочется.

Одиночество, Мишка уже знает тебя! Ты - тесный, стеклянный аквариум. От той ноты можно умереть. Где-то живут люди взаправду. Этого никто не поймет. Темка хочет спать, а потом на фронт. В газетах война. Испания далеко. Деньги... Кто же ему даст деньги? Вздор! А если стянуть - избыют, и в Лукьяновку. Через два месяца «Континенталь» - на побегушках. Звуки выдуманы. Мишка несчастен. Мишка очень страдает. Он даже поплакать не умеет, мычит, несносно, отвратительно мычит, а тонкие ручки рвут жесткий войлок одеяла.

Снова шли дни. Кончилось наконец образование. В прогимназии знали, как говорил папаша, «дистанцию». Учили настолько, чтобы уметь подсчитать «приход - расход» и без конфуза составить письмо «М. Г., с совершенным почтением». Не переучивали, памятуя, что знание для многих поприщ только минус.

А «случая» все не было. Мишка перекочевал в «Континенталь» к телефону - соединял центральную с комнатами. Дышал он теперь

вслух, причем эти вздохи принимали круглую форму: «алло». Особенно важным френчам, возвращавшимся под утро из бара с мигренью, приходилось передавать телефонограммы. Часто от текста их мигрень возрастала, а руки смешно подпрыгивали, как безголовые куры. Например, приказ: на позиции. Это было единственной радостью Мишки. Он вдруг становился властителем важных и наглых людей, еще час тому назад ливших шампанское за корсаж певичек. Это он отдавал приказ. Разве не значилось внизу листка, к которому прилипали трезвеющие с перепугу зрочки: «Принял Михаил Лыков»? Имя Мишки вьедалось в рыхлый мозг френча, и Мишка торжествовал.

Потом появились некоторые новые развлечения: он стал с любопытством разглядывать фотографии голых дамочек, выставленные в витрине парфюмерного магазина на углу Александровской. Он начинал понимать, что эти мясистые шары живы какой-то второй жизнью. Сотни различных ругательств, знакомые ему с младенчества, зазвучали теперь по-другому, ожили, обросли теплым мясом. Все это было далеко не радостным, скорее напоминая назойливый экзамен, от которого нельзя улизнуть.

Особенно выразительно он почувствовал это в то утро, когда настоятельно просили кого-нибудь к аппарату из комнаты двести четыре. Двести четвертая не отвечала. Мишка пошел, постучался. Ему показалось, что ответили «войдите». Он приоткрыл ленивую мягкую дверь. Тогда он увидел впервые то весьма простое и все же потрясающее, что было нарисовано в уборной «Континенталя» с похабной припиской внизу. Конечно, он знал, что так, именно так и бывает. Но одно дело картинки или на переменах в прогимназии теоретические шепоты наиболее предприимчивых второклассников, другое - реальность: одышка, брячущая глупо шпора и светло-розовая - цвета зари или ветчины - прогалина повыше чулка.

День прошел, огромный, тифозный день. Цифры плясали, липли друг к другу, слипались в одно. Это «одно» было противно-розовым, как резина, прекрасным, нет, не противным и не прекрасным: очень нужным, прямо необходимым. К вечеру Мишка понял, почему Кармен так пела. Теперь и у него в горле барахтались эти звуки: они шли снизу. Дело, оказывается, не в розе.

Начались сны, полусны, метания, переворачивания с боку на бок, фантазии, где соединялись различные «любия» - сластолюбие,

честолюбие, самолюбие: как та из двести четвертой. Но не одну - всех, притом самых шикарных. Теперь он оставил френчи в покое, зато каждую даму, входившую в гостиницу, сопровождал глазами. Чем важней, чем дороже берет номер, тем лучше. Не раздевать, не целовать. Ему нужен только факт. Сознание: и эта! Миллионы. Они лежат, он проходит мимо. Считает. Они просят: «Остановись!» Он хохочет. Он плюет, плюет по старому рецепту поганой булочницы, «на душу».

Так вот о чем пела Кармен! Или нет? Не об этом? Должно быть, другое. Ведь это же гадость, это то, что рисуют в клозетах, об этом и рассказать по-хорошему нельзя, только выругаться. Слова как отрывок. Но это нужно. Нужно, вроде как есть или спать. Есть и спать скучно. Тогда о чем же те ноты?

Мишка готов был направиться к девочкам. Имелся адрес, имелась и отложенная для этого трешница. Он не направился. Явиться мальчишкой с улицы, теряясь, торгуясь (еще, пожалуй, денег не хватит), нет, он должен быть повелителем. Лучше уж тогда в монахи или оскопить себя, как румын с Фундуклеевской, у которого Мишка покупает фиксатуар для смягчения чуба. Лучше не жить. Жить можно только со шпорой, шпорой впиваясь в душу, в розовый клочок. Для этого нужен «случай», все тот же проклятый «случай».

«Случай», о котором мечтал Мишка, не пришел. Ни одна из останавливавшихся в гостинице дам не упала перед ним на колени. Но в июльский душный день, когда от жестокого зноя шло жужжание в ушах и болели глаза, пришел к нему случай, не пришел - подвернулся, случай совсем другой породы, маленький, паршивый, случай, каких много везде и повсюду, не катастрофа, а оказия.

Случилось это под Киевом - в Дарнице, куда Мишка забрел (был у него выходной день от зноя и скуки. Солдатка простая, хорошая, что называется, честная баба.

В те годы - шла ведь третий год война - произошло известное упрощение, оголение процессов. Нота из «Кармен», обычно необходимая в обиходе, как салфетка, стала явным излишеством. Мужчины и женщины оказались территориально разделенными. В итоге этого перемещения некоторые чувства, как, например, «любовь», остались вовсе без местожительства, если не считать за таковое бумажные и духовные оболочки писем с обещаниями «вечной

верности». О выборе часто не могло быть речи, и разнообразие карточек, соответствующих континентальной, заменилось однородностью, плотностью, эпичностью ржаного хлеба. Если все это верно даже по отношению к посетителям городской оперы, то тем паче применимо к крепкой телесной глыбе женского пола, лишенной необходимых ощущений вследствие, скажем по-плакатному, «хищничества империалистов», - к той глыбе, на которую натолкнулся наш герой.

В избе, среди картофельной кожуры и утиного помета, стояло множество кринок с молоком. Молоко в жару томилось икисло, распространяя острый запах - так пахнут новорожденные щенята. Так пахла и баба. Мишку мутило. Но он в ту минуту мало о чем думал. Все соображения о роли властителя спасовали перед клейкостью и близостью соответствующих форм. Его руки, толковые звериным чутьем, оказались превосходными проводниками. Что касается бабы, то отроческое волнение этого «случая», то есть с неба, с знойного белесого неба упавшего кавалера, даже льстило ей. Конечно, сама она, еще никакие раздраженная, сохраняла полное спокойствие и еле удерживала вызванную истомой и духотой зевоту. Дело кончилось бы, наверное, к общему удовольствию, если бы не произошел внезапный разряд. Руки Мишки резко рванулись вперед. Чуть позевывая, баба лениво спросила: «Сиськи хочешь?»

Так же, как говорила она, прикармливая грудью своего Гришку: «Сиську хочешь?» - просто, по-хозяйски. Эффект был необычен. Мишка отдернул руку и вскочил. Это был явный подлог. Последняя его ставка, ставка на странные, утробные, до слез пронзительные звуки, ставка на розу в зубах Кармен оказалась битой какой-то «сиськой», похожей на соску, гнуснейшей вещью из обихода. Снова его охватывал быт, ватный, меж двумя рамами, засиженный быт. Мишка воспринимал это как заговор против него. Он вдруг возненавидел лениво усмехающуюся бабу. Он повалил ее на пол и стал бить, тупо, долго бить, топтать сапогами. Баба не отбивалась. Понимая совсем иначе язык побоев, она даже приятно покраснелась.

- Молоденький, а как мужик...

Потом Мишке надоело. Перед застекленными в недоумении глазами бабы он метнулся к двери. Выходя, однако, он остановился: пожалуй, подумает, что он мальчишка и ни на что не способен. Нужно

прикончить. И с этим «нужно» школьных уроков, он тяжело упал на истоптанное, никак не милое тело, чтобы пять минут спустя, задыхаясь от кислоты молочного духа, с тошнотой и тоской выбежать вон, чтобы бежать под ожесточенным солнцем, по пескам, увязая в них, в сухих, злых песках.

Что делать дальше? Мычать на манер слез? Глупо. «Алло»? Номера? Михаил - да, Мишка уже Михаил, он не ребенок, он взрослый, - Михаил должен жить. В этот час на сухих, разожженных песках его карие глаза действительно печальны, их печаль не имеет выхода, она - мираж, она - просто красящий пигмент, руки же валяются вниз: бить или ластиться - дело другое, но жить они, кажется, вовсе не могут.

Революция вообще и революция применительно к Михаилу

Мы не станем перечислять ни тех борделей, куда ходил умеривший свою тоску Михаил, ни тех, растравлявших сны, книжек, мелких проигрышей, опрокинутых рюмок, понижений или повышений по службе, которые составляли его жизнь в течение двух последних лет. Он рос, но не определялся, ботанически не зацветал, так что не могло быть и намека на последующие плоды. Что бы стало с этим юношей из телефонной будки «Континенталь», порой замечаемым, вследствие музейности его рук, что бы с ним стало, не случись «того»? Выравнился бы он, папаше на удовольствие, в тонного метрдотеля, или все завершилось бы первым неосторожно торчащим из бокового кармана кожаным бумажником? Праздные вопросы. То, что случилось, разве могло оно не случиться?

Конечно, об этом никто не думал. Процесс размышлений при подобных обстоятельствах играет весьма малую роль. Разве думала баба, в хвосте у булочной, у обыкновенной булочной на Петроградской стороне, под золотым выборгским кренделем, разве она думала, первая баба, с досады завопившая: «Ироды, хлеба!», что «иродами» открывает величайшую эпоху? Конечно же нет, она вовсе не думала, она кричала, она не снисходила до раздумий, она и не смела думать, как тот солдат-волынец, первый солдат, который, переменяв направление дула, как будто повернул ветер, выстрелил не в бабу, визжавшую под золотым кренделем «иродов», а в звезды погон. Он тоже не думал, он стрелял.

Она вышла из этих криков, визга, разрозненных залпов, из толкотни и прятания в подворотни, из тысячи мелких нелепостей, достойных только хроники происшествий, вышла огромная и неожиданная, чтобы расти, чтобы перерасти нежность одних, ненависть других и стать достоверностью, сплошной, простейшей, как воздух, нас окружающий, или как смерть.

Она сразу стала личным, семейным, хозяйским делом всех и каждого. К этому оказались причастны все: и не звонивший телефон «Континенталья» - онемел, и пропавшее хотя бы на день парфе, так как

поваренок, которому надлежало вертеть мороженицу, демонстрировал «против аннексий и контрибуций», а френчи не то козыряли, не то отплевывались, и контора, где Артем Лыков вместо недельных счетов за электричество изучал Брокгауза на «п» - сразу проплатывая «прибавочную стоимость», «пролетариат» и «пропорциональное представительство». Михаил? Почему не Михаил герой ее? Разве он не шлялся по Крещатику, приятельски улыбаясь «ветеранам каторги» и возмущаясь знаменитым «ножом в спину» цензовых элементов? Можно сказать, что даже папаша, с опаской улыбнувшийся если не непосредственно демонстрантам, то воздуху, наполненному осколками песен и криков, даже этот «человек», битый не раз лакей, «якей», как говорили снобы, был в ней своим человеком.

Революция! Как не приветствовать всего ее милосердия, рассказывая историю жизни темной и тяжелой! Забудем на час различные социальные проблемы, забудем о том, что полукрепостной мужичок, на радость нашим народолюбам, продолжавший и в студенческих песнях, и вне песен «стонать», должен был стать фермером, а трехполье смениться многопольем. Не станем сейчас измерять, какое политическое значение уже приобрел захват политической власти новым классом. Ограничимся восхвалением милосердия той, которую даже ее кровные дети (впрочем, не без ласковой усмешки) зовут «жестоккой». На следующий день после происшедшего сдвига, не на определении сравнительной ценности различных пластов, ценности для хозяйственной или научной эксплуатации, хотим мы остановиться, но на благословении самому процессу. Страшен отстоявшийся быт, и, если бы не эти время от времени находящиеся катаклизмы, человек давно превратился бы в свою собственную визитную карточку. Один воздух, тот, в котором «висел топор», воздух флигелей и казарм, замоскворецких покоев и петербургских канцелярий, сколько он весил, махорочный, портяночный, сивушный? А ризы? А блины? А тулупы и еноты шуб?

А шуточки «Будильника» или «Стрекозы»? А доморощенная философия поразительного избранничества страны, весь пафос которой якобы состоял в умелом подставлении морды, лоснящейся от лампадного масла и от испарины ста самоваров, под кнутовище? Вентиляция являлась необходимостью. Конечно, скептики усмехнутся: надышат. Но это ли довод против вентилятора?

Вспомним: буря была живительной и прекрасной. Вместо подведения итогов лучше вновь переживем первый поток весеннего воздуха, те времена, когда папаша, забыв о суждениях, младенчески улыбался, присоединяясь к Артему, еще раз заглянем в словарь, что это такое «пролетариат», и вместе с нашим героем, который уже бродит, смеется, негодует среди этого самого пролетариата, вместе с ним прокричим, как тогда: «Да здравствует революция!»

Впервые два брата, снятые великим переполохом со своих жизненных постов, сошлись, даже подружились. Это было прежде всего общностью занятий, если только можно назвать таковыми гудение на митингах, ночные дежурства у подъездов и даже организацию особой полумайнридовской дружины «защиты революции». Может быть, сближало их также ощущение, что на эти празднества они оба пришли из той же земли, тесной, как стеклянная банка, земли манишек и «кофейку-с». Неунывавший папаша ежедневно напоминал им о реальности этой земли. Какие бы телеграммы ни слал «всем-всем» исполком Демиевского района, папаша неизменно сервировал свои «тимбали» спекулянтам, оправившимся после первого испуга.

Сближение братьев не было длительным. Шла дифференциация толп и людей. Надо было примкнуть к какой-либо партии. Артем нашел свою сразу, скорее чутьем, нежели разумом: никакими политическими познаниями он не обладал. Зато у него имелось шестое чувство: немедленная и точная отдача коллективных восприятий, как будто его сердце являлось не самостоятельным органом, но частицей огромного группового сердца, частицей, во всем подчиненной общему ритму. Он со всеми ошибался и со всеми торжествовал. За это его Михаил и прозвал «бараном». Не вмешиваясь в спор между братьями, заметим, однако, что шестое чувство Артема - завидное чувство: жизнь с ним ясна и действенна, смерть легка. Это чувство помогло Артему, еще в летние месяцы всеобщего разброда, когда, изнемогая от высот Реомюра и от высот слога, члены комитетов или съездов неуверенно подымали руки сразу за две, за три исключаящие одна другую резолюции, найти свою партию. Пусть Крещатик еще растерянно верещал, покупая открытки и Керенского и Ленина, восторженно приветствуя французского атташе, кончившего завтракать в «Континентале», пением «Интернационала». Печерск,

Демиевка, Подол из подвалов, из коечных домов уже выделяли самых непримиримых: Артем стал, разумеется, большевиком. Он не был сколочен для митингов-концертов, где после душки, грациозно сочетавшего социализм (конечно, в грядущем) с платочком, обрызганным «Ориганом», выступала все та же оперная примадонна, поразившая как-то Мишку-меломана. Он искал дело и нашел его. В казармах, где маршевые роты перед отправкой на фронт смутно ворчали, в хвостах, где страстно а обсуждали вопрос о подорожании на гривенник сахара, в труппах Подола, где старики опасались погрома, а молодежь проводила дни исключительно в мировом масштабе, охраняя турок от хитрого Милюкова, всюду, где хотели, но еще не знали толком, чего именно хотят, появлялся Артем с точным перечнем лозунгов, одобренных губкомом.

Михаила там не было, Михаил кочевал. Не узнав счастья подлинной и внезапной любви, он пережил всю мучительность мимолетных связей. Три года назад, прельщенный розой в зубах Кармен, он, понятное дело, теперь прежде всего прельстился эсерами. Ведь революция только встряхнула, проветрила его, переделать его нутро она не могла. Его прежние фантазии, очищенные от корысти, оставались фантазиями одинокого и обособленного юнца. Испания оставалась Испанией, хотя и подававшейся теперь под доморощенным псевдонимом «земли и воли». Эсеры красиво изъяснялись, и Мишка, когда-то молившийся на таинственный шатобриан-бэарнез, замирал от политических трелей всех присяжных поверенных словоохотливого города. Кроме того, здесь были перспективы выделиться, добиться славы. Кокетливые барышни, покупавшие в магазине Альшванга красные банты и липнувшие взволнованными грудями к пыльной дверце автомобиля, в котором сидел один из присяжных поверенных, не лучше и не хуже других, просто человек, нашедший свой «случай», - это было улучшенной разновидностью старых снов Мишки в телефонной будке. Итак, Михаил стал эсером. Он вошел в эту партию, напоминавшую грандиозный митинг-концерт. Братья разделились. Происходили перебранки, ссоры по программе, хорошо знакомой в то лето и в ту осень всем российским семьям. Усталые от собраний, дома они ограничивались несложной аргументацией «пломбированного вагона» и «наемников Антанты», подкрепляемой обидными словечками из семейного обихода.

Артем твердо стоял на своем. Нельзя того сказать о Михаиле. Ему нравился эсеровский тембр, слова же, поскольку он стал в них разбираться, скорее злили его. Это были зачастую пословицы, произносимые патетично, с дрожью, как прозрения. Его раздражало неизменное запаздывание. Еще барышни липли к автомобилю, но Михаил уже чувствовал вялость последних дней ярмарки. Центр, пока невидимый, явно переместился с Крещатика на окраины, и, думая об этом, Михаил чувствовал, что ненавидит брата. Неужели этот баран оказался находчивей его? Что теперь делать Михаилу? Отправиться на фронт, на старый, трехлетний фронт, противно ноющий, как запущенная опухоль? Нет, ни за что! Протест рождался не от страха, а от скуки: фронт лежал где-то вне революции. Никакие красные значки на штыках «ударников» не могли этого изменить. Тогда оставалось стоять в стороне и ждать, ждать, что придумают другие, хотя бы тот же Артем. Достаточно унижительное положение! «Вы - эсер» звучало так же, как «вы - тумба» или в лучшем случае «вы - житель». История с дарницкой бабой повторялась. Уйти к большевикам? Как будто нужно уйти именно к ним, жизнь там, ничего другого не остается. Но это невозможно. Прежде всего из-за Артема; он усмехнется: «А что же "пломбированный"?..» Но черт с ним, с Артемом! Можно окончательно разругаться. Можно, наконец, уехать куда-нибудь, хотя бы в Москву. Была другая остановка, серьезней Артема. Михаилу не раз приходилось сталкиваться на митингах с еще немногочисленными дооктябрьскими большевиками. Таким образом, он увидел эту партию в ее густом растворе первых лет революции. Он чувствовал, что большевизм требует большего, нежели принятия пунктов программы: люди были другими. И Михаил в душе побаивался большевиков. Он терялся перед их прямоотой и оголенностью, как терялся когда-то Мишка перед широкими плечами Темы. В их партию нельзя было заглянуть, зайти проходя, как на митинг. Самое понятие «дисциплины» оскорбляло его. Оно пахло масляной краской гимназических сборных, чадило, как душная лампа казармы. Михаил ходил потерянный. Если бы это практиковалось, он, пожалуй, снес бы в газету объявление: «Ищу партию по себе». Тщетно заходил он на последние митинги, где нехотя второстепенные ораторы еще повторяли опостылевшие всем помпезные фразы. Убеждения не находились.

Наконец он решился. Для объяснения был выбран некто «товарищ Егор», заходивший изредка к Артему, бывший наборщик, не только отравленный свинцом и задыхавшийся от приступов профессионального кашля, но как будто весь присыпанный металлической пудрой. Говорил он с исключительной методичностью, то набирая слова, то раскладывая их по отделениям кассы. Биография его, вне партийной работы, была абсолютно краткой: родился в таком-то году. Это породило особую преданность, которую знало только большевистское подполье с его аскетическими нравами.

- Мне нужно поговорить с вами, товарищ.

Происходило это ночью на Безаковской, возле вокзала. Пустыри пропускали острый сквозняк, и дрожь Михаила, ребяческую экзаменационную дрожь, можно было отнести за счет температуры. Несмотря на поздний час, улица была наполнена топотом: шли солдаты с фронта. Эти знали дорогу; на короткий срок их шкурное «домой» и героическое революции «вперед» указывали одно и то же направление.

- Что скажете?

Действительно, что скажет Михаил? Кратко: хочу к вам в партию? Пространно: о своей неудачной любви к эсерам? Нет, он выбрал самое неожиданное. Весь пропитавшийся декламацией ораторов, которую он сам так возненавидел, сконфуженный и от сконфуженности наглый, Михаил произнес митинговую речь. Он выбирал самые торжественные слова, как будто его слушал не товарищ Егор, но все эти солдаты, кряхтя, с узелочками, спешившие домой. Припомнив выступления заезжих эсеров, он привел несколько наиболее театральных аргументов, обличавших, что ли, «материалистическую душу» большевизма. Это являлось введением. Но все же есть правда, вернее, доля правды и у большевиков. Словом, он согласен стать выше высказанных сомнений и примкнуть к ним. Последнее было сказано с такой торжественностью, как будто речь шла по меньшей мере о присоединении целого народа. Михаил сам чувствовал всю неуместность своих слов, неуместность, которую подчеркивали хлюпающие по лужам рваные калоши и спина Егора, согнутая в виде вопросительного знака.

Свинцовый человек с трудом опомнился. Это ночное словоизвержение среди пустырей показалось ему тяжелым сном,

карикатурой на тот период революции, когда вся Россия говорила, говорила днем и ночью, мешая в одно восторженные слюнки о «святости бескровной» и матерщину, когда руки казались созданными исключительно для голосований, а городские тумбы - поставленными для ораторов. Он с подлинным ужасом поглядывал на говорившего. Кто этот?.. Зачем?.. Но так как подобные вопросы казались Егору праздным занятием, он быстро перевел себя на практический путь. Болван? Что же, теперь, когда предстоит орудовать главным образом числом винтовок, и болваны пригодятся. Поэтому, не вступая в пререкания с Михаилом, товарищ Егор ответил кратко: пусть обратится в райком. Спросить такого-то. С пяти до семи. Михаил остановился у светлого выреза окошка, записал чье-то чужое жесткое имя, поблагодарил.

Михаил остался один. Он мог бы радоваться: так или иначе, экзамен сдан, вход в эту железную партию найден. Завтра с пяти до семи... Но не тут-то было. Товарищ Егор уже, наверное, успел позабыть о неприятном болтуне, а Михаил, все еще стоя у светлого окошка, заново переживал свое объяснение. Его не поняли. Его боль, отчаяние, наконец, особые мысли спокойно зарегистрировали. Партия живет своей жизнью, жизнью хорошо налаженной. Можно войти, но обязательно через двери, подчиняясь распорядку, без сцен. Хотя товарищ Егор отвечал лаконично, Михаил хорошо понял язык его металлических глаз. Урок был дан. Самое большое, на что он может рассчитывать, это на безразличие: не будут замечать особенности и обособленности. То, что он - Михаил, непохожий на Тему, на всех Тем мира, до поры до времени ему прощают, и предложат скучнейшее дело: например, расклеивать на заборах воззвания. Член номер такой-то. Здесь даже не могло быть «случая», эффектного жеста, подвига, героизма, автомобиля, кокетливых барышень - ничего. Сухая победа, похожая на топот вот этих солдатских сапог, когда лиц не видно, только ноги, сумма ног, масса...

Думая так, Михаил курил папиросу за папиросой, и раздумья его были прерваны одним из топотающих землячков с традиционным паролем тех беспичечных лет: «Прикурить разрешите». Михаил вдруг в бешенстве отвел руку с папиросой.

- А ты большевик?

- Если касательно замирения — оно конечно...

- «Оно конечно»! Шкура! Видишь, что это?

Михаил вертел перед глазами перепуганного землячка клочок бумажки, на котором было записано имя секретаря райкома.

- Думаешь, на сигарки? Здесь вся твоя партия. А я ее к черту!

В полном беспомоществе Михаил рвал бумажку на мельчайшие доли и клочочки швырял в лицо солдату:

- Нет твоей партии! Вышла! А мне... А мне наплевать... Извозчик!..

В голосе Михаила уже звучали отчаянные ноты. Крик начинал сбиваться на знакомое Артему по одной ночи мычание. Все это было столь подлинно, столь томительно, среди пустырей и тьмы, сырой гуттаперчевой тьмы, что, когда товарищ окликнул солдата, каменевшего с нелепо вытянутой вперед, так и не закуренной, козьей ножкой: «Пьяный, что ли?» - тот угрюмо отозвался:

- Какое там!.. Просто осатанел человек.

А Михаил в это время уже трясся на паршивой пролетке, с клочками соломы, торчащими из сиденья. В паштетную! Имелись, на счастье, две керенки. Он хотел одного: напиться, напиться скорее, чтобы голова стала легкой, стеклянной, плавающая, как поплавок, среди масляного дыма.

И Михаил напился. В мокром чаду, среди бугорчатых, прыщавых, поверх прыщей напудренных морд, среди холодных, сальных котлет, полный сивушного духа и горя, он сидел и ненавидел. Он ненавидел Тему, сразу пришедшегося к месту, как пуговица к пиджаку. Ведь это же «случай»! Ненавидел свинцового человека, для которого все просто и ясно: не жизнь, а набор. Но больше всего он ненавидел революцию. Разве он мало любил ее? Мало ей радовался? А она, проклятая, отталкивает его, берет Артема, тысячи Артемов, их голубит, его же, Михаила, отталкивает. За что? За то, что он не такой, как другие, козел, упрямый козел среди стада баранов? Что же, тогда Михаил плюнет. Просто плюнет, как на эту котлету. Он пройдет мимо нее. Он станет путешественником. Уедет в Тибет. Он начнет писать романы, потрясающие романы, от которых заплачут все эти пудренные морды. Его все оценят. Тогда и революция пожалеет, поймет, кого она упустила. Тем хуже для нее. Он презирает революцию. Он не замечает ее. Еще бутылку!

- Долой революцию!

Это вопил Михаил. Официант осторожно отодвинул посуду. Сальные пятна котлет уплыли. Он поступил резонно - в углу уже шел гам: «провокаатор».

- Закрой плотку!

Михаил, войдя в раж, орал. Тогда какой-то субъект, с шелковистой, каракулевой шевелюрой, проведенный здесь также время не даром, хоть в трезвом виде считавший себя врагом насилия и толстовцем, все же приложился к Михаилу. Подоспели другие. Исключительные томления Михаила завершились жалкой потасовкой по пьяному делу, с неизбежной руганью и кровью из носу, одной из банальнейших потасовок, происходящих в нашей стране, независимо от запрещения крепких напитков или политических переворотов, когда кулаки обязательно выражают сложнейшие душевные переживания, а душа, согласно выражению «просясь вон из тела», предается физиологическим функциям.

Герой уходит от революции. Революция приходит к герою

Революция, разумеется, продолжалась, но наш герой делал вид, что не замечает ее. Он не читал газет. Завидев на углу улицы кучку встревоженно гудевших обывателей, он обходил ее, как лужу. Он брезгливо морщился, когда громадные буквы стенных воззваний врывались в его зрачки. Он убеждал себя, что жизнь прекрасна и вне революции. Разве не был прекрасен и в ту осень, как во все прочие осени, Киев, полный неожиданной голубизны в просветах горбатых улиц, а по ночам звездных площадок и теплого запаха гниющих листьев? Это было чудачеством, сентиментальным бредом: среди людей, оголтелых от ежечасного ожидания: «выступят?» или «выступим?» (смотря по кварталу), от очередей, забастовок, дежурств, слухов, любоваться небом или Днепром. Михаил был горд собой. Ему казалось, что он выше, умнее других. Изредка только прорывалась обида ребенка, не взятого на праздничные гулянья, но он быстро справлялся с ней.

Он даже направился к некоей Шурочке, с которой познакомился перед самой революцией. Тогда он не успел довести дело до конца: Шурочка была осмотрительной и, несмотря на задушевность Мишкиных глаз, упорствовала, заводя разговоры о тяжести жизни, о преимуществах замужества и о прочем, скорее деловом, нежели романтическом. Среди вершин «земли и воли» шейка Шурочки была, понятно, забыта. Она нашлась теперь при перетряхивании воспоминаний, в жажде найти жизнь как таковую, помимо событий. Эта тоненькая шейка, чуть тронутая веснушками - так, что они казались игрой солнца на пушке, великолепно гармонировала бы с изучением осеннего неба. Разыскав Шурочку, Михаил попытался убедить ее в этом. Он жаждал не столько припухлых губок, сколько понимания. Он сделал широкий жест, отгоняя Шурочкины вопросы: «Вы какой партии?», «Правда ли, что Керенский жид?», «Скоро ли подпишут мир?» - никак не вязавшиеся с буколичностью шейки. Он попробовал передать ей радость отъединения, холодок ночных прогулок, постоянный язык дождя. Шурочка скромно зевала, угощала

Михаила купленными по случаю помадками, сгоняла с шейки липких сентябрьских мух и никак не подымалась на необходимые высоты. Михаил только через час (да, потеряв битый час среди приторных помадок и мух!) узнал причину ее холода. Оказалось, что Шурочку, пренебрегая проблемой брака, успел заговорить какой-то приказчик, брюнет и анархист, заняв, таким образом, место Михаила. Даже помадки предназначались для него и были выданы Михаилу исключительно в порядке гостеприимства. Оставалось саркастически усмехнуться и уйти.

Среди философских вопросов появились и житейские. В одно утро не оказалось ни денег, ни службы. Родительские чувства папаши и доверие приятелей были превзойдены дороговизной жизни. Дело, вернее, дельце, подвернулось само собой, пожалуй, не вполне чистое, но обстоятельства исключали брезгливость. Товарищ Михаила по «Континенталю» Сладкое привез из Крыма табак. Хотя в общей суматохе людям было не до акцизного инспектора, да и акцизному (если он тогда существовал еще по инерции) не до табаку, все же в магазинах товар взять отказались. Михаилу за комиссионные пришлось обходить различные трущобы, где среди тряпья, оладьев, угара приготавливались так называемые «рассыпные». Эти прогулки никакие допускали раздумий. Из темных коробочек дворов, где легче погибнуть, нежели найти дверь, на которой намазан номер квартиры, из этих квартир, заполненных слезящимися котятками, сохнувшим бельем, пинками и подзатыльниками, подымалось на Михаила его собственное детство. Не нужно думать, что наш герой был бесчувственным. Напротив, его можно назвать скорее сентиментальным. Он был теперь недурно одет, обедал в паштетных (даже с пивом), комиссионные обещали месяц-другой безбедной жизни. Однако нищета папирочных трущоб воспринималась им как своя собственная. Предложи в такие минуты Михаилу весь «Континенталь», он с негодованием отказался бы. Здесь большевизм являлся не сложной проблемой, но такой же реальностью, как ближайшая получка. Революцию здесь нельзя было обойти. Впалость щек, рахит младенцев и постность борща, сапоги, «просившие каши», все здесь было мобилизовано для ее защиты. Несколько вечеров подряд в Михаиле боролось чувство, которое мы назовем скорее

социальным инстинктом, нежели состраданием, и душевный комфорт одиночки. Победил последний.

Михаил снова очутился в паштетных. Он хотел уверить себя, что наслаждается. На самом деле он скучал. С поразительной настойчивостью ему кидалась навстречу мертвечина. Если он глядел на лица женщин - это были морщины, все разновидности морщин, от тончайших гусиных лапок до глубоких канав лба, вялые одутловатые щеки, носы, испещренные угрями, синяки под глазами, все жалко заштукатуренное пудрой. Если он принуждал себя вслушиваться в звуки танго, разыгрываемого худыми и длинными, как смычки, скрипачами, звуки были невеселыми, ноющими, истошными, - не танец, а панихида. Во рту после пьяных ночей он чувствовал подлинный привкус гнили. Он менял паштетные, но веселье не открывалось. Новизна ощущений первых дебошей исчезала при виде этих людей, уныло допивающих свои последние бутылки. Кабаки напоминали тогда вокзальные залы с томительными мухами и зевотой. Никто не смеялся. Когда же падал, задетый подвыпившим гостем, стул, все привскакивали: начинается! Случайные собутыльники говорили между собой о выгодной перепродаже мануфактуры, о грабежах в Липках, о том, когда же вернется «порядок». Михаил молча слушал их. В торговле все его познания ограничивались недавней операцией с табаком. Грабежей он не боялся. Что касается «порядка», то одно это слово вызывало в нем ужас и тревогу, как будто собеседник тащил его за шиворот к континенталевской будке. Все эти люди и прежде ходили в паштетные, теперь, общипанные первыми же переменами, они спускались ниже, меняя разряд посещаемых заведений. Среди них Михаил чувствовал себя пришлым. Он боялся проговориться, выдать себя. Одновременно он презирал их. Скука все возрастала. Предстояло опуститься: предаться мелкой уличной спекуляции или запить.

Здоровье, верный нюх, наконец, возраст (Михаилу тогда было всего девятнадцать лет) вывезли. После одного из таких похоронных кутежей он, вместо дома, направился к вокзалу. Иной читатель, забывшись, дорисует картину: взял билет и сел в вагон. Он лишит то утро Михаила всей его живописности. Дощатый барачный вокзал был в действительности забит солдатами и мешочниками. Несколько часов Михаил локтями тупо пробивал сплошную человеческую толщу,

которая в ответ обсыпала его руганью и вшами. После этого он вместе с другими штурмовал скрипящий вагон. Ему удалось влезть в окошко. Внутри были свалены груды тел. Лежали на полу и на полках. Зады качались в сетках, ноги гроздьями свешивались с верхних полок, из-под скамеек торчали тыквы голов. Повернуться было немыслимо: если у кого-нибудь замлевала нога, стонал и ругался весь вагон. Сверху сыпалась соль мешочницы, внизу тухли селедки другой. Люди пытались держаться за карманы, но не могли: приходилось чесаться. Мочились под себя. Кто-то все же ухитрился стибрить четыре чайные ложечки. По ошибке заподозрили другого и выкинули в окошко, мнимый вор расшибся. Ехали до Москвы шесть дней.

Уже в Брянске узнали: начинается. На этот раз слухи были такими настойчивыми, что поверили все, даже какая-то благодушная голова, торчавшая из-под мешков с сельдями и до Брянска заверявшая: «Все обойдется». Среди сваленных тел имелись «за», имелись и «против». В Петрограде уже дрались. Здесь драться было невозможно, приходилось только злобно дышать друг другу в лицо и совместно трястись. Лишь выйдя на широкие платформы московского вокзала, неуклюже переступая разучившимися двигаться ногами, путники самоопределились. Совсем недалеко бухали пушки. Одни радовались успехам большевиков, другие уповали на какого-то генерала (кажется, Алексеева). Обладательница соли, впрочем, проклинала всех, признавая только Сухаревку, где за соль ей дадут фантастическое количество ситца, и еще святейшего патриарха - этого бескорыстно. Словом, все принимали чью-нибудь сторону, и если не действовали, то, во всяком случае, выражались.

Исключением являлся Михаил. Увиливать больше было немыслимо. Революция, с которой он затеял игру в прятки, настигла его совсем не играя, вплотную, всерьез. Нужно было действовать. Но как? Раздор летних месяцев перешел в апатию. Правда, он убежал в Москву, в живую Москву, от мертвых кувертов паштетных, чтобы как-нибудь жить. Но Москва его встретила слишком ошеломляюще. Это не митинг!

Беспомощно оглядывая вокзальные залы, в которых еще красовались архаические рекламы «Сенаторских» папирос и «Спотыкача», Михаил вдруг увидел большие инициалы, памятные до болезненности по увлечению весенних дней, почти что инициалы

первого романа: «С.-Р.». Воззвание изобиловало славянизмами, в другое время оно могло бы сойти за церковное, только с заменой «товарищей» «прихожанами». Чувствовалась редкостная поэтичность природы, например: «Вольнолюбивый русский народ, огради от ледящего вихря насильников хрупкое древо свободы». Присутствовавший народ, в виде одного дорогомилковского бондаря, дойдя до «древа», разразился крепким словечком. Но Михаилу словарь показался понятным, даже родным. Адрес бюро на Арбате, где записывали добровольцев, он воспринял как рекомендацию семейной гостиницы.

Уже точным шагом, среди первых перестроек, направился он туда. По дороге, возле Смоленского рынка, его несколько озадачил старый рабочий в картузе, чуть смахивавший на покойного Примятина, который, не укрываясь в подворотню от юнкерских пуль, сам не стреляя (у него и винтовки не было), стоял посередине улицы с большим лоскутом и кричал в сторону Арбата, где заседали защитники Керенского:

- Дудки!

Вот это слово и озадачило Михаила, столько в нем было возмущения и отчаяния. Михаил уже остановился. Но стоять было опасно: грозили не только пули, грозил душевный разлад. Надо было спешить в бюро.

Помещалось оно в маленьком «иллюзионе». Первое, что почувствовал Михаил, - дрожь. Нет, не свою, все вокруг дрожало. Дрожали от ветра (пули уже истолокли стекла) занавески, дрожали хриплые голоса старавшихся перекричать друг друга представителей партии, дрожал весь дом. Дрожь передалась и Михаилу, дрожь не страха, но неопределенности. Валявшиеся в углу винтовки казались декоративными, свезенными сюда скорее для подсчета инвентаря, нежели для практического употребления. Только один человек среди этих зыбких фигур сохранял твердый контур - это был полковник с короткими, на английский манер подстриженными усами. Он заботливо берег все приметы своего достоинства - от презрительной краткости в репликах представителю городской думы «к среде усмирим» до облачка тройного одеколona. Глаза у полковника были бульдожьими - круглые, выпуклые, боевые. Напав на них, Михаил отшатнулся: такой может взять и за здорово живешь выпороть. Что

касается других, то они напомнили Михаилу завсегдаев киевских паштетных. Идеологию подавал представитель думы, с высот эстрады жалостно кудахтавший: «Они могли бы, во всяком случае, подождать до выборов в Учредительное собрание...» В углах шло более жизненное: «третью ночь не спал», «из Минска четыре эшелона перешли к большевикам», «черт с ними, вопрос, как достать колбасы?». В ожидании своей очереди Михаил присел на ступеньку. Может быть, он задремал после шести утомительных ночей в вагоне, а может быть, только задумался. Но если это и было дремотой, то живой, благодетельной, когда, разрывая связь очередных жидких мыслей, человек проникает в свою вторую жизнь, плотную, органическую. Наконец-то черед дошел до Михаила. Он поднялся с тяжелой головой, но как бы протрезвевший. Чуждость окружающего в последний раз подчеркнули случайно дошедшие до него слова: «Советы, mon vieux^[1], но это просто воняет...» Он стоял у стола, ручка гимназиста выжидательно заострилась. Но вместо имени и фамилии последовало совершенно нелепое слово - «дудки!», которое Михаил сказал самому себе в виде резюме, сказал вслух, достаточно громко, чтобы его услышали все, вплоть до идеолога на эстраде. Сказав же это, он спокойно, безразлично, не проверяя эффекта, произведенного брошенным словечком, направился к выходу. Он даже не помнил, сказал ли он что-либо. Нужно признаться, что эффект был ничтожен. При всей его бессмысленности, поведение подозрительного добровольца никого не поразило: все эти люди, воспитанные на декадентских стихах, на понюшках кокаина, на диких годах, когда галицийская шинковка шла под бешеный танго танцулек, были ко всему привыкшими. Тот, что щеголял французскими словечками, впрочем, пожал плечами: «каналья», и все.

На Арбате проверяли документы. Тенькали пули. За углом, возле лавчонки, наперекор событиям торговавшей макаронами и картошкой, толпились люди, у которых аппетит первенствовал и над политикой, и над инстинктом самосохранения.

Можно подробно рассказать о том, что делалось в этот день не только на Арбате, но и на других улицах, например на Плющихе, на Воздвиженке или на Басманных, добросовестно отметить, где еще торговали и чем именно, где были юнкера, а где большевики, перечислить особенно важные позиции, как то: телефонную станцию,

почтамент, Александровское училище, дать детальный отчет о переменчивых успехах сторон, с жалостью или с презрением уделить место обывателям, нейтралитет которых диктовался отнюдь не солидарностью с бывшим тогда в роли арбитра «Викжелем», а только привязанностью к жизни, безотносительно от партий и строя. Принимая во внимание численное превосходство этих обывателей над двумя борющимися сторонами, можно остановиться с сугубым вниманием на их занятиях, на набирании воды про запас в ванны, кадки и ведра, на приспособлении нужников, лишенных предательских окон, под жилые помещения, на дежурствах в подъездах. Можно, разумеется, и этот день принизить до прочих дней, взять его глазами обывателя, смотревшего на мир сквозь щелку деревянных щитов подъезда, или же покрыть его патиной историка. Но тогда сделается совершенно непонятным дальнейшее поведение Михаила, машинально повернувшего назад, к Смоленскому рынку.

Чтобы не попасть впросак, следует пойти за ним по пятам, следует в этом дне различить нечто, кроме достоверных фактов, кроме выстрелов и кроме приплюснутых носов членов домового комитета. Что он увидел? На углу бульвара рабочих, суетившихся возле пулемета? Раненую девочку? Осеннее небо? Да, конечно, все это было. На одном из рабочих зачем-то была уже зимняя шапка сушами, с жалкими, насквозь промокшими песьими ушами. Девочку пронесли в Смоленскую аптеку, причем аптекарь трусил и долго не хотел отпирать. А небо? Небо было только понятием - белесое и пустое. Конечно, он видел это. Но он увидел и другое: революцию, уже без улыбок барышень, без флагов, кокетливых, как бантики барышни, без чирикавших адвокатов, возмужалую и суровую революцию. Огромный день, проглотивший благополучие предшествующих лет, их бедствия, самое память! Среди рынков, церквушек, чайных, песьих шапок, среди декорации, созданной разве что для нудного, злого бунта, для одного из тех бунтов, который собирался к среде усмирить полковник с бульдожьими глазами, среди этой декорации, появилась она, редчайшая гостья, чтобы каждый выкрик мастерового в нелепой ушанке стал бы волнами радио. Только подумать: здесь, напротив трактира Семенова, «без права продажи», на мостовой, где в праздник шла торговля старыми, прелыми валенками, куда в прочие дни бабы сажали ребят, среди этой зевоты,

припечатанной крестом, какой-нибудь Иван Беспалов (или, может быть, Федор Кубышкин) начал свой спор с веками. Здесь каждый жест был историей, теплый и трогательный в своей человеческой неуклюжести. В тот день здесь был не только Беспалов или Кубышкин, здесь была революция. И Михаил увидел ее и вдруг понял, где его место. Он не думал, думала за него она. Начиненный обычно мелким самолюбием, он теперь легко подчинялся чужим приказам. С младенчества влюбленный в победу, он, как и многие из его товарищей, был убежден, что юнкера переселят, но это не уменьшало его радости. Привычным, банальнейшим движением кидался он не раз в течение этого дня, в течение последующих дней прямо под пулеметный огонь. Здесь были проявления подлинного героизма, которые мы не перечисляем лишь потому, что героизм в те дни, еще всем памятные, был воздухом, то есть и самым существенным, и самым неощутимым, что не поддается описаниям и не нуждается в них.

Так совершилась подлинная встреча Михаила с революцией. Мы не являемся теми народными заседателями, которым было поручено рассмотреть жизнь Михаила Лыкова с точки зрения его социальной пригодности или опасности. Мы только рассказываем историю этой жизни, год за годом, во всей ее непритязательной наготе. Но, дойдя до одного часа, до того часа, когда Михаил бежал по Никитскому бульвару, под огнем, увлекая за собой бородатых солдат, бежал оборванный, без шапки (обронил), с издали видневшимся пылающим чубом, дойдя до этого часа, мы должны остановиться. Мы не ждем от читателей особой любви к нашему герою. Наверное, не раз, с понятной нам гримасой раздражения или даже брезливости, они отворачивались от его мелких чувствований и сомнительных пождений. Но в каждой жизни имеются часы, достойные любования и зависти. Мы хотели бы, чтобы читатели на Никитском бульваре столкнулись с Михаилом. В нем не чувствовалось никакой злобы. На этот раз фосфорическая нежность его глаз не являлась обманной. Глаза сохраняли ту же ясность, когда он упал. Само падение было легким, так падают детские змеи или листья. Острота физической боли не могла стереть с его лица улыбки. Его руки, как всегда, рвались вперед, расходуя последние силы. Казалось, они продолжают прерванный бег по бульвару, к Арбатским воротам. Потом он потерял

сознание. Улыбка, однако, длилась, являясь внешним выявлением изумительной радости, переполнявшей его.

Подходящая партия. Бунт. Впечатление от одной каски

Операция была произведена удачно, пуля извлечена. Однако общее истощение оттянуло на несколько месяцев возможность вставать, ходить, думать - словом, снова занять в жизни некоторую позицию. Это было Михаилу на руку. Все, что предшествовало октябрьскому утру на Смоленском, казалось ему сугубо неприятным. А рассчитывать на самозабвение тех исключительных дней не приходилось. Он сознавал, что тогда был заряжен чужим током. Оставленный теперь на самого себя, он снова оказался у знаменитого «корыта».

Выздоровление все же завершилось, и маленькая комнатка в Левшинском переулке приняла шаги из угла в угол, стоянки у засахаренного окна, докучливое недоумение Михаила. Казалось, чего тут недоумевать? Он сражался на стороне большевиков. Большевики победили. Открыты тысячи возможностей искренней и плодотворной работы. Но беда была в том, что исконная неприязнь к большевистской спайке, смятая октябрьским штормом, оправилась одновременно с ним. Он сам с трудом понимал свою роль в те дни. Он не жалел о случившемся, трезво учитывая все превосходство Михаила, бежавшего по Никитскому бульвару, над теперешним, тупо поглядывающим в непрозрачное окошко. Но продолжения он не видел.

Выход нашелся случайно, в виде хлеба, как-то выданного из домового комитета завернутым в газету. Хлеб был давно до крошек поглощен, когда, обычно не читавший газет, Михаил со скуки расправил помятый лист. То, что он увидел, было настоящим сюрпризом. Оказывалось, можно перехитрить судьбу, совместить прошлогоднюю эсеровскую партитуру с жестким ригоризмом Октября. Так, по крайней мере, обещал Михаилу орган неизвестной ему доселе, совершенно особой партии. Проглотив статью о примате личности, Михаил от волнения даже привстал. Впервые комнатка в Левшинском услышала его воинственное посвистывание. Открывалась романтическая карьера. Если тот, с одутловатой заспанной физиономией, преждевременно улыбающийся в автомобиле, сдрейфил

перед матросскими клешами, Михаил не сдрейфит. Он из другого теста. Следовательно, он может стать героем, меть выше - вождем! Вся чудотворно найденная партия левых эсеров казалась ему специально для этого устроенной. Было от чего насвистывать.

Месяца два спустя Михаил уже по-домашнему позевывал в особнячке Леонтьевского переулка, где помещались тогда левые эсеры. Правда, пока что он являлся не вождем, а всего-навсего помощником экспедитора газеты. Досуги перевешивали потребность в них, и целые дни Михаил слонялся по залам партийного клуба. Он обзревал самых ответственных работников. Имелись среди них даже наркомы. Михаилу они импонировали исключительно положением. Их умственного над собой превосходства он не ощущал. Конечно, они цитировали множество книжек, но Михаил это считал делом наживным. Наверно, существует пособие, где все такие цитаты подобраны по рубрикам. При случае, если дело станет за этим, можно приналечь и вызубрить. Зато с примерной тщательностью изучал он их манеру держаться, вплоть до закуривания папирос, все повадки, тон, реплики, будучи убежденным, что только благодаря этим внешним приметам они дорвались до своих мест.

Разговоры в клубе шли предпочтительно о нравственности. Посторонний, случайно заглянув туда «на огонек», решил бы, что это не политическая партия, а кружок чудакащих моралистов. Делалось это обычно так: брался какой-нибудь поступок, с точек зрения и церковной и обывательской предосудительный, например убийство. После чего все «ответственные», щеголяя цитатами, принимались доказывать, что нет ничего на свете нравственней, нежели убийство. Михаилу подобные занятия казались праздными. Вопрос о нравственности его никак не занимал. В своих понятиях он был, скорей всего, обывателем, считая не только убийство, но и вообще всякое нарушение общепринятых норм дурным. Но что из этого? Ведь только безнравственное и увлекательно, хотя бы то же убийство.

Не интересуясь дебатами, Михаил запоминал отдельные витиеватые словечки, заводил лестные, а подчас и полезные знакомства, старательно выполнял мелкие партийные поручения и ждал. Действительно, к весне разговоры приняли значительно более конкретный характер. Место нравственности занял «Брест». Наиболее горячие уже выволакивали грохочущее словечко «выступление».

Казалось, что поддаться влево немислимо, вследствие предельного уплотнения. Однако все время «жали масло», споря, кто левее. Все члены клуба, включая Михаила (а было их свыше ста), охотно пошли бы на фронт «против похабного мира». На основании этого и выносились ультиматумы. Соотношение между ста членами и ста пятьюдесятью миллионами здесь никого не интересовало. Романтизм исключал арифметику. Каждый судил по себе и думал за себя. Михаил, таким образом, пришелся вполне ко двору.

В наивности наш герой предчувствовал повторение Октября. Подошло Первое мая. Левые эсеры тогда еще входили в правительство, и Михаил встретил празднество в автомобиле, расписанном художником-супрематистом. Роспись выражалась в красных квадратах, воюющих с черным ромбом, причем означало это сложную мысль, на всякий случай дополненную подписью (тоже неразборчивой - буквы, как блохи, прыгали без определенных маршрутов): «Красная трудовая мечта победит черные будни мещанской Европы».

Весь романтизм первого года революции, включая сюда и футуристические плакаты, и кокетливые пулеметные ленты матросов, был налицо. Москва, сызмальства падкая на пестрядь, щеголяла новинками живописной моды. Пролетарии, освобождающие вселенную, почему-то были в куцых юбочках, скорей приличествующих балеринам. Что касается их лиц, то, по словам людей компетентных, «разложенные на плоскости», для профанов они представляли рыбы глаза, круглые, как горошинки, изобилие щек квадратной формы, оранжевые треугольники вместо носов. Все это вертелось на фасадах ампирных особняков. Дома трясло от грузовиков, «бывших Ступина», до Октября перевозивших мебель, а теперь нагруженных безработными актерами, представлявшими аллегорические сцены - «Парижскую коммуну» или «Подвиг Степана Халтурина». Некоторые из актеров декламировали «Двенадцать» Блока, другие пели «Интернационал» и почему-то «Укажи мне такую обитель». Словом, это было решительным переселением карнавала со знойных площадей Апеннинского полуострова на улицы и переулки Москвы. Сознание, что он наравне с полоумными квадратиками представляет большую политическую партию, пьянило Михаила. Автомобиль давно закончил свой рейс. Теперь наш герой

бродил по улицам. Он вышел к Иверской. Надо напомнить, что Первое мая в тот год совпадало со Страстной пятницей. Это обстоятельство делало карнавал в глазах салопниц не чем иным, как игрой дьявола. Часовенка астматически дышала искупительными свечами. Михаил задумался: что бы выкинуть? Не скандал, но жест! Срочно требовался эффектный исторический жест! На беду, его воображение работало слабо и ничего, кроме насвистывания, не подсказывало. К часовне подошел осанистый человек, с виду кучер, и, сняв картуз, принялся напряженно, как бы вдавливая в себя знамения, креститься. Это зрелище раздражило Михаила. Он с удовольствием арестовал бы степенного молельщика, но никаких оснований для этого не имелось. Тот, уже кончив креститься, направился к Охотному ряду, навстречу Михаилу, а наш герой все еще продолжал негодовать. Он воспринимал поведение этого человека не как суеверие, даже не как государственный проступок, а как акт, направленный непосредственно против него. Вот до какой степени подействовало на экспансивного юношу турне в супрематическом автомобиле. Михаил рвался в бой, помериться с широкогрудым ревнителем иверских свечек, - если не эрудицией, то хотя бы бицепсами. По Тверской спускались манифестанты, размахивая плакатом «Вечная память борцам за коммунизм». Михаила тогда осенило - он подскочил к степенно шагавшему человеку и крикнул:

- Товарищ, из уважения к павшим, предлагаю вам немедленно обнажить голову!

Человек не сразу понял, что именно от него требуется. Эта пауза переполнила Михаила радостью: молчание он учел как сопротивление. Но не прошло и минуты, как человек, сообразив, что дело клонится к комиссариату, жалостливо ослабил и снял картуз. Михаил окончательно обозлился. Вдруг среди карнавала квадратов, рифм, среди своего величия, потянуло папашей, миллионами «папаш». Отвернувшись, он буркнул что-то глубоко уничижительное, вроде «сопля». Давно прошли манифестанты. Однако человек с блестящей, маслом смоченной головой продолжал по-прежнему стоять. Мысли Михаила были уже далеко, они теперь догоняли другой автомобиль, примеривая осанку истинного вождя, когда раздался томительный басок:

- Разрешите надеть?

Вместо разрешения последовало новое ругательство и бегство Михаила. Мечты о грядущей карьере были нарушены этой собачьей покорностью. Он остановился на Красной площади. Что ему делать? Кремль? Хорошо. Во-первых, он построен. Во-вторых, уже взят. На Николаевском дворце - красный флаг. Причем по мелким хозяйственным деталям чувствуется, что эти люди переезжать из Кремля не собираются. Остается, конечно, в-третьих, то есть уничтожить, но процесс уничтожения никогда не привлекал Михаила.

Не ценя людей, он умел ценить вещи. Пролезть самому? Но как? Те, из Леонтьевского, глупо проматывают месяцы на дискуссии о морали. А эти? Эти заперлись напучо. Вместо случайностей жизни - холодная, ровная неприятность. Впервые Михаил пожалел: зачем он тогда пошел с ними? Кто знает, не лучше ли было подохнуть с теми слюнтяями?

В клубе, куда он направился, было пусто. Все знаменитые цитаторы не захотели пропустить okazji сорвать хлопki на первомайских митингах. Михаил с тоски читал «Пинкертона». Действенность книжки бесила его. Он не мог вынести чужой удачливости, даже вымышленной. В скучном клубе, где от предстоящего доклада «Этическое наследство Лаврова» зевали даже двери, толкаемые слоняющимися без цели товарищами, где томительно стыл разлитый по стаканам чай, читать о такой фантастической жизни. Книжка была злобно отброшена. Уж подступала крайняя безнадежность, когда к Михаилу неожиданно подошел товарищ Уваров, один из самых ответственных, чью привычку повторять через слово «понятно?» помощник экспедитора последнее время тщательно осваивал. Уваров не только дружественно поздоровался с Михаилом, он подсел, он (и это было уже удачей - оплушительней, чем то, из «Пинкертона») заговорил, причем не об обязанностях экспедитора, даже не о первомайской демонстрации, а сразу «схватив быка за рога». Словоохотливость - одна из самых неизлечимых болезней: кажется, легче бабнику пропустить пресловутую юбку, нежели вот такому говоруну, как Уваров, чужие подвернувшиеся уши. Интимные места, никогда не слышавшие человеческой речи, заполнялись патетическими выступлениями Уварова, к вящему удивлению квартирных хозяек. Он часто думал вслух. Митинги, однако, он презирал, как гастроном презирает кашу.

Ему были необходимы острота поставленного вопроса, специи реплик, азарт голосований с сомнительным исходом - словом, дискуссия. Поэтому скрепя душу он не пошел на праздничные собрания. В клубе он рассчитывал найти десяток-другой серьезных товарищей и обсудить с ними все вообще и нечто, называемое спорщиками по профессии «текущим моментом». Увидав же неразобранные стаканы чая и пустые стулья, он почувствовал такие позывы к словоизлиянию, что, подвернись ему даже не симпатичный юноша, а манекен из конфекционного магазина, он и то заговорил бы.

Это был небольшой, но крайне категорический доклад, расшитый впрок полемическими блестками против воображаемых оппонентов. Сущность его сводилась к тому, что, подписав Брестский мир, большевики окончательно осквернили нравственный лик революции. Отвечая на зов всей России, единственная партия трудящихся должна наконец выступить. Прерывалось это регулярными «понятно?». Вначале Михаил попробовал отвечать «понятно», но, заметив, что это раздражает Уварова, перешел на деликатные кивки. Он пропустил мимо и «нравственный лик», и вопрос о мире как несущественное, все это было, на его взгляд, мелкими придирками, зато «выступление» показалось ему и впрямь понятным, более того, необходимым. Выступить против большевиков слева, повторить Октябрь, конечно, - другого достойного выхода Михаил не видел, а если это совпадало с теориями самого Уварова, если к тому же это соответствовало зову всей России, можно было не только кивать головой, но и кричать от радости. Конечно, Михаил не закричал. Он лишь с краткостью и почтительностью ушей (не языка, одних ушей), когда Уваров кончил, ответил:

- Что касается меня, то я - в первых рядах...

Наконец наступил этот день, день летний, потный, припудренный пылью застав. Были относительно дешевы ягоды - клубника, земляника, красная смородина. Москвичи, уже успевшие на четвертушках и восьмушках основательно отощать, ходили с руками, замаранными розовым соком, и с резью в желудке. Михаил тоже за утренним чаем съел фунт ананасной клубники. Хотя, по некоторым признакам, он понимал, что выступление не за горами, дня ему не указали, и грохот в соседнем Денежном переулке, где для начала революционной войны кто-то уколошил германского посла, застал

Михаила врасплох. Когда он выбежал из дому, квартал был оцеплен. Латышские стрелки молчаливо проверяли документы. Прохожие хмурились. Признаков революции нигде не имелось. Но Михаил, спешно направлявшийся к Большому театру, где заседал съезд Советов, мысленно видоизменял окружающий его ландшафт. Он верил, что в центре идут бои, что сейчас за углом заплещет флаг победителей. К театру его не пропустили. Он бросился в клуб, но те же латыши, неподвижно стоявшие у ворот, остановил и его. Он носился по городу, гремучему и сонному в своей повседневности, разыскивая товарищей из надежнейшего ядра. Их не было: одни спешно укатили в подмосковные затоны - подышать свежим воздухом Клязьмы или Быкова, другие, налаживая приятельские отношения с большевиками, разбрелись по различным клубам, разумеется, не своей скомпрометированной партии. Поздно вечером, на частной квартире, он разыскал экспедитора. Тот был угрюм и явно трусил.

- Ничего у них не выйдет. Нам-то что - мы люди мелкие. Подадим заявление: являлись техническими работниками и - айда к большевикам. Там будут люди посерьезней.

Михаил возмутился: перебежчик! Не этическая сторона дела оскорбляла его, но дряблость мелкотравчатого экспедитора. Как можно отойти от зеленого сукна, пока в кармане бренчит хотя бы мелочь! Хорошо, пусть съездовские делегаты арестованы, но ведь несколько воинских частей высказались за левых эсеров. В резерве вся страна. Бои еще предстоят. И вот в такую минуту менять огромный куш победы, который может быть сорван, на жалкую службу в экспедиции большевистской газеты!

Ночью Михаил, преодолев немало препятствий, пробрался в Семеновские казармы, где сидели мятежники. То, что он нашел там, мало чем отличалось от настроений экспедитора. Поражала прежде всего помесь людских пород. Здесь были и «учредилорцы» втайне, и анархисты, и просто заправские виртуозы смуты. Храбрясь и отругиваясь, все, однако, искали приличной лазейки. Вопреки безупречным аргументам Уварова, страна явно в переделке не участвовала. Торговка огурцами на Зацепе, расслышав привычный бас пушек, которыми большевики теперь уговаривали левых эсеров быть «легче на повороте», лениво забормотала:

- Белых побиили, теперь серых бьют.

Это являлось, кажется, единственным откликом на инсценировку классической революции. Даже удивления не было. Обыватели еще помнили выстрелы, которыми как-то ночью большевики выселяли анархистов, квартировавших перед тем в перворазрядных особняках, и применение в дискуссиях артиллерии казалось им естественным.

Наиболее нервные из числа тех, что сидели в Семеновских казармах, предлагали перейти в наступление. Михаил решил во что бы то ни стало повторить Октябрь. Он тщательно внушал себе, что переживает подъем: это его бунт, бунт Михаила Лыкова!

С криком пробежал он несколько шагов, но быстро осекся. Мучительность стыда за плохой любительский спектакль судорогой прошла по лицу. После этого он уже сидел молча, не разделяя ни бравоирования, ни паники, сидел, пока не настало так называемое «отступление», то есть бегство по шоссе, по жиденьким огородам, бегство, в котором преследователями являлись все: большевики, огородники, их собаки, едкое солнце, страх и стыд.

Беглецы, вначале сохранявшие видимость боевой части, быстро расплылись, каждый за свой страх искал спасения. Инерция бега сохранялась, и Михаил, проделывая сотни верст, меняя телегу на теплушку, ночуя то под мостом, то на залусканном перроне станции, подчинялся скорее инерции, нежели разумно избранному маршруту. Если он и переживал что-нибудь, то только полноту поражения, увеличенное во сто крат похмелье киевских паштетных, знакомую ему скуку дней, начинающихся бесцельной зевотой, со всей отчетливостью часов и даже получасов, с духотой засыпания. Именно это ощущение знакомости, а не осознанное желание перейти границу, и повернуло его на юг, к родным местам. Опоминания еще не было. Лица товарищей в казарме, мяукание снарядов, слова воззваний, смородина московских ягодников, лай натравленных на беглецов собак - все это являлось еще длящимся, живым унижением.

Опоминание началось только тогда, когда в черноте летней ночи, как будто созданной для вызревания хлебов и для любовных утех, показался тусклый блеск металлической каски. Блеск этот был чужд, нов и значителен, так что не только сердце Михаила, но и многие другие сердца людей, шедших с тюками или с корзинами, увидев его, дрогнули, забились чаще.

Политические дороги, как и обыкновенные, железные или шоссейные, чреватые неожиданностями, но на свой лад логичны. Уводя путника от чудных гор к скучной равнине, они знают, куда ведут. Бегство Михаила, начатое совместно с людьми более или менее ему родственными, среди которых имелись и спорщики особняка в Леонтьевском, закончилось переправой через границу, среди черноты ночи, переправой акций, закладных, семейных драгоценностей и просто всякой всячины, увязанной в нелепые узлы. В этой толпе Михаил был одинок. Узнай кто-нибудь о его поведении в Октябрьские дни, ему бы пришлось плохо. Снова в поисках вернейшего для себя места он оказывался вне комплекта, где-то на отлете.

По так называемой «нейтральной полосе», прочерченной среди полей одной из центральных российских губерний, двигалась толпа беженцев. Обсуждались будничные проблемы: как куда добраться, посадят в карантин или не посадят, что лучше - керенки или «украинки». Но, как мы отметил и, при первом соприкосновении с острой каской германского часового эти мышинные заботы на минуту сменились некоторым осознанием происходящего. Так начиналось то явление, которое, оставаясь лишь печальной сноской в истории России, все же оказалось способным и заставить досадливо поморщиться весь мир, и прикончить не одну человеческую жизнь. Так - со скромными узелочками, по-дачному, налегке, пешком начиналась эмиграция, чтобы выполоть наугад сотни тысяч существований, чтобы заставить серпуховского инспектора где-нибудь в римском Пинчио тосковать о белесоватости обшмыганных березок, чтобы привести сиятельного сибарита в швейцарскую одного из непотребнейших заведений Монмартра.

Среди этой толпы, пугливо галдевшей над своими тюками, среди черноты летней ночи, которая совместно с царскими десятками покрывала бегство, Михаил пережил опоминание. Металлическая каска завершила бунт, гордо поднятый «против постыдного мира с германцами». Теперь ему предстояло слиться с этими сомнительными попутчиками, с этими дамами, быстро меняющими бабьи платочки на примятые в чемоданах шляпки, у которых под юбками таятся вполне реальные сокровища в виде различной, приятно шуршащей валюты, с этими потрепанными субъектами, под эгидой острой каски выволакивающими из недр карманов и совести все сразу: и титулы, и

бриллиантовые запонки, и монархические убеждения. Октябрь был бесповоротно вычеркнут из его жизни.

Немцы выстроили беженцев для проверки бумаг. Михаил протянул свой паспорт и несколько вышел при этом из хвоста, а так как паспорт не сопровождался ни титулом, ни соответствующим аллюром его обладателя, ни хотя бы мелким подношением в виде цибика чая или куска туалетного мыла, фельдфебель, презрительно блеснув кончиком каски, ударил Михаила в грудь:

- Стой в ряду!

Михаил ничего не ответил. Один из участников недавних событий, герой Октября, пусть взбалмошный, но отнюдь не трус, только поднял воротник, зарываясь головой в сукно и с отменной послушливостью наказанного школьника стал на указанное место. Он хотел познать унижение до конца.

Возвращение в отчий дом. Знакомство со славой

Нет, дым отечества не был сладок. Это был прежде всего дым кухни литературно-художественного кружка на Николаевской, где, не считаясь с традиционными катарями журналистов, изготавливались сомнительные «дежурные блюда», дым подгоревшего масла и лука. Возвращение потерпевшего жестокую аварию героя в родительский дом являлось продолжением больших и малых обид, испытанных им в пути. Жестокость мягкосердечного обычно папаши диктовалась обстоятельствами: «горе побежденным». Пятнадцать лет всевозможных обкарнываний папашиного бюджета были поставлены на карьеру сыновей. Если бы Михаил явился победителем, безразлично - белым или красным, если бы, не залезая в политические капканы, он предстал бы перед папашей устроенным, хотя бы носильщиком или даже золоторотцем, он мог бы рассчитывать, что знаменитая манишка будет подставлена для прикосновений его рыжей шевелюры, что растроганный папаша выставит бутылку хереса и начнет вспоминать о детских проказах милого Мишеньки. Но на лысую голову папаши свалился великовозрастный младенец с непонятными приключениями. Пренебрегая внушаемой ему с детских лет мудростью, Михаил рассорился со всеми. Его нигде не хотят, ни в красной Москве, ни в белом Киеве. Вместо багажа он привез из странствий подозрительные манеры гамлетизированного интеллигента и надоедливое однообразие партийного жаргона. Притом он ничего не умел делать, разве что мечтать о своем главенстве и участвовать в «выступлениях», но ни то, ни другое не сулило заработков. Притом, как и все смертные, он хотел есть, что окончательно выводило из себя папашу. Вместе с мелочью на обеды Михаил получал те оскорбительные словечки, которые может выговорить человек, привыкший, чтобы его хронически оскорбляли, когда наконец нарвется на кого-нибудь рангом пониже.

Папаша чувствовал солидность своих позиций. Среди неимоверного кавардака бар «Континенталья», куда его перевели из верхнего ресторана, казался эпическим образцом постоянства.

Менялись не раз посетители, преследуемые очередными победителями, папаша же, как земля или как звезды, неуклонно продолжал сиять и, сияя, описывать орбиты. Погоны появлялись или исчезали, оставляя на плечах предательские рубцы. Проплывали переменчивыми спутниками голубоватые кепи французов и устрашающие усищи германских майоров, австрийская, чешская или румынская мелкота, но если это и отражалось на ком-нибудь, то исключительно на музыкантах, по утрам разучивавших различные гимны. Что касается папаша, то он спокойно сервировал свои космополитические и надпартийные крюшоны. Против этого были бессильны и вся локальная живописность украинских чубов, и, страшно выговорить, сами большевики. Правда, при последних бар, подчиняясь веянию времени, спешно переменял паспорт. Он стал именоваться «Хламом». Там, отдыхая, военруки и политкомы поглощали шницеля под патриотические стихи начинающих авторов (предпочтительно о вселенском сдвиге). Бар был недостижим для политических бурь, и папаша, в сознании этого, глядел на Михаила так, как глядят курганы на сусликов, то есть высокаторжественно, несмотря на свою плешивость и малый рост.

Итак, Михаилу пришлось вновь испытать хлесткость если не помочей, то ругательств, особенно разнообразных в Киеве, благодаря лингвистической пестроте его населения, где «пся крев» легко сменяется «ганефьом», а кацапская заезжая «мать» независимым «трясця твоей...». Он воспринимал это как естественный аккомпанемент. Он бродил по улицам с опущенной головой и тяжелым дыханием отставшей от хозяина собаки. Человеческие чувства можно как угодно деформировать. Поэт, склонный к гиперболам, описывая Михаила, может быть, припомнил бы Наполеона после «ста дней» или декабриста, убежавшего с Сенатской площади, мы же предпочли заурядный образ бесхозяйной собаки как наиболее соответствующий душевному состоянию Михаила. Неудачливый бунтарь теперь вовсе не думал о мировых событиях. Еще месяц назад судьбы революции уплотняли его сутки. Тогда он не отделял своих будничных занятий оттого громоздкого, о чем пишут сначала в мотыльковых, марающих пальцы газетах, а потом и в солидных фолиантах историков. Эта карьера теперь казалась ему исключенной. Уроки папаша естественно возвращали его к

прогимназии. Жизнь вторично требовала выбора профессии, знакомств, протекций, среды. А он был способен теперь на одно: уклоняться. Если занятие и нашлось, в виде должности, раздобытой папашей, то это можно назвать не житейским поприщем, а первой подвернувшейся подворотней. Обстановка гетманского Киева, с олеографическими бликами беглых сановников, с одуряющим избытком паштетных, как бы подкрепляла его в ощущении тошнотворной мути. Если и шла речь о чем-нибудь, то об удачно спекульнувшем на австрийских кронах Финкелевиче, но никак не об истории. Оказия казалась Михаилу безвозвратно упущенной. Как все юноши, не обладая масштабом, чтобы измерить пережитые злоключения, он свои двадцать лет почитал за старость и, дыша порой в тусклое зеркальце, служившее папаше для установки галстука, искренне удивлялся отсутствию у себя седин, приписывая это особенности рыжих волос.

Он даже не подумал огрызнуться на предложенную должность, хотя она была препротивной: в упомянутом нами учреждении на Николаевской принимать и подавать калоши, с которыми гардеробщик Григорий, вследствие исключительного переполнения бара, никак не управлялся, различные калоши: рваные с напиханной в них бумагой - кабаретной и газетной мелюзги, горделивые, твердые полуботики, снабженные блестящими инициалами, - солидных особ, издателей или же импресарио, дамские, кокетливо вилявшие меховыми челками, - словом, все разновидности калош, бот, полуботиков, незаметно, внизу дорисовывавших социальное положение человека.

Кто только той зимой не бывал в литературно-художественном кружке! Киев являлся тогда своеобразным климатическим курортом, переживавшим разгар сезона. Привлекая особо благоприятной атмосферой северных изгнанников, он не спешил их сдавать своим наследникам, то есть Одессе или Ростову. Подобно всякому курорту, он изобиловал эфемерными магазинами, начинавшими прямо с распродаж, в частности комиссионными, где продавались соболя и подержанные шприцы, шашлычными, открываемыми налегке, в кредит, чуть ли не без фунта баранины, театрами-миниатюр, театрами-гиньоль, клубами-лото, кабаре-артистик, с интимнейшим окружением художественного мира, игрой в баккара, в шмэн-де-фер, танцклассами по-американски, банями с номерами, ресторанами с

кабинетами, - словом, всеми аттракционами, предназначенными для людей, отлученных от налаженных занятий и перегруженных досугами.

Гости съехались, облепленные попутчиками в виде журналистов, сорокалетних девочек с кудряшками, румынских гитаристов, безангажементных инженю, поэтов, героически не пожелавших променять пастушек на коровниц, лекторов о любви со световыми проекциями. Все они быстро обжились, и не прошло месяца, как патриархальные туземцы были приобщены к столичной цивилизации. Они могли теперь читать десять газет, есть бефстроганов под сафические строфы и спать с омоложенными ветераншами московского «Омона».

Вся эта живописная свита и заполняла «кружок» на Николаевской, оставляя Михаилу грязные калоши и пронося во внутренние залы, вместе с хорошим аппетитом, с построчным или поночным гонораром, подлинное вдохновение, выразившееся как в неожиданности скандалов, так и в сольных выступлениях: в ариях, в поэмах, в эстрадных анекдотах. Михаил мог воочию убедиться в экстерриториальности искусства. Трудно было определить, где обитает этот шумливый народец: в гетманском Киеве, в революционной России, в захудалой африканской колонии или же непосредственно в кандидовском, безо всяких кавычек. Эльдorado, - до того мало занимали его грандиозные события. Эту экстерриториальность признавали все режимы, предшествующие и последующие, так что дом на Николаевской, в котором квартировали различные цеховые организации, напоминал консульство иностранной державы. Там выдавались справки, удостоверения, мандаты, освобождающие поэта пастушек или пышнозадую инженю абсолютно от всего - от воинской и трудовой повинностей, от реквизиций и мобилизаций, от уплотнения и даже от гражданской совести. Прислушиваясь к беспечному говорку в прихожей, Михаил начинал завидовать этим людям. Он ведь тоже очутился вне событий, но без соответствующих привилегий (понимая под этим не только грубые внешние блага, но действительно аполлоническую ясность духа, с которой еженощно, что бы ни сулили вечерние выпуски газет, тучный трагик Лавров подносил к своему далеко не трагическому, скорее индючьему, носу рюмку зубровки). Несколько излеченный

однообразием дней от московской встряски, Михаил стал внимательно присматриваться к быту нового для него племени. После театров, то есть за полночь, когда гардеробная почти бездействовала, Михаилу удавалось, отлучаясь от калош, заглядывать в зал. Как мы уже указывали, там поглощались не только подозрительные изделия чадной кухни, но и различные духовные восторги, не значившиеся в карточке кушаний. Здесь тоже были свои «ответственные». Звали их «знаменитостями». Столики, за которыми они ужинали, неизменно омывались почтительным прибором поклонников, подражателей, интервьюеров. Слава здесь делалась на месте, не артиллерийской дуэлью, с ее всегда сомнительным исходом, не докучными баллотировками, но исключительно приятным гудом над остывшими дежурными блюдами: «Нет! Вы слышали, как он читает?..» Любое имя могло оторваться от паспортных низин, с жужжанием взмыться вверх, как самолет. Михаил оказался в стране «счастливых случаев». Что ни день он присутствовал при рождении чьей-нибудь славы. Паршивая служба превращалась в неожиданную удачу. Грязные калоши почти любовно переставлялись аристократическими ручками Михаила. Заглядывая в расширяющиеся зрачки прилипчивых поклонниц, хорошо знакомые ему еще по прошлому лету, когда имелись автомобиль и министр, он начинал оживать. Может быть, он и не так стар? Может быть, неудача объясняется неправильно взятым направлением? Высокой беззлобности искусства он предпочел злобу дня. Теперь следовало наверстать потерянное усвоить язык и нравы, завязать знакомства, наконец, главное, выбрать масть, с которой начать игру. Когда пианист кончал этюд, Михаил изучал все вариации аплодисментов. Не метя в парикмахеры, он детально обследовал сложные прически выступавших поэтов. Конечно, его руки были специально созданы для того, чтобы вдохновенно отрываться от клавиш. Но он ни минуты не подумал всерьез о музыке. Все, что явно требовало длительной выучки, отталкивало Михаила: занятие, достойное Темы. Где люди вкладывают в дело солидный капитал, то есть долгие годы работы, там нет места азарту. Другое дело театр или поэзия. Колебанию между ними было уделено немало ночей. Казалось, театр с ангажементом, рампой, париками, вызовами перевесит. Но имелся один серьезный довод против: трудность дебюта. Перспекты бесчисленных театральных студий, которыми в

революционные годы обросли заборы всех русских городов, даже буколические плетни местечек, твердили о какой-то темной учебе. Пойти в театр Соловцова и потребовать, чтобы его хоть разок выпустили, Михаил не решился. Таким образом, побеждала поэзия. Сколько и как готовится поэт, об этом никто не знает. Можно приналечь и в месяц одолеть всю науку. В какой редакции станут допытываться о стаже поэта? Наконец, можно, при случае, прочесть свои стихи вслух, соблюдая как интонации, доставленные сюда из петербургских кабаре, так и соответствующую шевелюру. Михаил решил стать поэтом, притом в кратчайший срок.

С удвоенным вниманием он прислушивался теперь к выступающим. Были далеки те времена, когда его могла довести до ночного мычания оперная ария. Чуждый взволнованности, он трезво, как коммерсант товары, расценивал звуки. У любого профессионала, привыкшего к искусству, как стряпуха к стряпне, все же, бывает, прорвется: вместо делового поддакивания или конкурентской усмешечки он одарит чужое вдохновение благороднейшими слезами. Не таков был двадцатилетний Михаил: волнение и поэзия в его представлении никак не сочетались.

Анализируя ухом специалиста произведения различных поэтов, особенно то го, что испугался пролетарской коровницы, Михаил все свои свободные часы отдавал соответствующим экспериментам. Это было напряженнейшей работой. Он даже стал подвергаться едким нападкам гардеробщика, так как, занятый аллитерациями, безжалостно путал калоши. Слова, которыми он оперировал, очищенные от обременяющих их обычно понятий, никогда не враждовали друг с другом, всецело подчиненные воле Михаила, они шли на самые непостижимые встречи. То, что в результате получалась бессмыслица, нимало не смущало молодого автора. Разве понятны стихи других поэтов, хотя бы самого знаменитого? Нет, дело не в смысле, а в сложных рифменных комбинациях. Очень скоро Михаил в точности усвоил и версификационные приемы, и лексикон поэта, которому подражал. Он написал не менее двухсот стихотворений, хотя писать ему совсем не хотелось. Наконец он нашел подготовительный период законченным. Предстояло перейти к борьбе за славу. Его восприимчиком мог быть лишь первейший из поэтов, следовательно, все тот же ревнитель пастушек. Препятствием

являлось малозаметное для других обстоятельство: у знаменитого поэта не было калош. Его хоть и лакированные, но сильно поношенные ботинки бесцеремонно пачкали паркет «кружка». Это устраняло простейшую форму общения. Приходилось ждать okazji. Она представилась в виде виноватой улыбки поэта, прикатившего в «кружок» на извозчике с напрасной надеждой признаться у кого-либо из приятелей сотню карбованцев. Преследуемый красномордым извозчиком, который в негодовании дошел до передней кружка, поэт растерянно улыбался. Выручил его Михаил. Уже на правах кредитора несколько дней спустя он заговорил с поэтом, конечно, не о возвращении карбованцев, а о чистой поэзии. Свидание было назначено на одно из ближайших утр, причем Михаил должен был явиться к поэту со своими произведениями.

Поэт, рассмотренный теперь Михаилом вблизи, поражал нелепостью как своего вида, так и поведения. Могли ли сочетаться недавно приобретенный за солидную сумму муаровый серебристо-зеленоватый галстук с пальто, переделанным из солдатской шинели, извозчики, причем всегда лихачи, с хроническим отсутствием в его днях чего-либо, напоминающего обеда? Это был вымирающий ныне тип традиционного поэта, всю свою жизнь нищенствующий и бескорыстно влюбленный в былую помпезность, веселое дитя, надоедливая птица, словом, чудака, не раз описанный нашими предшественниками. Каморка, в которой он жил, озадачила Михаила: по сравнению с ней даже папашины закоулки казались хоромами. В чем же дело? Неужели слава столь существенна, столь весома, что может одна заменить все прочие приманки? Подобные предположения только усиливали волнение юноши, сжимающего в руках объемистую тетрадь.

Поэт принял Михаила ласково. Это было трогательной участливостью одного чудака, нашедшего другого, притом там, где он меньше всего ждал его: среди отсутствовавших и в обиходе поэта, и в сконструированном им Трианоне обыкновенных резиновых калош. Обитатель полуигрушечного мира был далек от бездушности. Нищенствуя, неизлечимым изъяном лишенный простого телесного счастья, он в свинцовые чернильные ночи одиночества, когда другие несчастливцы себялюбиво плачут, занимался легчайшими словами. Его стихи были формулами звукового блаженства. То, чего не

расслышал Михаил, учитывавший лишь логическую бессвязность строф, доходило, однако, до других, создавших ему славу большого поэта. Это было лирическим акцентом, еле слышной горестью, чувствовавшейся среди манерных притяжений и отталкиваний звуков. Заговорив с начинающим поэтом из гардеробной, он предугадывал душевные бессонницы, патетические темноты биографии, гордость слез, переработанных в рифмы, угрюмую страну, где родилась эта клеенчатая тетрадь. Он ждал неумелых признаний, гимназических виршей, часто в своей беспомощности более выразительных, нежели все достижения виртуозов. Сколько таких произведений, где ямб сбивался на анапест, где рифмовались «правда» и «года», были написаны в первые годы революции бородами школьниками пролеткультов, мечтательными рабфаковцами или красноармейцами, стосковавшимися по своим милым. Поэт приготовил себя к нежной, почти родительской, снисходительности. Но по мере того как Михаил читал, его лицо, обычно беспечное, становилось угрюмым. Начальную приветственную улыбку сменила гримаса недовольства, даже неприязни.

Зевака в зоологическом саду прощает мартышке многое, по существу оскорбительное, за ее хвост, являющийся даже более ощутимым разделом, нежели прутья клетки. Здесь хвоста не было, и никакие калоши не могли его заменить. Вся игра звуками, стоившая поэту немало ночей, полных грусти, была спародирована этим беззастенчивым фокусником. Искажающее зеркало паноптикума вызывало ненависть и к оригиналу. Чувство отвращения, заполнившее поэта, давно уже оставило толстую тетрадь, оно перешло на его собственные стихи. Он в отчаянии дергал серебристо-зеленоватые уши любимого галстука. Он чувствовал себя душевно разоренным.

Михаил трудился не впустую. Обладая даром переимчивости, он в точности усвоил все домыслы современной версификации. Он овладел сложнейшими формами, но трудно вообразить себе нечто более пошрое, более оскорбительное, нежели содержимое этой тетради. Кажется, впервые знаменитый поэт заговорил на простом языке - вместо обычных отзывов об инструментровке, он спросил Михаила:

- Скажите, зачем вы это делаете?..

Михаил счел вопрос глупым и, не ответив, стал допрашивать поэта, точно и настойчиво, о различных практических применениях своих трудов. Какой дебют предпочтительней: выступить с чтением или послать стихи в редакцию? Если в редакцию, то в какую? Наконец, может быть, издать сборник? Он ждал от своего сотоварища не психологической беседы, а полезных указаний. Ничего не добившись, он подумал, что сплупил, обратившись к знаменитому поэту. Никто услужливо не уступает облюбованного им в жизни местечка. Поэт почувствовал в Михаиле опасного конкурента. Что же, Михаил обойдется без него!

Каллиграфически старательно были переписаны стихи и посланы во все десять газет. Ответа не последовало. Михаил объяснял это исключительно ревностью революции, напоминавшей о себе близившимся грохотом пушек и требовавшей все полосы газет. Однако он был уверен в близком признании. Почтальон каждый день мог перевернуть его судьбу.

Развязка действительно скоро подоспела, хотя и в несколько неожиданной форме. «Кружок» в ту ночь был особенно переполнен. Не хватало вешалок, так что шубы сваливали на скамьи. Днем артиллерия басыла настойчивей обычного, и столики «кружка» не могли поместить всех бутылок. Это была многим памятная ночь, когда трагик Лавров, напившись, вскочил на стол и завизжал: «Где мой нос? Расскажите, пожалуйста, где мой нос?» - глупая, пьяная, бестолочная ночь, последняя перед очередной сменой правительств. Знаменитого поэта поили коньяком. Пить он не умел и после третьей рюмки впал в раздражительный сентиментализм. Когда музыкальные номера были кончены, а Лавров благополучно уведен восвояси, почитатели, выставившие бутылку коньяку, подступили к поэту с просьбой прочесть стихи. Поэт не соглашался: какие стихи? зачем стихи? Он требует для себя права быть просто пьяным нахлебником, никогда и в глаза не выдавшим пастушек. А если они хотят обязательно поэзии, то здесь имеется другой поэт. Где? В гардеробной...

Какие-то подвыпившие журналисты приволокли Михаила на эстраду. Он держался превосходно, как будто привык читать свои стихи. Час был достаточно поздним, да и выпито было достаточно, чтобы люди вслушивались в монотонное чтение. Однако все поняли: это всамделишные стихи, эстетические экзерсисы. Причем пишет их

человек, обыкновенно подающий калоши. Оказывается, ему снятся нимфы! Это было экзотикой, подлинной сенсацией, и самая внушительная орация, которую когда-либо видал «кружок», досталась Михаилу. Некто Шейфес (хотя по профессии и не критик, а биржевой обозреватель «Киевской мысли») не мог удержаться. Он произнес импровизированную речь, сочетающую чувствительность глубоко растроганной души с гражданской непримиримостью.

- Господа, возясь с калошами, поэт не сел в калошу. В то время как в Совдепии вся поэзия сведена к печному горшку, здесь мы видим истинного пролетария, которому дорого чистое искусство...

Аплодисменты возобновились. Михаил сохранял спокойствие. Не было даже признаков улыбки. Слава лишь несколько побелила его лицо. Инженю бросила ему чуть порыжевшую на морозе белую хризантему. Здесь руки неожиданно выдали волнение: они вьелись в цветок и мгновенно разодрали его. В зале стоял восторженный гул: «Каково!.. Калоши и нимфы!.. Поглядите на его руки!..» Только пьяный поэт не утерпел и в сердцах крикнул:

- Зачем ты это делаешь, мандрила?

Но поэта уняли. Михаил быстро прошел в гардеробную. За ним последовала какая-то компания. Его приглашали поужинать вместе. Одна дама особенно настойчиво подпевала:

- Ну, какой вы злой! Оставайтесь!

Он взглянул в ее зрачки и отвернулся: это было слишком потрясающим чтением. Слава, огромная слава отдавалась ему, самолюбивому фантазеру из телефонной будки, карикатурному бунтарю, гардеробщику-самоучке. Все остальное являлось незначительным. Рядом со зрачками пропадала даже дама, шикарная дама, готовая хоть сейчас подчиниться любой прихоти рыжего гордеца. Он мог слушать всю ночь это имя «Михаил Лыков», расширяющееся до определения из словаря, слушать похвалы, изумления, философствования. Он мог пить, на правах чествуемого, шампанское, милостиво одаривая чужие бокалы снисходительным позвякиванием. Он мог попросту лечь с этой, если считать на деньги, недоступной ему женщиной. Он мог все. Но, сухой, белый, он молчаливо рвался к выходу. Он попросил о единственной награде: отпустить его от калош. Он должен уйти. Куда, он не объяснил, предоставив обиженной даме дорисовывать шиньон соперницы, а

сентиментальному Шейфесу уверять всех, что счастливый дебютант помчался к своей мамочке, чахоточной прачке, «делиться радостью».

Он бежал по пустой заснеженной улице, принимающей уроки забывчивости и немоты в виде пушистого крупного снега. Этот снег отражал световые вылазки окон, опереточных штабов и трагических лазаретов. Он учил потере последующих ночей, лишенных света и ограды. Он падал также на окрестные поля, где стояли крестьянские курни, наводя на барочные соборы панского Киева глотки пушек. Он глушил выстрелы. Он делал их похожими на зевоту. Меняя пропорции, снег превращал волновавшее всех огромное событие в мельчайший след, в шаги запоздавшего прохожего, в скрип обмерзшей двери, настолько он был не только довоенным, но и доисторическим, молчаливым снегом, легко, от дыхания ребенка тающим, умирающим каждую весну, но и самым постоянным из всего, что знает русская история и русская душа.

Михаил, однако, не видел снега. Тишина казалась ему насыщенной мириадами приветствий и виватов. Положив на мокрое, в снежинках, лицо ладонь, чтобы защитить это бедное, полудетское лицо от дышащей на него новой любовницы, он бежал мимо наросших сугробов и редких патрулей.

Герой становится героем

Куда спешил Михаил? Порадовать папашино сердце, дряхлое сердце, с каждым месяцем все слабее ударявшееся о древнюю твердыню манишки? Или просто в поле, экстатичным языком беседовать с традиционным «болваном» всех любовных и прочих игр, с молчаливой природой? Наконец, может быть, имелись у него на примете нам не известные зрачки, расширенные присутствием не славы, а простой человеческой страсти? Нет, все эти предположения ошибочны. Ни на минуту не останавливаясь, Михаил бежал на Малую Васильковскую, где жил человек, как будто позабытый и нашим героем, и рассеянными читателями.

Почему Михаил не зашел к Артему прежде, не попытался найти опору у родного брата, сверстника игр? Ведь одиночество его угнетало, он готов был заговорить с осенним дождем, пожаловаться любой лошади. Самолюбие, проклятое самолюбие закрывало самую простую возможность. Папаши, еще недавно задиравшего ему рубашонку, он не стыдился. Другое дело Тема - равный и в то же время злостный соперник. Передним Михаил мог предстать только с победными реляциями. Как-то, случайно встретив брата, он прикинулся заговорщиком. Со всей фантазией газетного репортера он нарисовал героическую оборону Семеновских казарм, особенно останавливаясь на тех деталях, которые могли бы ожесточить Артема против него. Для этого он даже попытался восстановить в себе давно изжитую неприязнь к большевикам. Зато он утаил от брата единственную страницу своей биографии, равно понятную обоим: Октябрь. Он боялся, что, рассказав об этом, натолкнется на нежность серых глаз, более для него болезненную, нежели отчуждение. Он был рад, что положение Темы, занятого подпольной работой, устраняло возможность частых встреч. Не видя брата, Михаил, однако, напрасно пытался не думать о нем. Тема становился для Михаила чем-то нарицательным, за него по ночам говорили угрюмые орудия. Это о Теме, о его узком деле шумели полосы десяти газет, пренебрегая безупречной поэзией Михаила. Побезденный, казалось, видимостью жизни, театрами-миниатюр, реставрированным распорядком будней,

Артем вдруг напоминал о себе то патрулями, то вокзальной паникой и перестрелкой, то ознобом «экстренных выпусков» газет. Симптомы огромного исторического процесса в восприятии Михаила легко становились хитростями Артема.

Трудно в точности определить, как Михаил относился к брату. Пожалуй, это являлось единственным запутанным местом в его чувствах, обычно ясных и конкретных. Папаша вызывал в Михаиле лишь чисто утилитарные соображения. Папаша был для него предметом обихода, смотря по обстоятельствам, то полезным, то обременительным. Даже когда отец оскорблял Михаила, тот испытывал умеренное раздражение, и только. Другое дело Артем: здесь можно было увидеть все градации человеческих чувств. Порой Михаил ненавидел брата, ненавидел до самозабвения. С какой радостью он бы его убил, но не исподтишка, нет, смакуя все торжество унижения, волоча за собой, как некогда кота булочницы!.. Ненависть легко сменялась мучительным пристрастием. Откровенно говоря, только один человек на свете и занимал Михаила: брат. И удачи Артема, и его напасти отдавались в Михаиле, еще со времен первых игр, физиологически остро. Кто знает, как ему хотелось в часы тоски, сиротства, отчаяния побежать к Артему! Зачем? Этого он сам не понимал. Он презирал брата, и вместе с тем ему хотелось спрятаться за широкие плечи Темы. Возможно, что в этом были повинны подсознательные воспоминания самых ранних лет, когда Теме приходилось волей-неволей нянчиться с младшим братом. Таким образом, слишком жидкий для того, чтобы быть осязаемым, образ матери заполнялся приметам старшего брата.

В последнее время, однако, плавенствовала злоба, и отнюдь не идиллические мотивы ускоряли бег Михаила по Малой Васильковской. Герой, увенчанный Шейфесом с компанией, искал последней, наиболее сладостной награды - унижения брата. Наконец-то этот самонадеянный баран, способный лишь числиться мельчайшим колесиком организации, увидит всю незаурядность Михаила. Он нес ему хранившиеся еще в ушных раковинах ворохи аплодисментов и на кончиках пальцев парфюмерию дамских прикосновений, нес бюллетень славы.

Артем не спал. Все было исключительно буднично в этих комнатках, вплоть до оханья кухонных часов, вплоть до тараканов.

После «кружка» с его люстрами и овациями, после триумфа это показалось Михаилу прозябанием. Сам Артем, в серости пиджака, щек, глаз являлся тоже частью обстановки, может быть даже наиболее будничной. Ведь его страсти, хорошо камуфлированные, никогда не бросались в глаза. Пододвинув табурет ближе к лампе, он читал номер московской газеты, своей смятостью и зачитанностью говорившей о трудности проделанного пути, причем в статичности сцены, в антураже чашек и часов, в размещении медовых ковриг света было больше от жанровых картин старых голландцев, нежели от пестроты и быстроты событий, переполнявших смятый лист. Михаил, не будь он столь занят собой, наверное, одарил бы эту сцену презрительной улыбкой. Такой революционности, то есть кротовой, подрывательной, с чтением под лампой, революционности защитного цвета, он никак не мог признать. Если подполье, если нет мажорных боев, романтизм все же должен продиктовать пароли, двойные выходы, особую интонацию шепотов. Теперь он, однако, даже не мог оглядеть брата. Его трезвости хватило лишь на то, чтобы разыскать достаточно путано расположенный флигелек. Уже стук в дверь выдавал экзальтированность. Являясь, кроме того, и поздним (кухонные часы доковыляли до трех), этот стук несколько встревожил Артема. Ведь близость сроков сказывалась не только в количестве бутылок, распиваемых посетителями различных ночных заведений, но и в таких запоздалых посещениях, за которыми обычно следовали недолгие сборы, две-три пустые заснеженные улицы, стенка и короткий залп. Артем был давно готов к подобному эпилогу и, услышав нетерпеливый стук, машинально оглядел висевшую у двери шапку, эту единственную подругу, сопровождающую несчастливца по окольным улицам и вместе с ним падающую на тихий снег.

Нет, это был Михаил, тяжело дышавший от быстроты ходьбы, еще больше от импозантности минуты и всей нерасторопности человеческого языка. Артем обрадовался неожиданному приходу брата. Их чувства состояли в некоем соответствии, одно формируя другое. Артем не мог освободиться от материнской заботливости, да и снисходительности к своему младшему брату. Не будь этого, он, наверное, при виде сомнительно печальющихся глаз Михаила испытывал бы только отвращение. Артем принадлежал к тем людям, которым органически претит всякая театральность, начиная от

наиболее оправданной, то есть от декламации профессиональных актеров, и кончая аффектированными соболезнованиями или патетическими жестами обывателя. А жизнь Михаила разыгрывалась на ходулях. Занятый делом, Артем уделял мыслям о брате не много времени, но мысли эти были горькими и пропитанными жалостью.

Артем обрадовался Михаилу, почти забытому в кропотливой напряженности подпольной работы. Вид нахального чуба возрождал чехарду или бабки детских лет. Не желая вникать в значение прихода Михаила, в его бледность, волнение, он просто сказал:

- Ты?.. Вот хорошо! Хочешь чаю? Я поставлю самовар.

Нельзя было придумать ничего более кошунственного, нежели эти слова. Их действие на Михаила было катастрофическим. Сразу стали ощутительными и лампа, и часы, и тараканы. Они ползли на Михаила, со всеми манишками, со всеми калошами мира. Он делал глупейшие телодвижения, как бы отбиваясь от этого нашествия. Со стороны казалось, что он прыгает. Наконец он преодолел диссонанс встречи. Он стал говорить. Он говорил о своем триумфе, нет, он вслух восстанавливал его. Он переполошил тараканов люстрами и музыкой. Он заново повторял все стихи, и тысячи рук закидывали его звездообразными цветами. Его руки положительно сходили сума, не зная, что им предпочесть: снисходительные пожатия или наполеоновский жест надменного одиночества. Кончался этот рассказ зрчками, уже отделившимися от лица женщины, помноженными на его фантазию, бушующим множеством звездных зрчков. После этого последовала пауза, ибо люди еще не выдумали соответствующих слов, заполняя словари идиотическими тараканами, а за паузой один только вздох, подкрепленный неопределенным жестом и означавший «славу».

Участие и брезгливость боролись в Артеме. Заболевание требовало, конечно, жалости, но своими отвратительными выделениями оно делало эту жалость подвигом. Какой чистой казалась эта тихая комната с шорохами тараканов до прихода Михаила! Теперь на стенах, как в кинематографе, шла проекция пошлейшей кабацкой истории. Речь Шейфеса заставила Артема, при всей его сдержанности, болезненно поморщиться. Это напоминало кислый запах блевотины. Потребовалось большое напряжение взрослой нежности и снисходительности, чтобы не выкинуть Михаила

за дверь, чтобы вместо этого, со всей сосредоточенностью боли, проговорить:

- Жаль мне тебя, Михаил...

Слова эти были сказаны хоть и вслух, но никому. Михаил присутствовал в комнате, однако они до него не дошли. Они показались ему абсурдом, как стихи знаменитого поэта из «кружка». Михаила можно было жалеть, когда он бежал по подмосковным полям, его следовало жалеть, когда он метил мелком рыжие калоши. Сколько раз тогда втайне он помышлял о теплоте, о сладости этой Теминой осторожной, как бы вскользь, жалости. Но теперь, после ночи в «кружке», речь шла не о жалости, не о глупой и наглой жалости, но о преклонении.

Михаил был слишком счастлив, слишком отрешен от привычных душевных рефлексов, чтобы рассердиться. Он только замолк. Идти домой было поздно: Артем, ссылаясь на тревожное время, не хотел его отпустить. Ему предстояло провести здесь ночь. Он прошел в кухню. Он слушал, как в трубах пела вода, и это являлось стройным продолжением приветствий. От непрерывности подъема он задыхался. Приоткрыв дверь из сеней во двор, он натолкнулся на чье-то лицо. Белизна снега позволила ему различить усы и погоны. Несмотря на всю отдаленность от окружавших его вещей, Михаил сразу понял - за Темой!.. Язык этой снежной ночи, с ее тихостью, с безумствованием вокруг бутылок шампанского, со всей многозначительностью нестройных залпов, стал ему теперь внятен. Действительно великой была ночь его вознесения и счастья. Даже события подтягивались: вместо тараканов они заговорили кобурами револьверов. В центре неизбежно стоял он, Михаил.

Поэтому последующее, во всей его необъяснимости, было для Михаила вполне естественным. Когда раздался грубый, трафаретный, как погоны, голос: «Артем Лыков?» - Михаил, хорошо понимая, что это приглашение не на пир в честь новой знаменитости, а на смерть, на смерть всерьез, на лаконическую и скудную смерть среди снежных пустырей, все же без запинки ответил:

- Да, это я.

Грубый голос был лишь видоизмененным голосом славы. Когда же Михаила вывели на улицу, он не думал ни об окружавших его людях, ни об Артеме, жизнь которого спас. Он даже не думал о славе.

Он уже находился в той фазе счастья, когда место мыслей занимают светлые туманности, быстрый бег ассоциаций, подобных пронизываемым прожектором облакам. Он глядел на пуговицы офицера и видел зрачки. Он улыбался.

Сказалась ли в поведении офицеров их, по тем временам, исключительная гуманность или же только усталость от повторности каждоночных сцен, то есть метания, залпов и судорог, но они, вместо естественного исхода (именовавшегося тогда «убийством при попытке к бегству»), доставили Михаила в бывшие меблированные комнаты «Скутари», приспособленные для содержания арестованных.

Испытания, однако, лишь начинались. Рослый субъект, с русой, тщательно выхоженной бородой, называвший себя «представителем астраханской армии», судя по гнилостной кислоте дыхания выпивший достаточно водки, почему-то, проходя по комнатам, заваленным телами арестованных, облюбовал именно Михаила. Был ли это чуб, хранивший свою демонстративную неуступчивость, или подвижность рук, или еще не разрядившаяся приподнятость общего состояния - неизвестно, но что-то определенно заставило офицера остановиться возле Михаила. Постояв с минуту молча, в той томительной напряженности, которая может разрешиться чем угодно - выстрелом, слезами или буйством, - человек этот придвинулся к Михаилу и начал его бить. Весь остаток неторопливой декабрьской ночи он уже провел здесь, неизменно повторяя те же короткие и тупые удары, сопровождаемые однообразной руганью. И в его голосе, и в его движениях было уныние засыпающего человека, и если бы не кровь на костистой руке, можно было бы со стороны подумать, что он совершает какой-то непонятный обряд. Он бил по носу, по глазам, без охоты, как нанятый на поденную работу, он забил бы Михаила насмерть, если бы рассвет на час не опередил бы смерть.

О жестокости гражданской войны, с выпарыванием семитических и арийских кишок, с вырезыванием перочинными ножиками на плечах погон, а на лбу звезд, то есть с кропотливым вырезыванием кусочков теплого склизкого мяса, со всеми ухищрениями, на которые способны мастера-самоучки, написаны уже тома. Но как не отметить здесь, ведя рассказ об отвратительной ночи в бывших номерах «Скутари», одной черты, делающей жестокость глубоко традиционной? Не в самой жестокости суть. Достаточно вспомнить

все историческое значение открытия доктора Гильотина или кайеннские лихорадочные топи, где, привязанные к позорным столбам, гнили героические инсургенты, чтобы не говорить о мягкосердечии других народов. Но редко где люди бывают в своей жестокости такими скучными, редко где смерть граничит настолько вплотную с подступающей прямо к горлу тошнотой, как на земле, прославленной долготерпением. И кто знает, к кому относится это хваленое долготерпение, кого приходится больше жалеть - истязуемого или истязателя, - когда оба они изнывают, охваченные скукой, той великой скукой, которая выворачивает челюсти, выдумывает черта и делает весь мир похожим на пыльную улочку, залусканную подсолнухами?

Михаил продолжал пребывать далеко от клетушек «Скутари». Напряженность внутренней работы делала его нечувствительным к физической боли. Едва прикрываемая рукой бородача, качавшейся как маятник при каждом ударе, к Михаилу приближалась смерть. Она была здесь своей, хозяйкой, среди постояльцев этих бывших «номеров». Михаил, который обошел молчанием и расспросы сотоварищей, и брань стилизованного опричника, от объяснений с ней не мог увернуться. Она подступала во всей ее простоте, делая даже безразличной обстановку предстоящей встречи: еще несколько тяжелых ударов или же белесость зимнего рассвета с проходами по коридору и с предварительным снятием сапог. Это приближение было слишком ощутимым, чтобы гадать о характере последних минут.

При всей ее жестокости эта ночь по отношению к Михаилу была известной заботливостью судьбы. Конечно, протрезвление наступило скорей обычного, подогнанное всей важностью часа. Водевильная слава не сочеталась с естественной торжественностью красного клейстера. Смерть требовала иной настроенности. Она превращала недавние голоса триумфа в отвратительное мяукание вербных гармошек. Ее немота была настолько выразительной, что слух терялся среди беззвучности пространства. Протрезвление произошло внезапно, во всей его полноте. На Михаиле еще значились сапоги, но он был внутренне гол чудовищной голизной белого, комнатного, несчастного тела, среди сложности и нагроможденности вещей, мыслей, дел, которая пугает нас в операционном зале. Но ведь протрезвление все равно должно было прийти, раньше или позже,

только измельченное, чтобы замучить этого самолюбивого человека всеми деталями глупейшего положения, стыдом перед собой, перед пьяными ценителями из «кружка», даже перед стоявшими на столиках бутылками. Оно все равно должно было завершиться встречей с серыми глазами брата, выдавшими и приход и нелепые прыжки, фарсовый экстаз самодовольного наивца. Тогда мы вправе говорить о заботливости судьбы, сделавшей это протрезвление не провалом в слезливые трущобы раскаяния, но подъемом на еще неизвестные Михаилу высоты.

Одно мгновение он болезненно вздрогнул, припомнив эстраду «кружка» и себя на ней. Бородач, который принял эту дрожь за особенную меткость своего кулака, удовлетворенно ухмыльнулся. Но быстро мысли Михаила перешли к иному, большему. Его спасал масштаб состояния, спешка нескончаемых мыслей, импрессионистические наброски вместо вырисованной картины, а главное, неожиданный взрыв всех запасов человеческой нежности, никак не сумевшей проявиться в его жизни, если не считать нескольких заспанных снов, да еще, пожалуй, окраски глаз.

Эта нежность шла теперь к тому человеку, которого, как ему казалось прежде, он ненавидел: к Артему. Михаил в умилении вспомнил мохнатость ресниц, смягчающих металлическую волю глаз. Он вспомнил, как Тема когда-то клал ему на хлеб остатки сливового повидла, сам облизываясь и выдавая свое желание отведать лакомство только страстностью вопросов:

- Что, вкусно?

Михаил слышал слова, сказанные этой ночью: «Жаль мне тебя». Он отдавался этой жалости Артема, заполнявшей комнату присутствием той, которую зовут все смертники, будь то среди досок, шлюпок и арктических льдов или на заплыванных полах тюремных камер.

Он ощущал физически ее теплоту, мелодический трепет, соленость. Осознав наконец, что вне своего желания, по одной инерции, он спас брата, что Артем избежал качания этой русой бороды, что он является его заместителем в боли и в смерти, Михаил улыбнулся. Истязатель заметил эту улыбку. Он задержал поднятую руку и задумался. Потом же отчаянно зевнул и вернулся к прерванной работе.

Нежность была столь велика, что еехватило и на тощую грудь папаши, снявшего манишку, и на продранные ботинки знаменитого поэта, на всех. Она золотила теперь его детство. Впервые вечно ему сопутствующий образ портного Примятина предстал в ином окружении. Исчезли чайная, мухи, смешные шажки пьяного портняжки - словом, вся тошнота, вся унижающая душу протокольная точность быта. Примятин не произносил анекдотических фраз. Он был птицей, легким жаворонком в картузе. Он летел, героически и блаженно.

Это уже являлось полусном. Михаил, ослабев, потерял сознание. Астраханец все продолжал его бить: ведь он бил не Михаила Лыкова, даже не большевика, одного из тех, что сожгли его беленький хутор, нет, он бил свою дюжую живучую скуку. Он кончил бить только тогда, когда резкость рассвета и переполох в номерах «Скутари» напомнили ему, что время убегать, не то через несколько часов другой бородач будет тупо бить его по носу.

Таким образом, смерть на этот раз замешкалась, опоздала. К вечеру Артем уже стоял с компрессами над головой Михаила. Залечить следы ночи в «Скутари» было делом нескольких недель. Но благодетельность происшедшего внутреннего слома не подлежала зарубцеванию. Михаил, который месяца два спустя встречал на Крещатике шедшие из Броваров полки красных, был новым Михаилом, не кандидатом в вожди и не знаменитостью, нет, просто человеком в толпе, одним из тысяч, который разделял общее волнение «идут? не идут?», который улыбался, потому что в этот весенний день улыбались все.

Такова целительная сила героизма.

Мофективная секция собеса

Правильное распределение рабочей силы - необходимое условие для государственного преуспевания, скажут нам рассудительные граждане. Мы не станем, разумеется, спорить с ними. Мы только скромно заметим, что если влюбленный и забывает иногда вовремя пообедать, нарушая таким образом методичность своего пищеварения, то это ничуть не умаляет патетичности его чувств.

Факт, взятый вне окружения той весны, может показаться неправдоподобным: в одном из особняков Липок, в салоне, где красовались три колченогие табуретки и ампирный секретер с наклеенным на него при описи инвентаря большим ярлыком, под малиновым плакатом, витиевато вещавшим, что «социальное обеспечение - венец на челе пролетариата», среди безвозрастных фребеличек, от экзальтации теряющих жидкие хвостики наспех закрученных волос, среди оставшихся после постоа красных партизан поломанных винтовок, а также среди по чьему-то недомыслию доставленных сюда двух писклявых подкидышей, сидел наш герой, один чуб которого достаточно предохранял его от возможности смешения с кем-либо. Причем по тому, как уверенно читал он упомянутым растрепанным особам нечто полное спецификации о «социальном воспитании мофективных детей», было ясно, что его пребывание на колченогом табурете не является случайным, но постоянным, скорее всего служебным. Чтобы устранить упреки в фантастичности биографии Михаила Лыкова, вскоре после вторичного прихода красных в Киев оказавшегося сотрудником мофективной секции подотдела защиты детства Наркомсобеса Украинской Советской Социалистической Республики, мы должны напомнить читателям о некоторых ненормальностях этого прекрасного времени, справедливо приравненного нами к эпохе влюбленности.

Чем занимались люди в течение первых трех-четырёх лет революции? Если не брать в расчет некоторых занятий, равно обязательных для всех, как то: бесчисленных заседаний, взаимного истребления на фронтах, голодания или стояния в очередях, - то

окажется, что все занимались тогда неприсущими им делами. Диктовалось это не только, скажем даже не столько, привлекательностью пайков различных главков с наименованиями, малопонятными для большинства населения, но главным образом общей сумятицей, в которой окончательно перепутались все идеи и все профессии. Замечательное время, когда поэту из «артистического кружка» была поручена статистика госконтроля, когда биржевой хроникер Шейфес занимался не чем иным, как охраной материнства, а гардеробщик Григорий организовывал ботанические экскурсии при всеобщем! Нас удивляет скорей папаша, не сделавшийся, вследствие своего крайнего консерватизма, инструктором какой-нибудь коллективно-мимической студии, нежели Михаил, покоровшийся сумасшедшей логике событий и в ответ на предложение, сделанное ему одним из бывших посетителей «кружка», согласившийся направиться в собес. Ни паек, ни мандаты не играли в этом решении никакой роли. Михаил был одержим жаждой деятельности и, не обладая квалификацией, согласился работать над чем угодно, лишь бы работать. Лихорадочная активность тогда овладевала всеми, и экзальтация собесовских фребеличек отнюдь не была исключительной.

Киевляне встретили большевиков, как встречают на глухом полустанке столичные газеты. Изнемогавшие от паштетных и от холостых переворотов, от гетманцев и от петлюровцев, с равным усердием насаждавших одни «твердый знак», другие «мягкий» и этим ограничивавших культурное строительство, они кинулись в гущу бесчисленных комитетов, комиссии и совещаний. Это было время проектов и смет, пусть потом безжалостно обкорнанных цензурой жизни, но от этого не ставших ни глупыми, ни праздными, какими хотят их представить теперь иные чересчур прозревшие мечтатели. Не пора ли нам перенести обличительность наших усмешек с юноши, детально проектирующего установку всеобщего счастья, на его позднейшее перевоплощение, то есть на брюзжащего скептика, для которого ограниченность средств из беды превращается в некоторый пафос жизни, для которого отсутствие теорий - теория, а хозрасчет - единственное мерило человеческих идеалов?

К прискорбию, мало что сохранилось оттого периода. Даже так называемые «материалы», то есть вагоны бумаги, исписанные

благородными фантастами, были сожжены, частью перед приходом белых перепуганными домкомами, частью впоследствии для растопки «буржук», отличавшихся плохой тягой. Сколько высокого и завлекательного таили эти сгоревшие проекты! Жизнь, нарисованная в них, обладала притягательностью возвращенного рая. «Дворцы труда» и «дворцы искусства» высились чуть ли не в каждом квартале, причем названные, очевидно, в честь детских сказочных воспоминаний «дворцами», они оправдывали свое название. Сколько непонятных чертежей, сколько десятизначных цифр, сколько садов на крышах и электрических вентиляторов! Это все предназначалось для какой-нибудь Демиевки, где нет не только дворцов, но и порядочного дома с водопроводом и канализацией, где взор прохожего обнаруживает, вместо проектированных цветников, мальчугана, остановившегося в подозрительной позе у забора, под сакраментальной всероссийской мольбой: «Останавливаца воспрещайца». Архитекторы покрывали Киев скверами, отводя услужливо место скульптурам не только для десяти разновидностей Карла Маркса, но даже для памятника некоему борцу за освобождение мартиникских невольников. Музыканты обещали в ближайшем будущем исполнение на заводских гудках новых рапсодий. Педагоги уже видели всех детей резвящимися во «дворце ребенка» (конечно же, во дворце!). Они спорили только о том, как должны выглядеть комнаты для отдыха чересчур впечатлительных к ярким тонам детей. Что касается врачей, то они заботливо отсылали всех киевлян в крымские «дома отдыха». Но разве мыслимо перечислить, хотя бы вкратце, содержание этих пудов бумаги, согревшей на месяц сердца людей, а потом, в тяжелую зиму, на час, их избыбшие тела? Если среди них имелся проект подачи сигналов красному Марсу и смета на всеобщее обязательное обучение пластике, дабы превратить корявую походку граждан в грациозное порхание, предпочтем все же взволнованное молчание невзыскательной насмешке.

Подобно прочим учреждениям, мофективная секция собеса предавалась, конечно, проектам. Несоответствие между ними и действительностью было впрямь поэтическим. Секция обсуждала целесообразность для мофективных детей различных видов театральных зрелищ. Доводы сторонников музыки и мимики,

вырываясь из салона, облетали большой барский сад с жасмином и белой акацией в цвету, граничивший с другим барским садом, где тоже цвели жасмины, и принадлежавшим дому бывшего генерал-губернатора, отведенному теперь под Губчека. Жестокость времени и отнюдь не идиллические нравы бывшего губернаторского дома никак не отражались ни на жасмине обоих садов, ни на нежности секции, ни на голубизне воздуха, хоть и прорезываемого часто страшными в своем лаконизме выстрелами, но все же весеннего и революционного, вдохновившего людей где-то, очевидно, на границе между двумя садами, создать афоризм, долго красовавшийся на киевских стенах: «Будьте беспощадны, чтобы детям улыбнулось золотое солнце коммунизма».

Секция трудилась без устали. А на местах, в исправительных заведениях для малолетних преступников и проституток, именовавшихся по-новому «детскими домами», те же ремни полосовали спины. Что касается рук девочек, то они в своей пятнистости говорили о виртуозности щипков надзирательниц, этих старых дев, вымещавших на преждевременных грешницах одиночество и отверженность. «Центр» (то есть описанная нами секция) возмущался и посылал энергичнейшие инструкции. На местах досадливо читали параграфированные заверения об отсталости и непедagogичности щипков, а прочитав, пускали листки в несоответствующий оборот. На местах ждали хлеба и ситца, ждали напрасно. Ночью девчонки спускались по веревке вниз и бежали к военным с криком: «Дяденьки, мы можем!» «Дяденьки», в благодарность за необходимые, по обстоятельствам военного времени, услуги, награждали этих вундеркиндов щами, колбасой и сифилисом. Мальчишки же утекали предпочтительно к различным «батькам», к Стрюку или Тютюнику. Менее предприимчивые с голодухи обжирались кормовой свеклой и гибли от дизентерии.

Что касается секции, то она разрабатывала проект «опытно-показательной колонии с трудовыми процессами». В выработке проекта принимали участие все спецы. Дебаты шли сутра до ночи и отличались исключительным жаром. Контрастность проектируемого рая с отчетами вернувшихся из ревизионной поездки педагогов усугубляло рвение сотрудников секции. Ошалевшая воспитательница, прибывшая из Новозыбкова или из Ромен чуть ли не пешком с

твердым намерением либо раздобыть ситцу, сахару, керосина, либо, не возвращаясь в темный, голодный, бесштаный дом, умереть на глазах у начальства, прежде всего волей-неволей получала лошадиную дозу проекта. Увы, и сахар и ситец являлись для секции абстракцией. Делегатка сначала грозила и бранилась, но вскоре привыкала к единственности проекта. Неделю спустя она, сама того не сознавая, вступала в какую-нибудь четвертую подкомиссию, обсуждавшую некоторые детали организации этой воистину титанической «опытно-показательной колонии».

(Было ли тогда что-нибудь в России не «опытно-показательным»? Быстро забылось это время, быстро сгорели проекты, и только поныне красующаяся в Москве, на Неглинном проезде, загадочная для детей вывеска «Показательное производство халвы» говорит о былом.)

Фребелички волновались, вводя в программу предполагаемой колонии гимнастику по Далькрозу и многоголосую декламацию. Но что делал Михаил? Как мог он применить к такому достаточно специальному делу свой наивнейший пыл? На этот вопрос трудно ответить. Есть лихорадочная видимость работы, плетение из рогожи расплетаемых потом кулей, которым гуманные британцы исправляют каторжников, есть маршировка, даже бег на месте, утомляющий подвергнутого этому экзерсису не менее, нежели обыкновенный бег. В бывшем салоне, где помещалась секция, от непрерывных заседаний, от цокания «ремингтона», от номеров исходящих, от количества и фасонистости секретарш у провинциала шла кругом голова: казалось, здесь не до него, здесь управляют по меньшей мере государством. Это было иллюзией, но иллюзией, захватывавшей и самих сотрудников, промотавших и голос и голову на сотнях заседаний.

Михаилу казалось, что он работает не покладая рук, и, несмотря на это, мы все же затрудняемся определить характер его работы. Числился он по ведомости «делопроизводителем», но никакого отношения к делопроизводству не имел, так как сразу был привлечен заведующим секцией к обсуждению знаменитого проекта в качестве человека, знающего быт и психологию беспризорных детей. Вначале некоторая робость, усиливаемая сознанием своего невежества, обрекала Михаила на примитивные жесты статиста. Но, чуть освоившись с терминологией, он стал вмешиваться в дебаты. Он

иллюстрировал предложения различными воспоминаниями из собственного детства, производившими на чинных подслеповатых фребеличек совершенно ошеломляющее действие. Он являлся местным Максимом Горьким. К его голосу прислушивались как к «голосу социальных низов». Это был эксперт по части жестоких забав и безысходной сиротливости городского ребенка. Заведующий секцией гордо докладывал самому наркому о наличии пролетарских элементов в комиссии, разумея под ними, конечно же, нашего героя. Рассказ о покушении на телескопа (из стыдливости приписанный Михаилом другому мальчику) имел исключительный успех. Старый психиатр, от восторга в сотый раз роняя пенсне, пришептывал:

- Так вы говорите, он хотел ослепить? Интереснейший казус!

О телескопе должна была появиться статья в проектировавшемся «Вестнике социального воспитания Екатеринославщины». Таким образом, Михаил вновь подвергся испытанию славой, на этот раз замаскированной и потому сугубо опасной. Здесь не было ни шампанского, ни кабацкой дешевки восторгов. Лирически-деловая атмосфера располагала к доверчивости. Придя сюда с простым желанием работать, поборов все тщеславные побуждения, Михаил неожиданно оказался опять на положении героя, и, разумеется, его впечатлительная натура не могла отнестись к этому с должным безразличием. Все время он находился в приподнятом состоянии. Перед каждым заседанием он волновался, подобно молодому актеру перед поднятием занавеса, обдумывая, какой бы дикой и жестокой историей из своих детских лет ошеломить слушателей.

Увы, весь запас воспоминаний однажды оказался окончательно сношенным. Начались повторения со столь мучительными для рассказчика вставками теряющих терпение слушателей: «Да, да, об этом вы уже говорили нам». Михаил попробовал смириться и вновь перейти на первоначальное положение молчаливого ученика, но тогда весь знаменитый проект, еще недавно почитаемый им за прекраснейшее выражение человеческой воли и фантазии, стал казаться ему глупейшей дамской затеей. Быть в стороне он положительно не мог. Оставалось начать выдумывать всякую дичь поособенней и пострашней, выдавая ее за свои подлинные переживания или наблюдения. Михаил предался этому с усердием, ночью изобретая истории и потрясая ими днем наивных фребеличек.

Благодаря своим способностям ему удалось сохранить центральную роль. Однако тщеславие, раздраженное и благодарностями заведующего, и вниманием дам, и предполагаемой статейкой о телескопе, требовало дальнейшего продвижения. Мало-помалу Михаил стал вмешиваться в теоретические споры педагогов, даже психиатров. Ни деликатные намеки председательствующих, ни досадливый шепот экспертов не могли уже его остановить. Он расценивал это как интриги завистников. Сознавая все же свое невежество, он как-то раздобыл учебник психологии для средней школы и попытался одолеть его. Но не те были времена: люди тогда с трудом дочитывали даже две полосы куцых газет. События происходили на улице, прямо под окнами, так что не требовалось и телеграмм. Учебник был отброшен. Выступления же продолжались. Восторг перед разговорчивым «представителем пролетариата» давно сменился общим возмущением. С ним еле здоровались; когда он подсаживался, все замолкали. Тяжесть этого молчания предсказывала близость грозы. Действительно, одно из заседаний, посвященное анализу сравнительного влияния на дефективных детей жиров, белков и углеводов, кончилось необычайно. Когда Михаил, взяв слово, авторитетно заявил, что полезнее всего белки, председатель прервал его и закрыл заседание, ввиду «невозможности при создавшемся положении продолжать спокойное обсуждение вопроса».

Михаил был взбешен. Он вновь пережил далекий час, когда Минна Карловна плюнула на душу Мишки. Его, обычно бледное до фисташковых тонов, лицо сделалось густо-красным. Кровь не отступала от головы, заменяя стройное чередование мыслей гулом, прыжками ассоциаций, приступом звериной злобы. Как он ненавидел этих шамкающих экспертов и приличных дам, которые, сами не сумев родить хотя бы одного ребенка и зазубрив сотню иностранных словечек, считают себя компетентными судить о всех детях мира! Михаил был Мишкой, он-то доподлинно знает, что такое детство на Еврейском базаре, он более вправе заседать здесь, чем все прославленные спецы. Если ему не дают говорить, если его оскорбляют, то это только потому, что революция в рассеянности победы проглядывает своих врагов. Разве ему не говорили, что он «представитель пролетариата»? И что же - десяток буржуев, запрятавшихся в секцию от трудовых повинностей, теперь изгоняет

его. Стерпеть это невозможно. Нужно кричать караул, нужно разогнать псевдоученых обманщиков, восстановить авторитет Михаила. Все слышанное им прежде от делегатов с мест теперь вставало в памяти, помогало подвести итоги, требовало возмездия. «Там ребята свеклу жрут, а эти о музыке разговаривают...» Нет, медлить нельзя!

Михаил еще стоял, а руки его уже тронулись с места, указуя направление. Он еле помнил себя. Он не разбирался ни в разумности своих поступков, ни в нумерации домов. Но два слога, страшные и патетичные для любого гражданина, пережившего годы революции, два слога, предшествовавшие «маме», ибо ими пугали в колыбели, как некогда «букой», и сопровождавшие несчастливца даже после смерти, вплоть до выгребных ям, два простейших слога, которых запомнить не дано никому, оказались в сознании Михаила среди всей бесформенности, всей немоты его бешенства. Акация одного сада белыми пахучими кистями свешивалась в другой. Дежурному, выдававшему пропуска, Михаил, путая все вместе - и свеклу на местах, и брюшко психиатра, и свое пролетарское происхождение, тщился изложить преступные замыслы соседнего особняка. Звучало это неубедительно, и дежурный, лениво позевывая, никак не хотел пропустить Михаила наверх. Фребеличкам повезло: этот дежурный, несмотря на молодость, обладал известной долей скептицизма. Он знал, что в легендарную Чека порой заявляются расхрабренные от злобы обыватели (до революции прибегавшие к Господу Богу и к серной кислоте), чтобы покарать наставившую рога супругу или же утвердить первенство одного художественного таланта над другим. Дежурный чекист признавал реальность деникинцев и петлюровцев, эсеров и спекулянтов. Что касается педагогических разномыслии, то, находившиеся вне его профессионального применения, они казались ему литературой. Любительское кляузничество ему претило. Словом, это был весьма положительный и трезвый чекист, безо всякой достоевщины, из тех, что не раз воспевались нашими комсомольскими авторами. Он предложил защитнику детей обратиться с соответствующим докладом непосредственно к Наркомсобесу.

Однако Михаил в беспамятстве продолжал негодовать. Он дошел до предположений, что чекист сам снюхался с саботажниками, после чего и был деловито вышвырнут на улицу.

Нужны были часы, часы сумасшедшей беготни по городу, лишенной всякой цели, нужен был поднявшийся к вечеру холодный ветер, стягивавший кожу и умерявший разгоряченность чувств, нужна была темная ночь, неизменно оголяющая и мир и человеческую совесть, чтобы Михаил опомнился. Но какой же большой и неприветной была эта ночь, с темнотой, с выстрелами и с оханьем нудного «яблочка», распеваемого призывниками, со всем осознанием своей мелкости и дрянности! Беспризорное детство не было одними рассказами на заседаниях секции, оно еще длилось. Ребячество и подлость сожительствовавали в этом неумном сердце. Только что желавший гибели своих воображаемых врагов, показавшийся дежурному в Губчека не суровым спецом террора, а дилетантом анонимных ночных жестокостей, словом, мелкий, к тому же неудачливый злодей, как он был все же трогателен в своей непритыканности, в раскаянии, в теплоте паршивейших слез, которыми тщетно пытался умиловить неприязненную ночь!

Короткий срок отделял эту ночь от ночи в бывших номерах «Скутари»: три месяца, девяносто дней. Подчеркивая всю короткость этого срока, мы хотим лишь напомнить и критикам, готовым встретить с недоверием нашу подлинную историю, и судьям, которым дано судить не книги, а людей, в какой тесной близости живут подвиги, прославляемые поэтами различных эпох, награждаемые всеми орденами, и пакость человеческой тли.

Шлем и партбилет. Стоимость улыбки

Разгримированный снова, осознав до конца комедийность трех пустых месяцев, Михаил принялся за тщетные поиски места, где бы он мог честно работать. Такого места не было, вернее, Михаил не обладал никакими знаниями, никакими выраженными пристрастиями, никаким опытом, ничем, что помогло бы предпочесть одно учреждение другому. Он еще долго носил бы по крутым, утомительным улицам Киева свою растерянность и тоску, если бы за его устройство не взялась судьба. Расклеенные по городу плакаты о мобилизации в четверть часа устранили необходимость чересчур трудного выбора. Профессия создавалась условиями, поколение Михаила должно было учиться воевать. Оно училось и научилось, научилось настолько, что для него день демобилизации явился столь же трагическим в своей неопределенности, как для бородатых запасных июльские дни четырнадцатого года.

Михаил наконец-то нашел свое место, кочующее, с чередованием побед и поражений, со всеми возможностями преданности, героизма и беззастенчивой жестокости, место по себе. Гражданская война стала его университетом, армия - семьей. Как нельзя быстро он привык к новой роли. Фронт, казавшийся ему прежде чем-то нудным и неподвижным, вроде ревматизма, гнущего ноги, тупой отсидкой в мокрых окопах, был живым, летучим, чудовищным и привлекательным, как бред тифозного, наконец-то вырвавшегося из лазарета. Впервые его авантюризм расценивался не как преступление, не как мальчишество, но как полезное свойство, вроде крепких рук или хорошего зрения.

Вскоре после мобилизации Михаил стал членом РКП. Это совершилось легко и просто, причем место прежних колебаний и раздора заняла естественная последовательность движений. Россия, Красная Армия и РКП в сознании Михаила, теперь совсем не склонного философствовать, увязывались в одно. Положение и упрощало и укрепляло его. Михаил воевал, и поэтому он мог не думать, - наш герой высоко ценил эту своеобразную привилегию. Он наслаждался своей внутренней ответственностью.

После первых же стычек с бандами возле Межигорья он почувствовал себя обновленным, как больной, проделавший курс кумысного лечения. Он нашел себя. В этом, как и во многом ином, он остался верен своему времени. Можем ли мы представить себе героя наших дней хоть год не носившим на голове высокого шлема с горделивой звездой, а в боковом кармане - магического кусочка картона, именуемого партбилетом?

Войдя в партию после двух лет притяжений и отталкиваний, со стажем достаточно противоречивым, в котором при каждой очередной чистке приходилось номерами «Скутари» выкупать левоэсеровский клуб, Михаил принес с собой сохранный от Октября энтузиазм и честность бродяги, польщенного оказанным ему доверием. В этот период своей жизни, после политического донжуанства, он предавался дозволенной чистоте семейного счастья, то есть естественному участию в государственной, монопольной и все же революционной, то есть живой, партии. Теоретическими или практическими вопросами он интересовался в меру, не более чем того требовали курсы политграмоты, но партию любил цепкой любовью моряка, гордого своим судном. Это чувство должны понять те, кто только недоуменно разводит руками перед исключительной дисциплиной и героической преданностью, неизменно выручавшими компартию в часы наибольших опасностей. Нет, не страх, не механическая муштра, но огромная органичная привязанность вела десятки тысяч ее членов на бесчисленные фронты, на субботники, где люди руками проталкивали груженные вагоны или, очищая город, охотились за тифозными вшами, на все виды жестокой и неприряженной работы, на ордера оперативных отделов Чека, на горе, на расстрелы, решительно на все.

Любовь Михаила к партии менее всего напоминала приверженность к идее, фанатизм сектанта, восторг мыслителя перед реальным воплощением своих теорий. Это была любовь не вождя, не вдохновителя, но обыкновенного рядового члена. Всего вернее будет сравнить ее с патриотизмом молодого и впервые берущегося за государственное строительство народа. Эта любовь питалась боевым юношеским задором и первым осознанием своей силы. Маршируя рядом с другими, Михаил хмелел от резонанса шагов, от одинакового наклона остроконечных шлемов, множа все это на грандиозность

зеленого пятна географической карты, не перестающую волновать любого русского человека. Здесь был пафос множества. Поэтому другие партии он отвергал не за ошибочность идей, не за разность устремлений, но исключительно за их немощность. Критика меньшевиков ему была прежде всего смешна, как была бы смешна французскому шовинисту мобилизация Монако или Андорры. Не знавший большевистского подполья женевских или парижских времен, Каружа и Монружа, воли к победе крохотных кружков, он, сам того не понимая, ставил знак равенства между правотой и силой. Если такая арифметика и не отличалась углубленностью, в этом не было его, Михаила, вины: он рос в те годы, когда все человечество, исчерпав словесные запасы, от Евангелия до революционных энциклопедистов, перешло к артиллерийской аргументации.

Итак, Михаил был счастлив в своей новой роли, счастлив, несмотря на общую встревоженность, на сказывавшийся тогда ущерб делу, которому он посвятил себя. Его части приходилось, что ни день, выступать против различных банд, все ближе и ближе подходивших к Киеву. Две наиболее многочисленные из этих банд, имевшие даже некоторую видимость политической идеологии (скорей всего для облегчения работы иностранных корреспондентов), так называемые «деникинцы» и «петлюровцы», подходя с запада и с востока, клещами сжимали и без того расплющенный грозвым двухлетьем город. Хотя газеты писали, как пишут при подобных обстоятельствах все газеты мира, о мелких военных успехах и о революционном брожении в Скандинавии, кроме газет имелись нервозность членов коллегии, словоохотливость красноармейцев, грохот грузовиков, мчавшихся к вокзалу, и грохот поездов, мчавшихся на север, - словом, десятки примет, по которым обыватель определяет политическую ситуацию, как по форме облаков или по полету птиц предугадывает он погоду. Достаточно было взглянуть на два знакомых нам особняка, окруженных садами с уже отцветшей акацией, чтобы догадаться о сути происходящего. Один из них был теперь тих и пуст, напоминая дачу после окончания каникул. Отсутствие фребеличекс их майским прекраснодушием могло быть легко приравнено к осеннему отлету птиц. Зато в другом доме шла напоследок горячая работа. Одышка непрерывно подъезжавших к воротам автомобилей и ночные выстрелы являлись конкретным выражением того, что, перенесенное

на язык газет, именуется «хлопанием дверью» и что, вопреки лицемерным заверениям наших кобленцких моралистов, присуще всем партиям и всем классам, терпящим в жестокой борьбе неудачу.

Так подоспел день эвакуации, душноватый летний денек. Красные отходили на север, к Чернигову. По Крещатику шли один за другим полки, молча, хмуро, со сдержанностью игрока, решившего отыграться и пасующего в ожидании хорошей карты. Это был седьмой или восьмой переворот, и прошедший горькую учебу, драный город сохранял видимость будничного спокойствия. Впрочем, те, кому нужно было радоваться, разумеется, радовались. Еще Крещатик полнился топотом красных, а в укромности завешенных гардинами квартир уже выволакивались на свет божий хранимые пуще души офицерские погоны, послужные списки, различные займы, акции, купчие, закладные, иконы (уступившие было место всезащитительным ликам Карла Либкнехта или Розы Люксембург) и попросту бриллианты, долженствующие определять социальную значимость некоей мадам Горченко. Что касается окраин, то они умели разделять сдержанность отступающих. Окраины верили в обратное возвращение красных как в обязательное климатическое явление. Угрюмость этих молчаливых и все же мучительных проводов, лишенных речей или знамен, несколько смягчалась той теплотой, которая, выражаясь в малозначащих словечках участия, в подносимых «землячку» ковше воды или пироге, все же выходит из подвалов сердец, становясь атмосферой и придавая даже тишине форму самого красноречивого сочувствия. Все это было в порядке вещей, то есть уже стоял о в программах шести или семи переворотов: и радостная суетливость одних, и ощеренное молчание других, при замечательном безразличии классического обывателя, озабоченного покупкой хлеба про запас (мало ли что будет впереди?) и твердо помнящего, что как ликование, так и возмущение - вещи для него недоступные, за которые приходится порой расплачиваться жизнью.

Среди красноармейцев, проходивших молча по Крещатику, находился и Михаил. Общая угрюмость сказывалась уже в походке. Он ступнями въедался в летний размягченный асфальт, как будто пытаясь оставить на нем отпечаток своего присутствия. Еще не приученный к переменчивости военных успехов, он воспринимал это отступление с наибольшей горестью. Ему казалось: командуй он

Красной Армией, Киев не был бы сдан. Как можно подарить врагу город, хороший большой город, с не разрушенными еще домами, со всем его живым и мертвым инвентарем? Стратегия ничего не говорила Михаилу. Зато азарт был его родной стихией. Он подчинялся потому, что ничего другого ему не оставалось. Судьба Киева и судьба Михаила - все это находилось теперь не вето власти, за него решали другие. Но горечь от этого не уменьшалась. Лишенная действенного исхода, она заражала весь организм. Глаза, изменяя привычной пастелевой печальности, вызывающе посвечивали. Хлеб был не съеден. Что касается слов, то даже, когда его товарищ, некто Башилин, шедший с ним рядом, в упор спрашивал у Михаила что-нибудь, слов все же не оказывалось. Молчаливость других, сгущаясь в Михаиле, доходила уже до патологической немоты.

Он шел опустив голову вниз, глядя, таким образом, исключительно на свои ноги. Возле здания Совета пришлось задержаться. Обозные телеги, спускавшиеся из Старого города, забили площадь. Стоять было особенно невыносимо. Михаил поднял голову, оглядел улицы, памятник всеобучу из гипса, казавшийся особенно хрупким, как будто бы ощущавшим, что доживает он свои последние часы (на следующее утро белые действительно разбили его), торговок с пирогами и с фруктами, прохожих, дома. Будничность окружения еще более растревляла его. Люди шли навстречу, по делу, за припасами, домой, как будто ничего не приключилось. Фрукты торговли нагло хотели пережить историчность короткого дня. В фасадах домов, как и в сухости лиц, он читал нежелание разделить с ним горестность минуты. Вдруг он заметил улыбку, именно улыбку, а не улыбающегося человека, так как черты лица не дошли до него. Улыбка, однако, была настолько выразительной, что одна заменяла и паспорт ее предъявителя, и справку о политических убеждениях, - преждевременная улыбка, приготовленная на завтрашнее утро, когда должна была, вместе с астрами сангвинических дам, полететь под копыта осетинских лошадок, нетерпеливая улыбка, вылетевшая из кокона этак за сутки до положенного срока. Ненависть Михаила только и жаждала конкретизации. Как мог он ненавидеть невидимых офицеров или тем паче «империалистов Антанты»? Теперь была найдена точка прицела. В одурманенной голове улыбке уже ничего не

стоило разрастись до титанических размеров, стать не только натянутым символом, но и живой душой всех неудач революции.

- Куда ты? - спросил Башилин.

Но Михаил не мог ему ничего ответить. Повинуясь своим рвущимся к делу рукам, он побежал за угол. Ему пришлось подняться на третий этаж. Ничего не соображая, сбивая с ног людей, Михаил всецело отдался своей ненависти. Она нашла и подъезд, и квартиру с балконом. Руки Михаила, эти тонкие, почти женские руки, наконец-то могли расквитаться за улыбку. Дело прошло молча, без крика, без метаний или погони, короткое мелкое дело. Мягкощекий человек, один из тех, что толкались возле кондитерской Семадени, неся в жилетке живот и «интересуясь с фунтами», лежал теперь на коврике передней. Удар прикладом стер наглую улыбку. Лицо убитого, утратив теперь и эту продиктованную политическими соображениями улыбку, и профессиональную настороженность, голое лицо сохранило лишь обиду, ребяческую трогательную обиду человека, которому не хотелось, как и всем людям, отдавать пусть плохонькую, обывательскую, не отмеченную ни высокой идеей, ни подлинными страстями, но все же теплую, надышанную, уютную, бесконечно дорогую жизнь.

Сбежав вниз, Михаил почувствовал такое облегчение, как будто происшедшее только что на третьем этаже меняло весь характер эвакуации. Его шаги приобрели даже известную бодрость. О сожалении не могло быть речи. Беззаконность? Но какие же существуют судьи в арьергарде отстреливающейся армии, кроме винтовок и истории? Жестокость? Да, конечно. Однако жестокой была и улыбка, жестоким был этот темный уход, перед всполохнутыми радостью балконами спекулянтского Крещатика, Жестокой была вся жизнь.

На углу Михаил остановился купить у бабы сливы - он выздоравливал, он вдруг почувствовал, что со вчерашнего вечера ничего не брал в рот. Торговка, спешно прикрывая своим задом сливы, завизжала, как будто Михаил хотел убить ее. (Впрочем, тот, наверху, молчал, - очевидно, так визжат люди, цепляясь не за жизнь, а за содержимое кошелька.)

- Не дам! На что мне пятаковки твои!

Будь это пять минут назад, баба недешево заплатила бы за свою скаредность, но теперь Михаил, просветленный законченной операцией, только добродушно усмехнулся:

- Да не визжи ты. Я тебе керенку дам.

- Ты где был? - спросил Михаила Башилин, когда наш герой, догнав свою часть, как будто ничего не произошло, зашагал дальше.

- Я? Покупал сливы.

Эпизоды гражданской войны

Где несутся, без интервалов, сменяющие друг друга кинофразы, не зная ни придаточных предложений, ни пауз, лаконичные картины преступления, погони, смерти, там нет места психологическому анализу. Углубление чувств, конечно же, роскошь, и не всегда человек может ее себе позволить. А приписывать Михаилу, гонящему белых или махновцев, как гонял Мишка аллегорических собак Еврейского базара, умильные состояния толстовских героев или хотя бы перманентное сознание мировой значимости борьбы за коммунизм мы не станем. Мы находим нашего героя достаточно живописным и без этого, с его загрубевшей, как кожа на ветру, душой, с поредением и слов и чувств, обременительных в походной жизни.

Не протоколируя по порядку событий тех месяцев, мы, вместо исторического перечисления боев и разведок, ограничимся лишь свидетельством, что орден Красного Знамени, столь удививший три года спустя некоторых москвичей, был Михаилом честно заработан. Рассказами о храбрости в обстановке военного времени трудно теперь кого-либо удивить. Долгие годы были нечем иным, как школой смелости, и, находясь безразлично где - в вагоне трамвая, на Сухаревке или же на театральной премьере, - можно быть уверенным, что окружающие люди по меньшей мере раза три обретались на знаменитом и, очевидно, магическом в своей непереходимости «волоске» от смерти, умеют распознавать голоса всех дюймовок мира, сидели в Чека или в контрразведке, катались на буферах и на крышах, - словом, что место им не на базаре, не на галерке, а на страницах авантюрного романа. Кажется, что описанием рыбной ловли или токания глухарей, этими классическими длиннотами наших предшественников легче теперь и озадачить и увлечь читателя, нежели самыми легендарными похождениями из недавнего времени гражданской войны.

Но не одну храбрость воспитало это время: оно явилось школой, где без помощи фребеличек человеческая личность буйно и достаточно неожиданно разрослась. Бои за Донбасс, захват Северного Кавказа, наконец, взятие Перекопа - все это было не только

торжеством коллектива, но и ростом, упорством, силой скромнейших дотоле человеческих дробей. Армия побеждала без Наполеона, ибо «наполеонствование» являлось достоянием каждого, в плоть до плюгавого фельдшера из Кимр, гордого и своим новым наименованием «помлека», и своей классовой сознательностью, и своим правом на победу.

Таким образом, рядом с историей армий, бригад и полков существуют бесчисленные истории рядовых участников войны, причем жирные даты последних редко совпадают с датами общих побед или поражений. Возвращаясь к Михаилу, мы должны вкратце остановиться на некоторых, для него одного существенных, днях.

Первым из памятных ему был сырой и ветреный день, созданный для насморка или для флюса, когда Михаил очутился вновь в своем родном городе при довольно тяжелых обстоятельствах. Бои с белыми шли на улицах. Крещатик был линией фронта, помногу раз переходя из рук в руки. Казалось очевидным, что красным не удержаться. От сознания этого сочувственность своих осторожно пряталась, зато все враждебное нагло лезло в глаза. Конечно, здесь играла большую роль интуиция, нежели точные данные. Однако и Михаил, и его товарищи были убеждены не только в подлом шушуканий за иными щитами подъездов, не только в предательских выстрелах из умело камуфлированных окон, но даже в неприязненности воздуха. Все это усиливало озлобленность усталых, назябшихся, голодных людей, которые без надежды на успех защищали несколько домишек или пустую площадь. В таком состоянии находился и Михаил, обводя глазами Житомирскую улицу, дома с дощечками зубных врачей и дамских мод, дома-тихони, откуда только что выскочила пуля, случайно вместо головы Михаила раздробившая фонарное стекло. Винтовка была наготове, выстрел, все равно по кому, просился на волю, когда рядом раздался детский голосок:

- Пожалуйста, не стреляйте пять минут, пока я не дойду до угла!

Это было сказано деловито, скорее повелительно, нежели жалостливо. Озадаченный Михаил опустил винтовку. Он потребовал подробностей, он даже пригрозил девочке, которой было на вид лет семь-восемь. Он узнал, что Таня (ибо его собеседница, привыкшая к тому, что взрослые, не зная, о чем говорить с детьми, обязательно спрашивают «как тебя зовут?», прежде всего отрекомендовалась)

застряла у тети Вари, что в это время пришли большевики, что эти большевики - «жиды» и «разбойники», что ей нужно пройти домой к мамочке, что ее не пускали и она выбежала тайком, что мамочка живет на углу Владимирской, наконец, что если он будет ее еще о чем-нибудь спрашивать, то она начнет плакать. Узнав все это, озлобленный Михаил, понимавший, что пуля, случайно его миновавшая, могла вылететь из квартиры «дорогой тети Вари» или не менее «дорогой мамочки», где большевиков зовут разбойниками, но, не видя в эту минуту ничего на свете, кроме приветливой голубизны вверенных ему глаз, нежно взял руку девочки в свою. Если какой-нибудь храбрый наблюдатель стоял в это время у одного из окон, выходящих на Житомирскую улицу, он должен был немало изумиться: ведь рыжий красноармеец в роли заботливой нянюшки, да еще под обстрелом, встречается не каждый день. Михаил честно выполнял своеобразное поручение, возложенное на него если и не командармом, то все же кем-то достаточно для этого ответственным. Он решил, что всего вернее будет сдать девочку непосредственно в руки матери. Он постучался. Увидев свою дочку в сопровождении красноармейца, заплаканная женщина сразу догадалась, что этот человек спас ее ребенка. Захлебываясь слезами, она без конца повторяла несложные благодарствия. Михаил испытывал мучительный стыд. Ему казалось, что эта женщина, считающая большевиков разбойниками, должна в душе над ним смеяться. Он чувствовал нелепость сцены. Вместе с тем он не мог придумать ничего, что бы вернуло его поступку недавнюю естественность и простоту. Он не отвечал на просьбы женщины зайти отдохнуть. Он и не уходил. Пытка усиливалась. Наконец он попятился к двери. Женщина, видя, что спаситель уходит, не зная, как выразить всю свою признательность, схватила его за руку. Это было красноречивей слов. Но, окончательно затравленный стыдом, Михаил вырвал руку и, неожиданно даже для себя, ударил большие настенные часы. Стекло, взвизгнув, изрезало его пальцы. Скверно выругавшись, он выбежал на лестницу. Испуганный крик, донесшийся сверху, окончательно успокоил его. Пусть думают, что он разбойник, что он зашел побуйнить, пусть думают все, что им угодно, лишь бы не стоять глупым добряком с винтовкой перед умиленной буржуйкой!

Этот противный день оказался весьма важным для Михаила: герой наш узнал, как трудно, как мучительно дается человеку доброта. Выучка сказывалась потом. Всякий раз, будь то нелепейшее спасение какой-нибудь ошалевшей бабки или самоотверженная экспедиция за раненым товарищем - словом, все то, что выпадает на долю даже самых черствых людей, - Михаил неизменно уничтожал всякие приметы мягкосердечия, стараясь казаться иглистым, как еж, насвистывать, поплевывать и быстро убирать в сторону свои предательски ласковые глаза.

Вторым эпизодом был тоскливый и бессюжетный вечер в деревушке, недалеко от Изюма. Михаил сидел у огня. В котелок, за неимением чая, кинули сушеные яблоки. Дождь беседовал со стеклами о невыносимой сиротливости русских просторов. Докучная это была беседа. Рядом с Михаилом два бойца, лениво истреблявшей, фантазировали:

- А если она комиссарская будет?

- Чего?..

- Комиссарская если?..

- Что у нее, ворота другие? Я хоть и царицу пушу в ход. В бане я как-то был, в Воронеже, так мне один городской прямо сказал: у тебя, братец, целое состояние пропадает...

Михаил слушал их слова, слушал кропотливое резюме дождя, шум котелка, хруст вшей. Перед ним был черный ход мировой истории. Он тщетно пытался думать о другом: об Артеме, о революции, о жизни. Было ясно, что он сгниет, стухнет в один из таких вечеров от осколка снаряда или, еще проще, от крохотной вши. Тогда-то и родилось решение: бежать. Дверь из избы вела не к описанной дождем земле, но дальше: к морю, к городам, к границам, к завлекательной кинематографической жизни. Михаил встал, вышел. Он прошел с версту под дождем, вытянув вперед руки, как лунатик. Вдруг он вскрикнул: гвоздь вцепился в его ступню. Только тогда он заметил, что вышел разутый. И первой мыслью было - бежать босиком глупо, нужно вернуться за сапогами. Когда он, промокший, вернулся, огня уже не было, спорщики спали, наполняя избу храпом, чмоканьем, теплом, тяжелым духом хлева. Подумав, что ему нужно сейчас сесть, кряхтя натягивать сапоги, Михаил визгливо зевнул.

Колебание длилось недолго. Усталость пригнула голову к полу и в одно мгновение связала руки.

Два месяца спустя, за удачную разведку возле Никитовки, Михаил был награжден орденом. Самолюбивейший герой, однако, нашел в себе достаточно мудрости, чтобы, узнав об этой награде, прежде всего вспомнить промокшую, пахнущую собачиной рубаху и вязкую глину под Изюмом. Он знал, что от дезертирства отделили его не идеалы, а всего-навсего сапоги, и в душе он даже не стыдился этого.

Третий день - день энтузиазма. Ничего нет удивительного в том, что Михаил был приподнят Октябрем: в те дни даже львы на воротах дворянских особняков готовы были, изменив и классу и материалу, сорвавшись с места, ринуться в горящие джунгли. Но как, не зная всех возможностей нашего героя, понять, что он, на четвертый год революции, в буднее зимнее утро изголодавшегося Ростова, когда примерзшие мысли никак не могли подняться выше двадцатиградусного прозябанья, выше таранки или валенок, вдруг сошел с ума? О какой-либо общей взволнованности не могло быть и речи. Даже в героическом Темернике фантазия ограничивалась вагонами, груженными пшеницей, сгущенным молоком и кондитерскими изделиями, движение которых пока что выражалось лишь в трагическом сердцебиении измученных сотрудников губпродкома. Михаил шел по апатичной улице, лишенной магазинов, не знавшей даже, зачем ей существовать, так как школ или просветительных клубов на ней еще не было, а демонстрации происходили редко, не чаще раза в месяц, шел не менее апатичный, нежели она, с мороженой, с вяленой мечтой о десятке бывших «асмоловских» папирос. Он машинально остановился возле огромной витрины, когда-то обольщавшей ростовцев наивными мордами осетров или девическими тонами окороков, а теперь отведенной под различные плакаты, уговаривавшие редчайших прохожих давать хлеб городу, защищать революцию, баней победить вшей и показать Вильсону, что такое пролеткультура. Под плакатами были фотографии: «Бронепоезд имени Калинина», «Дети - цветы жизни» и другие. Вдруг Михаил на одной из фотографий увидел себя. Это не было галлюцинацией. В группе, среди красноармейцев, значилось и его лицо. Подпись «Занятия политграмотой» напомнила Михаилу

приезд какого-то иностранного коммуниста (кажется, ирландца), который, что ни шаг, звонко щелкал затвором под басистое приговаривание переводчика: «Товарищи, не двигайтесь, плядите натурально». Вспомнив заграничное пальто коммуниста, свидетельствовавшее о всей его нездешности, Михаил взволновался. Он был видоизменен фотографией. Здесь-то и начиналось сумасшествие. Разве мало он снимался прежде? Дело не в восторге дикаря перед своим изображением, нет, на пустой слеповатой улице он как-то сразу почувствовал себя залитым тысячесильным светом мировой рампы. Несколько аршин, отделяющих сцену от зрителей, отделяли Михаила от любого ростовского обывателя, занятого таранью, но эти аршины намного превосходили все мыслимые дистанции Присутствие, хоть и незримое, заграничного пальто с «латкой» являлось раздвижением события до действительно мирового. Как пописывали тогда провинциальные газеты «Красная заря Бобровской коммуны» или «Трудовой пахарь Башкирии», все шло в «планетарном масштабе», и если попытка Михаила дезертировать казалась ему жалким эпизодом, то теперь, возвращенный к свежести Октября, он и впрямь чувствовал, что он, Михаил Лыков, решает - быть человечеству или не быть. От сознания этого, принимая во внимание экспансивность героя, было уж недалеко до нелепого возгласа, все там же, у витрины с плакатами, без свидетелей, если не считать за таковых нарисованных капиталистов и живых галок, да патетического крика «даешь!». Это знаменитое словечко, из похабного прыгнувшее в героические, рожденное разбушевавшейся молодостью людей и чувственным лаконизмом революции, не сопровождалось никаким дополнением. Михаил требовал не Крыма, не Европы, но решительно всего. Он был без ума. Он знал, что это «все» должно емуваться. И как бы ни показалась такая минута чрезмерного накала смешной, для него она была великой.

Мы подходим к четвертому эпизоду, достаточно позорному. Взятый сам по себе, он один дал бы право презирать нашего героя, ибо как же совместить только что описанную нами глубину дыхания человека, взлетевшего на высоты истории, с подлежащей ведению нарсуда мелкой кражей серебряного молочника?

Михаил, в сопровождении товарища, зашел обыскать квартиру, оставленную удравшим с белыми владельцем (дело было в Бахмуте).

Они искали оружия и, ничего не обнаружив, собрались было уходить, когда товарищ робко потрогал лежавшую на столе ложку, что свидетельствовало о переживаемой им драме. Потрогав, подумав, он засунул ее в карман. Хоть ложка была и серебряной, это все же не походило на кражу: у человека не было ложки. Притом война несколько отличается от мира, так что драму следует приписать чрезмерной щепетильности красноармейца, виноватого всего-навсего в скромнейшем желании есть суп ложкой. Другое дело Михаил: он спрятал в свой мешок вещь, ему вовсе не нужную, первое, что подвернулось под руку, проверив притом, есть ли на ней проба, - словом, Михаил украл молочник, и причину этого поступка никто, в том числе он сам, не мог бы толком объяснить, тем паче что в доме имелись более ценные вещи. Уйдя, он тотчас забыл о своем странном поступке и только на следующий день, обнаружив в мешке молочник, стал додумываться: зачем он, собственно говоря, унес его? Тогда ему вспомнились смутные мечтания, предшествовавшие обыску, о грузинском коньяке, которым бойко торговали в городе. Очевидно, руки оказались достаточно находчивыми и, увидев молочник, сами приступили к осуществлению. Дойдя до этого, Михаил почувствовал стыд. Может быть, если бы в мешке оказались бриллианты, он нашел бы смягчающие обстоятельства, но молочник вызывал прежде всего брезгливость. Он с удовольствием вернулся бы назад, чтобы поставить глупую вещицу на место, но это было невозможным. Оставалось раскаяние.

Вечером Михаил, впрочем, обрел достаточную жизнерадостность, чтобы отправиться, все с тем же товарищем, на любовную разведку. Без особого труда и не прибегая к дискредитирующей помощи колбасы или монпансье, исключительно благодаря своей молодцеватости, они нашли двух «съедобных» девочек. Остановка была за помещением, так как подруги жили в одной, к тому же крохотной, комнатке. Пришлось установить две смены. Ждать Михаил не мог и прошел первым. Это диктовалось не эгоизмом, но предусмотрительностью: он знал свой темперамент.

Он был достаточно груб и циничен в своих ласках, если можно назвать «ласками» страсть, не процензурированную никакими человеческими чувствами. Он всегда считал, что дарит женщине нечто очень важное, снисходительно унижая себя до нее. Женское

тело вызывало в нем неразрывно с желанием отвращение, а страсть обладать переходила в страсть уничтожить. Его объятия напоминали вражеское нашествие. На этот раз, однако, молоденькой женщине, советской барышне, товарищу Наде, спавшей с кем придется, ибо это ей казалось догматом современности, а в душе конспиративно хранившей мечту не только о муже, но даже о муже бесполом, производящем детей исключительно семейным уютом и поцелуями в лоб, - вот этой, на словах бесстыдной, девочке удалось чем-то тронуть Михаила, может быть, своей физической незаинтересованностью. Уходя, он не без ласковости сказал ей:

- А зовут меня Михаил, Мишка.

Это было лишено практической цели. Он знал, что завтра покинет Бахмути и никогда больше девицы не увидит. Это было всей мыслимой для него нежностью, для него, не знавшего ни трогательности простого бескорыстного поцелуя, ни многообразия слов, на которые способны даже самые неизобретательные влюбленные. Прощание происходило на лестнице, где покорно поджидала очереди вторая парочка. Тогда-то Михаил и вспомнил о своей не по весу обременительной поклаже. Украденная вещь была, без долгих размышлений, вручена партнерше товарища. Переведя в голове молочник на фунты масла или сахара, товарищ Надя, тощая, изголодавшаяся, жившая губной помадой и пшеном, робко спросила:

- Почему не мне? Ведь ты же не с ней?..

Негодование Михаила тщетно искало выразительных форм. Мысль о возможности награды в виде мерзкого молочника той, которую он только что наградил всем своим неистовством, наконец, более того, своей неуклюжей лаской, была на редкость оскорбительной. Ответил он кратко:

- Ты свое получила.

Но, оставшись один, он долго не мог успокоиться. Все происшествие, вместо обычной после таких развлечений приятной усталости, оставило в нем боль и ярость. Он жалел об одном: почему он ей сказал, что его зовут Мишкой? Лучше бы ударить ее с тоски, больно ударить по щеке!..

Вскоре после этого неприятного инцидента, но отнюдь не в связи с ним, Михаилу пришлось на некоторое время выбыть из игры.

Большой харьковский вокзал был круто нафарширован теплой вонючей мешаниной. Ехавшие с севера отличались портативностью. Слово «мешочник», применяемое к ним, являлось лишь предсказательным. Они кидались на пироги с морковью. Выделяемая в избытке слюна просачивалась изо рта наружу. Те же, что ехали на север, обнимались с мешками. Наевшись до отвала, с непривычки они отрывали и клевали носом. Опасаясь за свое достоинство, они со сна вскакивали, пререзая бормотание вокзала острыми воплями людей, которых режут. Страшный призрак «заградиловки», обретавшейся, по словам одних, где-то не доезжая Курска, по заверениям других - возле самой Москвы, в Серпухове, может быть, вездесущий, витал над вокзалом, залезал за пазухи, вытаскивал из-под голов мешки и усиливал горячность ожидания. Среди мешочников были и красноармейцы, вышедшие из лазарета или туда направляемые, усталые, неподвижные, похожие на тяжелые, подкинутые кем-то мешки. Все эти люди, ожидая задохнувшихся среди снежных полей поездов, редких поездов, спешащих смешной жалостливой спешкой паралитика, как-то жили, но о жизни их трудно что-либо сказать, как о жизни в ямах, заменяющих китайцам тюрьмы, или о жизни в лепрозориях. Эта жизнь, то есть промышленное кипение, бередение расчесанных до крови боков, кашель, харканье, храп были механическими сокращениями огромной косной материи. Поэтому человеческая масса только слегка раздалась, лишенная признаков изумления, когда какой-то красноармеец, подражая большой рыбине, поплыл по полу, отталкивая руками головы и мешки.

Это был Михаил. Предчувствие, как-то охватившее его, оказалось верным. Едва чувствительный укус, один из многих, стал катастрофой. Уже сутра предметы, утратив свои обычные пропорции и положение, стали требовать внимания, от мешков, раздувавшихся в горы, до вагонов, несчастных искалеченных вагонов, похожих на кляч и сдаваемых живодеру.

Сыпняк был одной из общих повинностей революционных лет, и говорить о его симптомах - это все равно что говорить о том, как идет дождь или как делают обыск: кто же этого не знает?

Из затворов хитровок были посланы, на зависть всем генштабам мира, необычайные, белесые, крохотные, мириадные армии, быстро сделавшие горе самой что ни на есть повседневностью и доставившие

столько работы трудолюбивым статистикам. Но как бы ни была тривиальна эта болезнь, она допускает, подобно шахматной игре, тысячи вариантов. Здесь были и чудища, просившиеся в паноптикумы, чувствовавшие, что у них две головы или множество ног, были и буйные, требовавшие смирительной рубахи, были кротчайшие фантасты, при прикосновении шприца ощущавшие себя черемухой, посещаемой пчелами, здесь было, наконец, патетическое завершение легенды о Вечном жиде, в виде бритых, полуголых безумцев, вырывавшихся из лазаретов, проявлявших нечеловеческую выносливость, бежавших до последней минуты с единственной целью: умереть на ходу.

Так было и с Михаилом. Когда сильный жар наполнил его зрачки огненной фейерверочной ночью, наш герой, жалостно выкрикивая «даешь!», расправил плавники и поплыл, то есть, отвратительно содрогаясь, пополз среди нечувствительных ни к чему мешочников. Где-то, вероятно на перроне под железными калекками, промелькнула «та самая рыбка» Абадии Ивенсона. Несмотря на все жалобы, глаза не возвращались.

Ни крик, ни красные печати на щеках не могли никого всполошить. На сыпняк люди тогда уже не оглядывались. Их волновала «заградиловка». Только на следующее утро Михаила перетасили в казарму, приспособленную под лазарет. Он кричал и бился. Действие крохотного укола продолжалось, кривая температуры рвалась вверх, тиф вступал в силу, плотнел и рос. Из лазарета горячечные крики высыпались на улицу. Но люди не слышали их, как не слышат моряки голосов бури. Ведь на десятках фронтов, в городах и в теплушках, возле каждой «заградиловки» тифозная страна жевала мокрую мякину, испражнялась и бесплатно обучала мир героизму. Как известно, она не умерла.

Ольга

Тиф - болезнь аккуратная, соблюдающая сроки. Кризис наступает на тринадцатый или четырнадцатый день, за ним следует либо смерть, либо долгие недели слабости, зачастую всяческих осложнений. Таким образом, мы обладаем достаточным запасом свободного времени, чтобы, покинув впервые Михаила, заполняющего угрюмый лазарет своим маловнятным бредом, приступить к знакомству с Ольгой Владимировной Галиной, или, для краткости, просто Ольгой, опередив нашего героя.

Начнем, разумеется, с наружности, столь важной для молодой женщины. Ольга же, хотя и была на шесть лет старше Михаила, должна быть названа молодой: к описываемому нами времени ей исполнилось двадцать семь лет, а на вид, несмотря на поношенность одежды, ей не давали больше двадцати трех. Наружность ее мы назвали бы привлекательной, если бы этот эпитет не вводил в обман. Ведь имеются и вправду «привлекательные» женщины, похожие на липкую бумагу для мух, в любой обстановке буквально облепленные поклонниками. Задумчивое, порой даже страдальческое лицо Ольги казалось анахронизмом, вроде трагедий Расина, почитаемых всеми и проходящих в пустом зале. Ее глаза своей требовательностью отпугивали людей, подходивших к женщинам как к гостиницам и пуще всего боявшихся психологического прикрепления. Что касается любителей на душевную недвижимость с обстановкой, то для них Ольга явилась бы чистым кладом. Но годы войны и революции почти повсеместно вывели из обращения людей такой породы. Они-то, эти сумасшедшие годы, сделали Ольгу в ее драматической несезонности праздной. Здесь были бессильны и все обаяние женственных, то есть чрезвычайно беспомощных и трогательных жестов, и натуральное золото волос, и способный довести иного чудака до слез счастливый тембр голоса. Ольге не хватало легкости. Она могла как угодно дурачиться, могла проводить ночи в кабачках Монмартра, могла разделять наирадикальнейшие идеи века, все же своею основательностью, существенностью вызывая в памяти тип «русской девушки» из учебника истории литературы, то есть преданной

родным пенатам и полной беспредметной морали. Новые люди, будь то деловые бунтари или спортивные дельцы, явственно слышали за запахом духов Герлена, которыми до семнадцатого года душилась дочь владельца спичечной фабрики в Полесье Галина, плотный запах чернозема и, слыша его, ретировались.

В итоге девушка, обладавшая всеми физическими и душевными достоинствами, осталась девушкой не только по паспорту, так и не узнавшей ни любви, ни ее общедоступных суррогатов. Претендентов в свое время, то есть до национализации спичечной фабрики, было немало, но все они настолько откровенно, обходя голубые глаза Ольги, поглядывали на спичечные дивиденды, что даже инсценировка влюбленности становилась немыслимой. В свою очередь, голубые глаза парализовали предприимчивые руки тех, которые пытались приступить к делу прямо с объятий.

Возможно, что оживленность, нервическая подвижность ее внешней жизни объяснялась именно отмеченной нами неудовлетворенностью. С восемнадцати лет начались ее житейские и духовные блуждания. Она прожила около двух лет в Париже среди модернизированной богемы, среди шведов или датчан, обладающих достаточным запасом как здоровья, так и крон, чтобы позволить себе роскошь быть экстравагантными во всем, от меню обеда до кубического изображения груди натурщицы, среди поэтов, занимавшихся, вследствие моды, педерастией (от которой их, откровенно говоря, подташнивало), наконец, среди стилизованных сутенеров, выдававших себя за «анархо-индивидуалистов» и сторонников «естественного воспитания». Ольга уехала из Парижа, не утратив ни на йоту своего ошарашивающего целомудрия и тургеневской улыбки. Она объездила всю Италию, в итоге чего загорела и разлюбила искусство. Приехав в Ассизи, вместо того чтобы, спустившись в подземную церковь, наслаждаться бедностью духа и «госпожой бедностью», изображенной Джотто, она демонстрировала с какими-то двадцатью каменщиками против расстрела неведомого ей испанского анархиста Ферреро. В Риме, проглядев Форум, она заинтересовалась его обитательницами, то есть крикливыми одичавшими кошками. Она ела мороженое и любовалась в витринах Корсо кожаными чемоданами, которые могла бы найти в любом другом городе. Немало таких чудаковатых и бескорыстных

путешественников, блуждая по свету, догоняют свое счастье, неизменно отбывающее с предыдущим поездом дальше.

Застигнутая революцией в Харькове, где она гостила у дядюшки, Ольга стала сотрудницей столовой при Доме Советов, отрывала талоны карточек. Внешняя убогость жизни, механичность всех процессов успокаивала ее, как вязание или раскладывание пасьянсов успокаивали когда-то ее бабушек. Дядя с больной печенью и пропавшим «займом свободы», в который он сдуру ровно за месяц до Октября вложил свое состояние, раздраженный не только вскрытием сейфов, но и переводом часовой стрелки на два часа вперед (что, по его мнению, являлось «иерусалимским временем»), умирающий от большевиков и от разлива желчи, негодовал на беспечность Ольги, называя ее, не без заграничной элегантности, «большевизанкой». Пожалуй, до известной степени он был прав. Перетасовав все судьбы и кинув Ольгу в капустную атмосферу столовки, революция избавила ее от дальнейших метаний. Эстетизм, урбанизм, католичество, нищезанятие, Монпарнас, Сицилия, полесские болота, Москва, все это было уже проделано хоть наспех, но с душой. Все оказалось равно неудовлетворяющим. Нужно было что ни день вытаскивать из редущей колоды карту и, не веря в удачу, наигранным азартом прикрывать растущую апатию. Вот почему, ничего не смысля в политике, Ольга все же радовалась успехам большевиков, отнявшим у нее, вместе со спичками, возможность так называемого «беззаботного существования». Конечно, подобный образ мыслей, нежелание последовать за родственниками, при первой возможности перекочевавшими в Ниццу, казавшееся новым ниццарам унижительным продырявливание карточек в какой-то столовой - все это являлось настоящим семейным скандалом. Никакие уговоры и пристыживания не могли переубедить Ольгу. После средневекового католицизма или кубизма сочувствие революции стало ее очередным привалом. Мы настаиваем на этом вульгарном определении «сочувствие», которое применялось обыкновенно при заполнении затруднительных анкет застенчивыми беспартийными, боявшимися одновременно и комячейки, и своей совести. Сочувствие Ольги было иным, оно не переходило в следующую фазу приверженности и активной борьбы только вследствие ее чрезмерной честности. Революция потому и привлекала Ольгу, что в революции для нее не

было места. Богомольно она воспринимала процесс, который был назван одним из не лазящих за словом в карман журналистов «организованным принижением культуры». Здесь все импонировало ей: и величавая суровость субботников, и повестка некоего заседания при Наркомпросе с ее бессмертным порядком дня: «установка официального советского стиля» (причем под стилем понимался не календарный, а художественный, вроде барокко или Людовика Пятнадцатого). Насмехаться Ольга предоставляла печеночному дядюшке, которого не успокоили даже ниццские пальмы. Она же хотела, заглянув лет на сто вперед, увидеть даже в упомянутой повестке симптомы грядущего ренессанса. Многодумание ведь являлось ее органической слабостью. Стать коммунисткой? Но это было бы жалкой попыткой разжижить густой раствор революции. Она предпочитала роль чернорабочего. Место в столовке вполне соответствовало допустимой степени ее участия в революции.

Такой мы застаем эту девушку, то есть поглощенной неблагоприятной работой, как все - голодной и оборванной, но не разделяющей общих сетований, напротив, примиренной, с избытком сердцем, едва согретым хоть и мудрым, однако не жарким огнем «сочувствия». Мы застаем ее притом девушкой, так как вся легкость, вся упрощенность интимнейших связей в те годы никак на ней не отразились. Ее прежние знакомые, люди равного духовного уровня, казались ей теперь неживыми, чем-то вроде камней Форума, только без кошек и без благодатного римского солнца. Когда один из таких людей, еще недавно числившийся самым модным адвокатом Харькова, а теперь занятый разноской по лавочкам, торгующим «ненормированными» продуктами, ванильного порошка, заглянув с тоски и с голодухи к Ольге, несколько неожиданно закончил свои причитания поцелуем, Ольга от ужаса даже вскрикнула. Лишенные теплоты губы адвоката показались ей гуттаперчевыми. Она ответила не поцелуем, но и не словами возмущения; вспомнив, что у нее осталась от пайка четвертушка хлеба, она молча вскипятила чай. Адвокат удовлетворился по тем временам щедрым угощением. Впрочем, адвокатский поцелуй следует рассматривать как нечто исключительное. Вопреки заверениям иных из наших беллетристов, жизнь бывших буржуа или интеллигентов - словом, всех, получавших паек по карточкам третьей, а где существовала четвертая, и четвертой

категории, в те годы отличалась крайним аскетизмом. Не говоря уж о духовной пригнетенности, диетический режим, отсутствие мяса и возбуждающих напитков, общее ослабление организма - все это мало располагало к любви. Что касается «новых» людей, столь привлекавших Ольгу, то они сходились с женщинами наспех, так же как наспех ели, за кашей читая газету и догрызая сухарь на заседании. Новые люди не гнались за женщинами и не тратили времени на отбор. Нет, женщины должны были сами попадаться им на глаза. Вид чрезмерно сдержанной, молчаливой Ольги никого не привлекал, и новые люди, подобно старым, проходили мимо нее. Все запасы никем не востребованной нежности продолжали храниться в сердце девушки, отрывающей талоны на обеды.

Как же нам не порадоваться, увидав нашего героя, вознагражденного за тифозные месяцы, за всю свою тифозную жизнь дружественным взглядом этой анахронической женщины? Обстановка исключала романтичность встречи. Михаил, заполучивший для подкрепления, кроме красноармейского пайка, право обедать в столовке Дома Советов, предъявил карточку и получил ее обратно, но сопровождаемую ласковым взглядом, который он, расположенный пережитой болезнью к лиричности, вполне оценил. Последовало несколько малосущественных фраз о положении на Крымском фронте и о меню столовки, все разнообразие которого заключалось в переходах от картошки с селедкой к каше с растительным маслом. Так произошло первое знакомство.

На второй день число фраз возросло, причем в итоге последовало приглашение прийти к Ольге вечером - посидеть, поговорить. Михаил был взволнован до крайности. Остаток дня он провел в мучительных усилиях расшифровать значение этого приглашения. Женщина, на его взгляд, могла звать к себе исключительно с одной целью. Разве поза дамочки, которую он как-то обнаружил в номере «Континенталья», при всей шикарности, отличалась от позы любой бабы? Эта - не хуже и не лучше других, нечего зря ломать голову. Думая так, Михаил все же, из уважения к интеллигентской внешности Ольги, подверг себя строгому осмотру, вымылся с головы до ног и, повозившись битый час, смирил даже свой, успевший уже отрасти после болезни, чуб. Его удивляла эта непонятная подготовка к самой что ни на есть заурядной вещи. Как будто мало женщин он поиспробовал на своем коротком

веку? Однако все эти мысли остались где-то на лестнице, ни одна из них не перешагнула вместе с Михаилом порога Ольгиной комнаты, вернее, кухни, где Ольга поселилась поблизости печки (как селятся колонизаторы поблизости воды). Поздоровавшись, Михаил первым долгом сконфуженно взъерошил свой чуб, как будто прическа выдавала его дневные размышления. Он сразу почувствовал, что никогда не посмеет коснуться этой женщины, усадившей его гостеприимно возле печки и начавшей преспокойнейшую беседу о каких-то массовых зрелищах. От сочетания приниженности и злобы его лихорадило. То он чувствовал себя бесконечно счастливым, стараясь поддерживать разговор, злоупотребляя иностранными терминами и явно путаясь, то мрачно замолкал, обдумывая, как бы с достоинством выйти из позорного положения. Явно не за этим Ольга позвала его. Мужчина он или нет? Ему пришла в голову нелепая мысль прервать разговор, который теперь перешел на итальянских петрушек, каким-нибудь анекдотцем попохабней, чтобы показать свою независимость. Действительно, он начал что-то невнятное: «Вот в связи с театром, у нас был курсант...» - подальше этой, вполне пристойной, справки не пошел. Привыкший к сознанию своего превосходства неожиданно был посажен на парту прогимназии. Недоставало только папашиных помочей. Он должен был слушать, как Ольга объясняла ему, что такое *commedia dell'arte*. Это было выше его сил. Даже кровать, скромно прикрытая одеялом, кровать, на которую он не посмел швырнуть эту особу, явно над ним издевалась. Михаил прервал Ольгу:

- Все это вздор и ликвидировано Октябрем!

После чего, топорно попрощавшись, он вышел. Всю ночь он ругал себя за проявленную слабость. К утру он решил плюнуть на Ольгу. Бессонница из-за какой-то бабы являлась апофеозом падения. В столовой он сухо поздоровается и, не говоря ни слова, пройдет дальше. Однако при виде Ольги вся решительность была немедленно позабыта. Михаил понял, что эта женщина, не в пример другим, занимает его. Когда Ольга спросила, не зайдет ли он к ней вечером, Михаил превратился в патетическую благодарность. До вечера было много времени. На этот раз Михаил уделил больше внимания разработке плана действий, нежели прическе. Он твердо решил использовать предстоящий вечер целесообразней и дорваться

минимум до губ Ольги. Но, учитывая ее отличие от прочих женщин, которых он попросту валил на пол, Михаил надумал предварить первые элементарные жесты объяснительным словом. Предполагаемая речь начиналась так: «Принимая во внимание общность и презрение к предрассудкам...» Речь так и не была произнесена. Руки Михаила не решились даже сойти с колен. Вместо задуманных объяснений он скромно сидел на табуретке, отвечал на вопросы Ольги о боях с белыми и слушал ее рассказы о Париже. После этого он снова провел бессонную ночь, но уже без легкомысленных расчетов «плюнуть на Ольгу». Симптомы некоторого заболевания были налицо. Наш герой не сомневался в значении их: он влюбился.

Странная, однако, это была влюбленность. Михаил не мог ни о чем думать, кроме Ольги, но если б его спросили: «А какая она с виду, Ольга?» - он бы не сумел ничего ответить. Встречаясь с ней по два раза в день, он, например, не заинтересовался тем, какие у нее глаза. Установив при первой же встрече, что Ольга женщина «очень ничего себе», он вполне этим удовлетворялся. Не следует думать, что подобное невнимание вытекало из особой духовности его чувств. Нет, Ольга привлекала Михаила исключительно потому, что была недоступной для него женщиной. Правда, каждый вечер он слушал, иногда с искренним вниманием, ее рассказы о путешествиях или о различных неизвестных ему книгах, но все это являлось в его глазах лишь украшающими элементами, чем-то вроде бриллиантов на коготке. Это только повышало расценку ее объятий.

Прошло две недели. В рассказах была, кажется, перерыта вся жизнь. Но на коротком пути к кровати не было проделано ни одного шага. Самочувствие Михаила с каждым днем ухудшалось. Еще не оправившийся после болезни, поражающей нервные центры, он как будто определился в школу умалишенных. Жить без апломба для него равнозначило смерти. Бывает, неврастеникам кажется среди ночи, что они онемели, и успокаиваются они, лишь выговорив что-нибудь вслух. Так и Михаилу необходимо было заполучить Ольгу для того, чтобы убедиться в том, что он жив. В течение дня он ее ненавидел. Припоминая все унижительные минуты, он тщательно натаскивал себя на ненависть. Им изобретались самые разнообразные способы мщения, от изнасилования до сложного дипломатического ареста.

Явственное целомудрие девушки придавало его фантазии особенно ернический характер. Не веря в возможность ее любви, он в мечтах удовлетворялся ее страхом, мольбами о пощаде, если не поцелуем страсти, то хотя бы собачьим целованием его рук. Так проходили дни. Но между этими днями лежали неправдоподобные оазисы вечеров, освещенные крохотным светильником, сделанным из баночки, и еще ярче женской нежностью, - они превращали нашего пакостного мечтателя в самого смиренного из всех влюбленных, счастливого одним присутствием Ольги, ее улыбкой, ласковой снисходительностью к невежественным суждениям Михаила, а в минуты пауз - эпической ровностью ее дыхания.

Что думала Ольга, видевшая и эпизодические извержения ярости в виде грубых реплик или внезапных уходов, и смиреннейшие ужимки, похожие на извинительные приседания хищника перед дрессировщиком, что думала эта девушка, немало в своей жизни выдавшая и больше всего на свете любившая думать? Михаил был плохим психологом. Тщетно он пытался подыскать объяснение противоречивым, на его взгляд, поступкам Ольги, настойчиво приглашавшей его каждый вечер к себе и в то же время не подсказывавшей, хотя бы мельчайшим движением, возможности того, ради чего только и может женщина приглашать молодого мужчину. Иногда ему даже казалось, что Ольга больна, что у нее мозги не в порядке. Как же иначе понять ее поведение? Когда он однажды, стараясь взять ее же тон, стал распространяться о знаменитом «примате личности», Ольга резко его осадила:

- Вы как-то удивительно верно сказали: «Все это ликвидировано Октябрем».

Таким образом, его грубая выходка получила одобрение, а попытка заговорить по-хорошему, по-интеллигентски, наоборот, встретила отпор. Это было окончательно непонятным. Все мысли и чувства Ольги казались Михаилу простыми, но недоступными, как китайский букварь. Он играл втемную. Время шло. Он явно проигрывал. Он все сильнее ненавидел и свою партнершу, и далеко не легкую игру.

Наконец в его дневные шатанья, наполненные срамом и злобой, вошел новый фактор: через две недели он должен направиться в свою часть, значит, через две недели финал и так называемой

влюбленности, и умилительным беседам при светильнике, и наглости несмятой кровати. Это несколько успокоило его. Он впервые почувствовал некоторую самостоятельность. Как о своем триумфе, сообщил он Ольге о близком отъезде, при этом его задорный чуб вполне заменял острие шлема, а походный облик окончательно скреплялся улыбкой снисхождения, которую швыряют путешественники из окон экспресса станционным будкам и подсолнечникам. Важную новость Михаил приберег под конец, сказал ее, уходя, на лестнице, и поэтому не смог проверить, какое впечатление произвела она на Ольгу.

Весь последующий день Михаил бился над головоломкой этой темной лестницы и не менее темной для него души Ольги. То он видел девушку горько плачущей в подушку, и тогда жизнь становилась для него настолько приятной, что он жалел всех: и усталых комиссаров, отягченных государственной ответственностью плюс весом толстейших портфелей, и туберкулезное небо Харькова, и дохлую клячу, валявшуюся второй день на площади Тевелева, и себя самого (последнее перед зеркалом, вследствие послетифозной худобы похожих на спицы ног и выпирающих ребер), жалел хорошей приветливой жалостью. Ольгу он не жалел, так как считал ее слезы возвышающими. То он представлял себе девушку весело болтающей с другим красноармейцем. В его упрощенном представлении возможный заместитель почему-то обязательно являлся красноармейцем. Причем наиболее бесил его предполагаемый эпилог, тот, другой, более решительный и находчивый, преспокойно проделывает с Ольгой именно то, что проделывал Михаил со всеми женщинами, со всеми, кроме этой проклятой недотроги. В такие минуты Михаил готов был на все: бежать в Чека, писать, тряхнув стариной, стихи, ругаться, плакать (то есть выразительно мычать), стрелять в соперника, стрелять в Ольгу, он даже был готов застрелиться. Последний план был, впрочем, быстро отстранен как нелогичный. Если Ольга и целовалась с кем-нибудь, в этом меньше всего вины Михаила. Чередования приподнятости, блаженства с яростью ревнивого рогоносца настолько замучили Михаила, что он даже не пошел в столовку. Он боялся установить состояние Ольги, предпочитая продлить до вечера неопределенность догадок. Вечер все же настал, и в нерешимости Михаил толкнул дверь Ольгиной

комнаты. Он увидел только небольшое пятно светильника, дрожавшее на раскрытой книге. Это еще ничего не означало. Однако первые же слова Ольги явились ответом на все загадки как этого, так и многих предшествующих дней.

- Простите, но я занята. Я читаю...

Михаил отошел к двери. Он готов был убежать. Что ему делать здесь, где хронические оскорбления долгих вечеров привели к этой откровенной пощечине? Ольга, наверное, поджидала другого. Место Михаила, скромное место на табурете бессловесного поклонника и застенчивого слушателя, даже оно было занято. Вся ненависть Михаила сказала в эту минуту. Он больше не испытывал ни стесненности, ни умилительного почтения. Молча подошел он к Ольге, сгрэб ее, повалил на посрамленную наконец-то кровать и с деловитостью профессионального злодея приступил к давно предвкушаемому мщению. Всецело сосредоточенный на уничтожении гордычки, он даже не успел почувствовать никаких признаков страсти. Комната не услышала ни единого слова, ни вздоха, ни стога. Светлое пятно по-прежнему дрожало на неперевернутой странице книги.

Наконец Михаил решил проверить взором победителя взятую крепость. Он поднял голову. Впервые он заметил, что у Ольги голубые и нежные глаза. Он отвернулся, но и отвернувшись, услышал ее голос:

- Милый!..

Идиллическая ночь и ее обрамление

К подобным приемам прибегают некоторые, модные сейчас, американские беллетристы: неожиданность развязки заставляет даже сдержанного читателя, дойдя до последней страницы, говорить своей половине, а в случае холостяцкого положения и одиночества какой-нибудь семейной фотографии или же портретам вождей, имеющимся повсюду: «Что? Каково? Все оказывается не так, а наоборот!..» В комнате Ольги не было ни семейных фотографий, ни портретов вождей. Ровный круг светильника спокойно освещал не сумасшедшую историю, выдуманную в углу на кровати, а популярное изложение теории сновидений доктора Фрейда. Соглядатаев не имелось. Ольга и та не могла догадаться о всей диковинности происшедшего. Ведь Михаил менее всего был склонен посвятить ее в свои недавние замыслы. Лежа на спине, он тяжело дышал. Вздувшиеся на висках жилы и бессмысленность зрачков свидетельствовали, с каким напряжением переживает он эту неожиданную развязку. Гнуснейшее покушение, помимо его воли, закончилось буколическим счастьем. Здесь действительно было над чем задуматься.

Возможно, что и некоторые читатели разделят озадаченность Михаила. Поведение Ольги Владимировны Галиной, этой пуританки и привередницы, еще недавно нашедшей для экс-адвоката всего-навсего чай с хлебом, а теперь повторяющей рыжему красноармейцу, бесцеремонно ею овладевшему, «милый», покажется им необъяснимым. Какой толк находила она в беседах с этим самонадеянным и невежественным субъектом? Неужели грубоватость Михаила могла польстить ей, как побои польстили когда-то Кармен из Дарницы? Таким читателям мы должны лишь напомнить, что четыре правила арифметики, которым обучали Михаила в прогимназии, применяемые и к самой гениальной философской системе, и к мелкому счету за казанское мыло на постирушку, решительно бессильны там, где выступают человеческие чувства. Было бы тривиальным распространяться о слепоте любви. Гораздо полезнее восстановить, согласно всем литературным традициям, пейзаж, окружающий счастливых любовников, то есть в данном случае не

столько комнату Ольги, ничем непримечательную, сколько эпоху, ее дух; он как бы обволакивал рассказанное нами псевдопреступление.

Ни Уэллс, ни какой-либо другой из известных нам авторов утопических романов не придумал ничего более ирреального, нежели жизнь обыкновенного города, хотя бы Харькова, в те памятные годы.

Фантастика начиналась с простейших астрономических явлений. Благодаря переводу стрелки, столь обидевшему дядюшку Ольги, белые ночи оказывались перенесенными с Невского на улицу Карла Либкнехта, бывшую Сумскую. Рождество праздновалось после Нового года. Празднование, впрочем, выражалось исключительно в выдачах азербайджанского изюма по карточкам «Красной звезды», а также щепного товара. Что касается будней, то в будни все граждане, запряженные в тележки или же в салазки, рысью мчались по мостовым: они то прикреплялись, то откреплялись. Это было хоть и бескорыстным, но полным высокой значимости занятием. Из города сотрудники Главмузо уезжали в теплушках за хлебом или на фронт. В город же приезжали предпочтительно делегаты на различные съезды и совещания: «по борьбе с чумой в Туркестане» или «по распространению красного эсперанто». Когда прибыл первый транспорт Внешторга, в нем оказались клозетная бумага и копировальные чернила, закупленные в Ревеле. Женщины ходили в военных шинелях и в элегантных супрематических шляпках, сделанных из ломберного сукна. Летом веяло античным духом, и сандалии, которые продавались на улице Артема, назывались «римками». Чай заваривали на сушеной моркови, на пастилках «Красный луч», на рябине, на бобах. Хлеб ели как рыбу, сосредоточенно и не разговаривая, - хлеб был костлявым, застревал в горле. Приходя в гости, приносили с собой кусочки сахара в коробках от довоенного зубного порошка. Зато, если у хозяев функционировал клозет, гости не пропускали okazji, заходили туда - впрок. Продавали и покупали предпочтительно камни для зажигалок, хотя не было ни табаку, ни керосина, ни дров. Это происходило от огнепоклонничества и от отсутствия других товаров. Когда в город привозили мороженое мясо, его выдавали во всех плавках сотрудникам, и вечером Харьков предавался любви. Вследствие уплотнений жили тесно и любить приходилось на людях; выручала темнота. Все ходили в театры глядеть Шекспира, Кальдерона, Гоцци. Прикрепляясь или открепляясь,

писали стихи, главным образом о космосе и без размера. На Московской улице перед разрушенным домом висел плакат «Мы электрифицируем земной шар». Читая его, никто не усмехался. Всем было ясно, что это правда. Из-за коробки спичек возле Госоперы бывший инспектор реального училища Соловьев убил слесаря Семенко. Суд над ним устроили показательный в школе имени Бабефа. В этой же школе учащимися первой ступени была поставлена агитпьеса матроса Балтфлота Губова, где меньшевики фигурировали в виде посрамленных карасей. Зрителям особенно понравились меньшевистские плавники из серебряной бумаги. Курсанты военно-хозяйственной академии увлекались заумным языком, их литкружок примкнул к направлению, именовавшему себя «41°». Самоучка, машинист паровозных мастерских Яниченко, изобрел модель гигантского гидроплана, способного подымать триста пассажиров. Товарищ Шуснер, из Гпавстекла, изобрел музыкальную шкатулку для хранения карточек продовольственных или широкого потребления, исполнявшую «Варшавянку». Хотя денег печатали много и на всех языках, граждане успели позабыть, что такое деньги. Как в прекраснейшей утопии, все жили пайками и выносливостью. Письма опускались в почтовые ящики без марок, но бумагу раздобыть было трудно: она шла на протоколы плавков. Поэтому почтальоны перестали интересоваться ящиками. Зато все читали бесплатно газеты, расклеенные на стенах. Иногда Чека арестовывала родившихся без рубашки за спекуляцию бензином или за свойство с левым эсером. В Чека расстреливали. В Чека, однако, арестованному говорили «товарищ». Тогда все были товарищами. Это было изумительное время, и отнюдь не посмеяться, нет, почтить его великолепную несуразность хотим мы теперь, оглядываясь назад. Голодая и мытарствуя, каждый знал, что он разделяет общую участь. Каждый, кроме того, знал, что все эти муки не зря. Социальная революция была не абстрактным лозунгом, но делом завтрашнего дня, как объявленная выдача по талону такому-то. Земля ходила под ногами, и жалеть о реквизированной кушетке не приходилось. Ничего никого не удивляло. Гибель Иокогамы определенно запоздала. Случись она на три года раньше, ее в Харькове встретили бы так же естественно, как перевод часовой стрелки или как сообщение о советской республике в Баварии. Любой обыватель, приглашенный на тютчевский «пир

богов», был горд, хоть его и мутило от крепости исторического напитка, принимаемого к тому же натошак. Катастрофически жили и дышали все. Повторим еще раз: это было изумительное время!

Как бы ни была ничтожна по сравнению с ним ночь двух любовников, все же можно сказать, что она являлась крохотной частицей этого патетического пейзажа. Самодельное страдание, неожиданно, как лотерейный выигрыш, выпавшее счастье, все это было темным и замечательным вымыслом. Ольга больше не прятала своих чувств. Она раскрыла Михаилу содержание китайского букваря. Это был, конечно же, самый ошеломляющий из всех ее рассказов. От удивления нашего героя начало знобить. Он узнал, что Ольга все эти недели ждала его признаний. Он понял наконец язык сдержанности и стыдливого отталкивания. Переживший длительную стадию сомнений в себе, он в течение одного часа отыгрался. Он получил не только былой апломб, но и новые, ему дотоле не известные материалы для самовозвеличения. Так, например, ему было сообщено, что он действительно «новый человек», полный «варварской хватки» и «примитивной мощи». Весь восторг рафинированной и, по существу, глубоко несчастной Ольги перед этим грубоватым человеком, овладевшим ею, был ему передан, расширенный любовью и темнотой до бреда. Михаил чувствовал, как он сказочно растет. Комната, Харьков, мир стали ощутимыми, вроде одеяла: они давили. Причем это не были привычные экзерсисы на ломких ходулях. Нет, теперь величие создавалось помимо его воли, без потуг, без пота. Он познал величие легкое, дареное, сугубо дорогое в своей незаслуженности. Чувство это знакомо многим честолюбцам, с помощью объятий стремящихся перейти в следующий духовный или социальный класс, мнимое величие тех, которым мало подлинно бессюжетного блаженства, рождаемого музыкой и любовью. Михаил теперь измерял свое положение в мире Ольгой. Час тому назад она была недоступными Гималаями. Оказалось, что она ждала его ласки, ждала как благословения, то есть что внизу, ломая шею от заглядываний вверх, стояла она, а Гималаями был он, Михаил. Прыжок, превосходящий все дерзания портного Примятина, проделан успешно. Храня внешнее спокойствие, с признательностью сжимая руку Ольги, Михаил на самом деле безумствовал, плакал, кричал, брал мировые рекорды полетов.

Подобный ход мыслей, вероятно, привел бы Михаила к одной из достаточно для него будничных выходов: к какому-нибудь глупейшему выкрику или к мимической декларации, если бы случайно не оказался прерванным скромнейшим движением Ольги, после поцелуев и любовного шепота нежно погладившей нашего героя по его жесткой шевелюре. Ольга была движима признательностью за произведенное в ней опустошение, за потерю и девичества и свободы. За новую тяжесть, за второе рождение. Еще не узнав женской страстности, она уже предчувствовала все ее темноты. Она уже была как ребенок привязана к этому человеку, страшному ей чуждостью, рыжеватой волосатостью ног, мыслями, движениями, казарменными кальсонами, угрюмым детством, - словом, страшному всем и в то же время исключительно родному, физиологически неотрывному, чью зубную боль или неудачу она восприняла бы теперь как свои. Не догадываясь, какими эксцентрическими полетами заполнена рыжая голова, Ольга заботливо погладила ее. Еле обрисованное губами слово «мальчик» все же дошло если не до ушей, то до сознания Михаила.

Наш герой не отстранил своего рыжего чуба от этой почти материнской руки. Со всей подвижностью ночных бескостных эмоций он перелетел от плетчеровой температуры самолюбования к теплоте женской жалостливости, напомнившей ему ржавую детскую ванну с белесыми подтеками, в которую опускал его когда-то Тема. Он начал жалеть себя. С тоской припоминал он свое безлюбое и бессолнечное детство. Грудь Ольги приобрела всю защитность Теминых плеч. Почему ему прежде никто не говорил таких нежных слов? Почему это сладкое прикосновение к жесткой голове, обычное, необходимое, как хлеб, для других, является по отношению к нему чем-то исключительным? Ведь он же несчастен, бедный Мишка, до сих пор без толку гонящийся по миру собак. На его душу все, положительно все плюют. Плевал Егор, плевал эсер Уваров, плевали посетители «кружка». Все! Как будто они сговорились. А его нужно жалеть. Он еще не окреп. Вот как Ольга говорит: он еще мальчик. Он мог, наконец, много разуметь. Орден? Конечно, орден - это много. Но нужно, чтобы за храбрость не только хвалили, а еще и жалели. Сколько у него позорных минут, которые он вынужден прятать?.. Разве это легко? Вот скажи он Ольге про серебряный молочник, небось перестанет жалеть. Скажи ей, что он хотел ее изнасиловать, и не от

страсти, а от злобы, - вместо «мальчик» он, пожалуй, получит «подлеца». А ведь его за это не ругать следует, но жалеть. Он вовсе не подлец. Он может быть очень благородным. Разве он сдрейфил в Октябре? Он выдержал и ночь в «Скутари». Тема, тот знает, что он не подлец. Почему рядом с ним нет Темы, родного, строгого, милого Темы? С этими шашнями он снова запутался. Другие говорят, что все счастье в бабе. Вздор. Это пакость. Сначала четверть часа бешенства, голова кружится, как от вина. Мишка пропадает, зря пропадает. Ему жаль себя, очень жаль...

Скупые железы, обычно не сопровождавшие трагические излияния Михаила никакими признаками увлажнения глаз, на этот раз расщедрились. Слезы, настоящие слезы в избытке хлынули на плечо Ольги. Чем больше их было, тем легче и туманней становилась жалость Михаила. Сначала отдельные эпизоды, лица, фразы расплылись в широкие серые пятна. Все же он еще чувствовал, что жалеет себя. Но вскоре жалость распространилась как пар, захватила Ольгу, Тему, всех, решительно всех. Где-то быстро прошмыгнуло свинцовое личико Егора, но Михаил все же успел пожалеть и его. Наконец и жалость потеряла отличительные контуры. Она перешла в умиленность. А слезы продолжали течь.

Ольга не испугалась, не удивилась. Как всякой женщине, ей было нетрудно понять язык этих мельчайших водяных частиц. То, что рядом с ней не ребенок и не подруга, а рослый, крепкий мужчина, что у него щетинистые волосы и казенное белье, - все это было немедленно забыто. Как на ласку лаской, она на слезы ответила слезами. Вследствие обостренной телесной близостью чуткости слезы эти, как и слезы Михаила, сначала разъедающе горестные, потом усладились, стали бессмысленными, физиологическим процессом, вроде зевоты при напряженном ожидании или смеха в минуту опасности. Они стали так называемыми «слезами радости».

- Мне хорошо с тобой.

Михаил ничего не ответил. Он только доверчиво и бережно поцеловал руку Ольги.

Разреженный, как бы нормированный свет утра застал двух любовников в дремоте обнимающими друг друга, с лицами, проясненными этой благословляемой всеми лирическими поэтами мира росой.

Потом дремота Михаила сменилась плотным сном. Проснулся он поздно. Ольга не спала. Беззвучность тщательно задерживаемого дыхания показывала, как бережет она сон своего любовника. Еще не стряхнув с себя дремы, Михаил улыбнулся. Эта улыбка была детской, в чистоте подлинно блаженной. Она вызвала ответную улыбку Ольги, гордой, как своим произведением, его счастьем. Но уже минуту спустя лицо Михаила сделалось озабоченным. Улыбка являлась еще частью одного из забытых сновидений. Теперь же, наконец проснувшись, он был не на шутку озабочен. Он сознавал необходимость срочно выяснить, какую роль в его жизни займет эта лежащая рядом с ним женщина. Не отвечая на смущенные вопросы Ольги, он предался размышлениям. Прежде всего он восстановил в памяти все события ночи. В его утреннем сознании они походили на похабный анекдот о курсанте, который он как-то порывался рассказать Ольге. Слезы он старательно обходил, чтобы не покраснеть за минуты подобной слабости. Что касается до всего остального, то, очищенное от придаточных, обесцененных дневным светом чувств, оно предстало перед ним в виде скудной графической схемы. Давние предположения оказались правильными: между Ольгой и дарницкой бабой не было никакой разницы. До поры до времени задаваясь, она размякла, как только он, вместо бесед об Италии, швырнул ее на кровать.

Как бы ни были свежи события, подчиняясь человеческой воле, они легко деформируются. Михаил теперь не помнил о том, что в течение двух недель он униженно мечтал об Ольге. Нет, он и впрямь был убежден, что все это время горделиво проходил мимо нее, просящей и унижающейся. Он даже попрекнул себя за излишнюю уступчивость. Он молча оделся и собирался так же молча уйти, когда Ольга, еще не понимая, что этот человек в сапогах - не мальчик, плакавший ночью у нее на плече, руками оплела его шею.

- Ты уходишь?

Михаил наглядно разъяснил ей происшедшую перемену. Не выбирая ни слов, ни жестов, он раздраженно оттолкнул ее:

- Хватит с тебя ночи. А днем мне не до баб...

Дальнейшие фазы интимной связи

Выйдя на улицу, Михаил почувствовал назойливую, вроде тошноты после выпивки, непонятную ему самому тоску. Он долго бегал по городу - с вокзала на Чернышевскую и назад. Быстротой ходьбы он хотел ослабить интенсивность боли. Это ему не удавалось. Он чувствовал себя глубоко обиженным.

Он влюблен в Ольгу? Влюблен. Значит, сегодняшний день должен быть самым радостным в его жизни. Так, по крайней мере, заверяли все книги, все пьесы, все фильмы. Почему же ему не только не радостно, но попросту тошно? Даже физиономии прикреплявшихся или откреплявшихся граждан казались Михаилу вызывающе радостными. Женские улыбки провоцировали его на скандал. Пробегая мимо театра, он остановился. Там дежурил хорошо известный всем харьковцам бывший прокурор Феофилов с лысым паршивым пуделем Боем. Завидев гражданина с салазками или с сумкой, прокурор обыкновенно начинал пришептывать: «Товарищ, помогите обломку», а Бой безмолвно становился на задние лапы, передними помахивая в такт хозяйским мольбам. Картина эта умиляла даже ко всему привыкших людей того времени. Салазки иногда останавливались, и кусочек паечного хлеба перепал злосчастному «обломку». Теперь, однако, прокурор, увидав шинель и злое лицо Михаила, не решился произнести сакраментальной формулы. Только пудель, нарушая все правила, начал самостоятельно служить. Его голая розовая морда со слезящимися глазами красноречивее прокурорских слов говорила о страшной участи «обломков», о пожираемой дохлятине, о холоде нетопленной комнаты, о старости, о собачьей старости и одинокой смерти. Но Михаила этот дрессированный зверь, как ни в чем не бывало помахивающий лапками, не растрогал, а обозлил. Он ударил его сапогом. Раздалось тьяканье, может быть и смешное у щенка, но подлинно трагическое у этого издыхающего пса, фокусами зарабатывающего хозяйский хлеб, у старого собачьего артиста. Прокурор прикрыл руками свои небритые щеки:

- Нехорошо, товарищ, животное обижать, негуманно!

Михаила еще попрекали.

- Молчать! Нищенствовать нехорошо. Идите на биржу труда. Идите, наконец, в собес. Поняли?

Пудель перестал тявкать. Оправившись от пинка, он вспомнил о своих обязанностях и смешно закивал дрожащими от дряхлости лапами. Михаил поспешил прочь. Этой выходкой ему наконец удалось достичь какого-то бесчувствия. Он считал фонари. Он смаковал пустоту и спокойствие. От тоски оставалась лишь щемящая боль под ложечкой. Вдруг он увидел дверь столовой. Якобы забытая ночь сразу оказалась у него под носом. Зайти? Там Ольга... С изумлением он должен был констатировать, что боится увидеть Ольгу. Ему пришло в голову, что он сам во всем виноват. Сначала эта мысль показалась ему настолько нелепой, что он даже рассмеялся. Но через минуту он привык к ней. Он стал находить ее правдоподобной. Множество доводов пушистым роем облепили его. Ольга лучше его, умней. Она везде была, все знает и, однако, не погнушалась снизойти до него. Она, не скупясь, отдала ему свою нежность. Чем он ей ответил? Циничной фразой при расставании. Он сам во всем виноват, исключительно он. Дойдя до этого, Михаил инстинктивно поплелся назад к театру. Увидев «обломка» с собакой, он догадался, зачем его ноги проделали этот путь: необходимо подойти и просто, по-мальчишески попросить прощения. Однако он этого не смог выполнить. Как он ни принуждал себя, вместо слов получалось невыразительное мычание. Прокурор, увидев своего обидчика, решил на всякий случай ретироваться. Михаил втайне этому обрадовался. Он был освобожден от препротивнейшей обязанности. Он побежал в столовую. Он хотел как можно скорее увидеть Ольгу, сказать ей все. Да, он гадок, жалок, но пусть она не уходит. Он исправится. Ночные слезы были первым неуклюжим шагом. Только она должна быть с ним строгой, очень строгой. Снисходительность его вводит в соблазн. Он же будет тихим, послушным, нежным.

Все эти слова и множество других были им поспешно заготовлены. Заплаканные глаза Ольги с достаточной точностью говорили о том, как нелегко ей сегодня отрывать талоны. Михаил, впрочем, не обратил на это внимания. Он был слишком поглощен всей новизной и остротой своего чувства. Он хотел сразу приступить к объяснению. Длинная очередь пришедших обедать оказалась, однако,

непреодолимым барьером. Встав в хвост, Михаил стал поневоле разглядывать нелепо сгруппированные слои кожи на затылке человека, находившегося перед ним. Кругом говорили: «Сегодня опять каша...», «Опаздываю на заседание...», «Несознательные уносят ложки...», «Нужно принять меры». Пахло льняным маслом. Будничность окружения в двадцать минут ухитрилась экстатичность заготовленного покаяния низвести до скромного намерения уладить дело как можно проще. Действительно, добравшись наконец до Ольги, он проявил спокойствие, как будто ничего не было: ни кровати, ни грубых слов, ни пуделя, ни повинной.

- Ты не сердись, если я нагрубил. Дело настроения. Это со мной после тифа случается. А я вечером приду к тебе.

Это, конечно, совсем не походило на мольбы, ворох которых был припасен при входе в столовку. Это было скорее аполгией своей черствости. Но все-таки это заставило Ольгу проясниться. Ее судьба была решена ночью. Никакие гнусности Михаила не могли уже переродить ее чувств. Поздно поддавшись любви, она теперь была готова на любые пресмыкания ради счастья своего любовника. Знойное, засушливое солнце, убивая хлеба Поволжья или Канады, дает изумительные урожаи винограда, так что черные даты голодных лет золотыми ярлычками красуются на бутылках наиболее лакомых вин. О благодетельности или губительности любви написано достаточно книг. Михаилу минувшая ночь, в зависимости от его настроения, казалась то приятной, то отвратительной. Для Ольги она была неизбежной, лежащей вне ее субъективных оценок, данной, как жизнь. Приход или уход Михаила, любой росчерк его своевольных губ решали все. Она восприняла его обещание прийти к ней вечером как разрешение видеть небо и дома, как разрешение быть.

Михаил не проглядел этой радости. Глотая наспех кашу, он и сам радовался своим возможностям то вызывать слезы, то осушать их. Это казалось ему замечательным фокусом, чем-то вроде писания стихов. Это возвышало его. Весь день прошел в уравновешенной радости человека, обладающего хорошенькой, умной, образованной, словом, всячески привлекательной любовницей. Самая банальная улыбка не сходила с его лица. Однако менее всего наш герой был способен удовлетвориться таким благоразумным состоянием. Подходя к дому, где жила Ольга, он замедлил шаги не от предвкушения каких-либо

восторгов, но от внезапно нахлынувшей скуки. Он почувствовал, что никак не влюблен в Ольгу. Человеческому телу присущи свои вкусы, значительно более причудливые, нежели все изощрения ума. Порой бюллетень, заключающий эти оценки, слишком поздно доходит до сознания. Не только ночью, но и днем, в столовке, Михаил не сомневался в своей влюбленности. Он только удивлялся, что отсутствует обычно сопровождающее ощущение счастья. А теперь, при виде скучной оконной шашечницы большого дома, предчувствуя медленную походку ночных часов, всю тяжесть и черноту воздуха, белесоватую тоскливость чужих плеч, он понял, что вовсе не влюблен в Ольгу, что ее тело вызывает в нем неприязнь своим бескровием, мелкой костью, угодливостью и холодом, предательским холодом по-человечески «пылающей» от муки рыбы, ударяющей хвостом сухой песок. Тело не хотело считаться с культурной орнаментацией Ольги. Считая, что ночью оно - хозяин, тело настойчиво протестовало. Михаил сейчас предпочел бы целовать любую девку, год не мывшуюся и с прошлого лета сохранившую запах подмышников, кого угодно, только не Ольгу.

Казалось бы, после такого резюме Михаилу остается как можно скорее повернуть куда-нибудь подальше от шашечного дома. Но Михаил и не думал об этом. Как подвижник, пересиливая все плотские позывы, он решительно приблизился к светлomu кругу в кухоньке. Он не мог просто бросить такую добычу. Стоило подняться вверх хотя бы для того, чтобы еще раз услышать от Ольги слова признательности или смирения. Это все же не дарницкая солдатка! С любой точки зрения Ольга заслуживала вала внимания. Правда, ее бывшее богатство, то есть сгоревшие спички, мало что говорило Михаилу. Он был достаточно предан идеям своей эпохи, чтобы презирать деньги, к тому же еще подвергшиеся девальвации. Булат в те годы торжествовал над золотом, и, опуская нехарактерный инциденте молочником, можно сказать, что Михаил предпочитал винтовку всем сокровищам. Ольга импонировала ему другим: утонченностью, так называемой «культурностью», завидным умением из общедоступных вещей извлекать ассортимент неизвестных Михаилу состояний. Этого наш герой не мог простить женщине, место которой было под ним.

Подымаясь по лестнице, он твердо решил, не размякая, как вчера, поставить Ольгу на природой уготованное для нее место. Вид

раскрытой книги взбесил его: буквы и те насмеялись над бессильной яростью человека, с грехом пополам окончившего прогимназию и еще недавно подававшего «господам» калоши. Он прескверно выругался. Он был убежден, что оскорбленная Ольга либо выгонит его, либо начнет читать лекцию по морали. Тогда-то он покажет свои мужские права... Ольга, однако, молчала, и ему пришлось повторить номер. Подойдя к нему вплотную, не сводя с его обманно-мечтательных глаз своих, тревожных и пытливых, Ольга спросила:

- Что с тобой? Я ведь вижу, что ты от боли...

Михаил взревел. Это не образ, нет, раздался действительно звериный рев. Подобного оборота он никак не ожидал. Его лицо горело, как будто, чтобы заглянуть внутрь, с него содрали кожу. Конечно же, он выругался от боли, он теперь и сам это знал. Но как смеет Ольга подглядывать в щелку, рыться в чужой душе, как смеет она его разоблачать? Он бегал по комнате, преследуемый стыдом. Он задул светильник, больше всего на свете боясь сейчас встретиться с этой пронизывающей, как рентгеновские лучи, голубизной ее глаз. Он искал поступка, который замаскировал бы его стыд. Приходили в голову различные планы: сесть и завести спокойную беседу, хотя бы о Париже, сказать, что у него осложнение после тифа, и сбежать, прикинуться пьяным, но все они, после краткой проверки, браковались. Наконец он устал и думать, и бегать из угла в угол. Он остановился на самом простом, диктовавшемся, по его мнению, временем и местом: кинув Ольгу на кровать, он повторил вчерашнее надругательство, только с еще большей злобой. Он подверг Ольгу всем унижительным положениям, какие только мог изобрести. Не испытывая никакой радости от физического обладания, он зато переживал душевное удовлетворение, унижая эту женщину, посмевающую при дневном свете быть выше его.

Двенадцать последующих ночей, все ночи до отъезда Михаила, были лишь различными вариациями этой. Истощив свою фантазию, Михаил старался инсценировать знакомые ему грязные анекдоты. Помимо этого, он непрестанно требовал подтверждения своих достоинств. Он смягчал для себя томительную черноту этих полных внешней дикости и все же подлинно бесчувственных ночей панегириками ему - «варвару», «новому человеку».

Раз, выдвинув ящик ее стола, он напал на чьи-то фотографии и письма. Он немедленно их разорвал. Ольга сочла это за приступ ревности. Однако это не было ревностью. С не меньшим удовольствием Михаил уничтожил бы все прошлое Ольги, ежечасно угнетавшее его хоть и не упоминаемым, но все же ощущаемым превосходством. Он дошел до того, что потребовал от Ольги прекратить чтение книг. Он запретил ей говорить о своих путешествиях. Если бы только это было осуществимым, он заразил бы ее своими воспоминаниями: Минной Карловной или пьяным сахарозаводчиком. Но, увы, две недели не могли скостить ее двадцати семи гигиенических, как больничные стены, лет. Понимая свое бессилие, Михаил становился еще грубее. Все это не имело бы выхода, если бы дата отъезда не прекратила самую непонятную из всех любовных связей, какие только можно себе представить. Ее вполне выдержанным по стилю завершением явилось само прощание. Ольга долго готовилась к этой минуте, боясь слезами или жалобами раздражить своего любовника. Познавшая впервые любовь в образе Михаила, она жалко барахталась среди сомнений и догадок. Несмотря на возраст, на все увеселительные трущобы Парижа, она была невинна не менее своего прообраза, то есть пресловутой тургеневской героини. Она даже не знала, что следует отнести за счет естественной дикости человеческих чувств и что - за счет грубости «нового человека». Она видела злобу и гнусность, но, в снисходительности любящей женщины, спешила объяснить это то неловкостью своих ласк, то тяжелым детством Михаила, то его глубоко скрытой нечеловеческой болью. Думая об этой боли, она не занималась собой. Только когда подошел день отъезда, она как-то сразу почувствовала, что с ней сделали эти недели. Простые формы вещей, человеческие голоса, даже свое собственное дыхание - все это причиняло ей беспричинные страдания. Она с трудом дышала. И все же она нашла достаточно сил, чтобы в последнюю минуту, когда руки Михаила, уже позабыв о существовании на свете рук, которые они не раз в досаде гнули и ломали, кинулись к дверям, в страшную минуту расставания сказать это самое нежное, самое невесомое слово с его полным самоотречением уже не любовницы, но матери:

- Мальчик!..

Две недели тому назад теплота и едкость слез явились ответом на это. Но теперь Михаил и не думал плакать. Жестокое испытание влюбленностью кончалось. Он уже дышал свежестью дороги. Он был слишком счастлив, чтобы целоваться или ругаться. Насмешливо косясь на остающуюся Ольгу, как летчик на жалкую недвижимость, он козырнул и весело крикнул:

- Наше вам с кисточкой!

Выйдя на улицу, он тотчас забыл об Ольге. Он больше не вспоминал о ней. Только раз, месяц или два спустя, ее голубые глаза неожиданно, можно сказать исподтишка, напали на него. Это было на паровой палубе. Михаил ехал из Ростова в Мариуполь. Какой-то красноармеец жалостно играл на гармошке, нудно играл, как будто расчесывал искусанную вшами грудь. Михаил, не слушая музыки, резался в карты. Он бессмысленно приговаривал: «А мы ее тузом, вот как...» Рядом с Михаилом, на бочонке сельдей, сидел военный врач, плюгавый еврей с глазами, съеденными трахомой. Подслеповато поглядывая на темное беззвездное небо, дыша вонючей рыбой и гнилью водорослей, врач вдруг мечтательно сказал неизвестно кому:

- Странно вот, когда на гармонике играют, я такую красоту чувствую...

Скинув действительно оказавшегося у него туза, Михаил с ненавистью поглядел на мечтательного уродца. Отчего-то ему вспомнилась голубизна Ольгиных глаз в ту первую ночь, когда одним словом «милый» она довела его, никогда не плакавшего, до лившихся беззвучно едких и сладких слез. Это было, впрочем, весьма кратковременным налетом. Минуту спустя, тасуя колоду и отведя в сторону свои печальные глаза, Михаил с ленивой любознательностью обратился к врачу:

- Вот вы скажите лучше, товарищ, если человек ничего, абсолютно ничего не чувствует, разве он в этом виноват?..

Герой демобилизуется

В январе тысяча девятьсот двадцать первого года, то есть вскоре после официального завершения гражданской войны, мы застаем нашего героя блуждающим по одной из татарских деревушек Южного берега Крыма, с тщетной надеждой раздобыть бутылку вина. Как ни были плодоносны таврические лозы, они все же не смогли удовлетворить жажду враждующих армий, перенесших последнюю решительную партию с прямолинейных проспектов Петербурга на этот благодатный приросток России. Жажда людей не уступала их озлобленности, и последним по счету победителям достались лишь опустошенные подвалы. Зато они могли пьянеть победой, не эпизодическим исходом одного сражения, но концом тяжелого тома истории, бледнеющими в водной мути, как призраки вымпелами угоняемых на невольничий рынок линейных кораблей. Это опьянение Михаил пережил сполна. Но теперь, в холодный октябрьский день, полный степного ветра, он искал другого хмеля, душного и теплого, как овчина. Ветер измучил его, отвратительный ветер, зимой требующий присоединения этого беззащитного края к мертвой ледяной державе, снегом или пургой бомбардирующий зябкие бегонии, летом же тошный, как полустанок среди степи, превращающий даже приморские убежища в огромную духовку, северный насильник, пристающий со своими скулящими песнями к неженкам розам. Кажется, если бы мог этот ветер, он заломил бы картуз набекрень и стал бы лускать семечки. К счастью, все это для ветра недоступные аттракционы. Что касается Михаила, то Михаил хотел вина. Ветер иссушил его душу. Татарские домики обдавали пришельца сложным запахом козлятины, шафрана и никогда до конца не разматываемых лоскутьев. Он попробовал прикрикнуть, но старые татарки, сидевшие на корточках, начали трястись, как безлистый кизил, обдаваемый описанным нами ветром. Вина у них и вправду не было, но они боялись за спрятанные подальше от рыжего шатуна не менее рыжие (вследствие хны) головки своих дочерей и невесток. От крика першило в горле, а ветер и тоска не утихали.

Наконец Михаил попал в дом, резко отличавшийся от других своей архитектурой, в нарядный коттедж, как бы перенесенный сюда с вересковых холмов Шотландии, - ведь чистота и комфорт, хотя бы примитивный, на юге всегда кажутся чем-то привозным. Увидев в первой же комнате, еще до встречи с хозяевами, большой портрет Льва Толстого, мудро занимающегося земледельческим трудом, Михаил понял, что ему предстоит объяснение с зазимовавшими - и не на одну зиму - дачниками. Тощая физиономия и веревочные туфли вышедшего на шум человека подтвердили эти догадки. Говорить о вине не приходилось, но, чтобы чем-нибудь мотивировать свой приход, Михаил произнес трафаретную фразу, являвшуюся тогда столь же распространенной, как в другое время «который час?» или «здравствуйте!»:

- Оружье имеется?

Человек усталым жестом предложил Михаилу обыскать дом, как уже обыскивали его много раз всяческие люди, обязательно заглядывавшие в погреб, где среди гнилой прошлогодней картошки попискивали крысы. Но Михаилу было не до обыска - в этот проклятый день он сделал не менее тридцати верст под жестоким ветром. Если нет вина, то остается сон, он один, как компресс теплотой, может смягчить режущую тоску. Лениво, для виду оглядев комнату, как будто в середине ее мог находиться припасенный пулемет, Михаил уже намеревался уйти. Но тепло помещения удержало его. А сонливость вполне заменила отсутствовавшее приглашение хозяев. Зачем ему идти в сырую школу, где товарищи спят вповалку, когда эта комната с кроватью кажется как бы нарочно созданной для ночевки? Остановившись, уже в дверях, он сообщил хозяину, что останется здесь до утра. Ни тощая физиономия, ни веревочные туфли не выразили, хотя бы малейшим движением, своего изумления или досады. Это тоже было в порядке вещей. Кто здесь только не ночевал: и врангелевцы, и буденновцы, и гвардейские офицеры, и политкомы.

Молчаливость этого философического хозяина плохо действовала на Михаила. Ничего нет тяжелее для человека, охваченного беспредметной тоской, чем непроницаемое нейтральное молчание. К молчанию хозяина успело присоединиться не менее угнетающее молчание вошедшей девушки, его дочери, светлой, безбровый и

привлекательной той особой северной чистотой, которой был полон этот пуританский коттедж, брошенный во всю неразбериху гражданской войны. Михаил решил во что бы то ни стало разорвать чересчур плотное молчание.

- Что ж, вы недовольны таким гостем?

- Нет. Почему же... Места хватит.

- Однако когда офицеры приходили, вы их, вероятно, полюбезнее встречали?

- Как кого. Это от человека зависит.

- При чем тут человек? Вы, собственно говоря, кто с классовой точки?

- Я писатель.

- Вот что. Очень приятно. О чем же вы пишете? О розах?

- О розах и о шипах. Вы находитесь в доме Федора Васильевича Тумакова.

Михаил достиг своего. Последняя фраза была произнесена утратившим всю свою непроницаемость хозяином не без гордости. Бедный Тумаков никак не мог свыкнуться с делом революционных лет, разрушивших, среди прочего, и его, хоть не бог весть какую, все же скромную и чистоплотную, вроде этого коттеджа, известность. Ему трудно было понять, что никто из этих молодых, чрезмерно самоуверенных людей, щеголяющих вчерашними погонями или же красными звездами, не читал, да и не мог читать, «Русского богатства» и «Вестника Европы», где лет этак двадцать тому назад печатались рассказы Федора Тумакова, полные передовых идей о тяжелом положении горничной, доведенной бесчестным бюрократором до детоубийства, или же о жажде знания у бедного незаконнорожденного юноши, повесившегося у запертых для него ворот московской альма-матер. Все это было так недавно! Идеи не могут устареть. Гуманные чувства бессмертны. Просто люди теперь сошли сума. И, увидав на лице Михаила недоумение, Тумаков саркастически забормотал:

- Тумаков Федор. Не слышали? Рассказы пописывал. Да, занимаясь войной, то есть истреблением равных себе существ, трудно уделять время литературе.

Михаил мог торжествовать - ему не только отвечали, его вызывали на разговор, притом крупный. Он, конечно, и не думал

увеливать.

- А на кой шут, спрашивается, ваша литература? Розы цветут? Я сам знаю. У меня, при всем моем пролетарском детстве, мать была... Я розу понюхаю с удовольствием и без вашего совета. А шипы?.. Так меня, извиняюсь за выражение, к такой матери засылали, что вы бы и придумать не смогли. Шипы ломать следует, а не рассказы об этом сочинять. Я вот сам стихами баловался. Это не путь, а наследство умирающего класса. Борьба вы должны, если у вас сознание. Снами или против нас. А вот сидеть в домике и розы слюнками поливать - это, позвольте вам сказать, гражданин писатель, свинство, розовое свинство!

Начав говорить со скуки, Михаил быстро оживился. Соппротивление, в виде иронической физиономии Тумакова, подхлестывало его. Он говорил теперь с мрачным энтузиазмом алхимика или вещателя. Девушка, равнодушно слушавшая спор, залюбовалась им. Под бушевавшим пожаром волос два угля жгли не шутя. Тумаков тоже разошелся. Он даже забыл, кто перед ним. Он спорил не с каким-то красноармейцем, реквизиравшим мимоходом удобную кровать, а с новым поколением, с революцией, с жизнью, горько обидевшей старого честного писателя. Тумаков, веривший во взаимную любовь людей, а также в английский парламентаризм как в таблицу умножения, сам теперь призывал к ответу беззаконное и безлюбное время.

- Насилием ничего нельзя достичь, молодой человек. Здесь начальные школы нужны, а не революция. Совершенствовать себя нужно. Ломать легко, а вот попробуйте построить что-нибудь. Я сам в свое время страдал за убеждения. В манеже сидел. Но мы о конституции мечтали, а не о Чека. Я гражданской войны не приемлю. Совершенно верно, я предпочитаю здесь, вот в этом доме, погибнуть от голода или от визитера, вроде вас, чем стрелять в своих же братьев.

- Ах вот как! Ну, такую услугу вам всегда можно оказать. Для подобного разочарования и пули не жалко. Но только, поверьте мне, в революции вы ни черта не смыслите. Можете хоть на меня посмотреть. Скажу вам прямо - я человек неважный... Хочется мне, конечно, очень многого, а пороку, откровенно говоря, разве что на скандальчик хватает. Я это великолепно сознаю. А кто меня в люди вывел? Революция. Я о чем думал прежде? Как бы дамочку

пошикарнее употребить. В «коты» метил. Меня революция до крика, до счастья дотрясла. В Октябре ранили меня. Жаль, что вылечили. Во мне тогда героизм был. Да и потом: как в сторону отходишь, так начинается баловство и мразь. Вот стишки, вроде вас, пописывал. Или - недавно это - оказался у меня месяц свободный, после сыпняка. Что же - немедленно развел пакость. С девушкой одной спутался. Тут-то я себя в настоящем виде показал. Меня за это следовало бы утюгом, а она по головке гладила: «мальчик». Ну, а революция - это другое предприятие. Та по головке не погладит. Чуть оступился - и в расход. Правильно! От этого и в ногу идешь. Революция, она воодушевляет. Поняли? Это как барабан - под него хоть тысячу верст пройдешь. Михаил Лыков, сам по себе, сопля в шинели. Ничего я не знаю. Не то что ваших жалких рассказиков, я и Карла Маркса не читал. А с революцией я весь мир могу перевернуть!

Голос Михаила уже перешел в пронзительный рев. Это была сумасшедшая исповедь, где каждый грех увеличивал для исповедника шансы оказаться под конец заколотым штыком грешника. Самооценка, пусть лапидарная, но достаточно резкая, шла не от сознания. Михаил не знал себя. За пять минут до этого он воспринял бы утверждение, что Михаил Лыков ничтожен, не только как оскорбление, но и как нелепость. Это было внезапным озарением. Короткие, жесткие, грубые фразы вылетали помимо его воли. Будь здесь вместо Тумакова какой-нибудь коммунист, дело могло бы для Михаила скверно кончиться: ведь он дошел и до истории с молочником. Не следует принимать это за наслаждение самобичеванием. Нет, различные унижительные детали были нужны Михаилу как фон для выделения всего могущества революции. Он задыхался от очевидности своей правоты. Как бы ни были горьки и страшны годы гражданской войны, они являлись жизнью, напоминая чудовищную шахту, где в тесных штреках, дыша едкими газами, теряя и зрение и радость, падая вниз, копошились сотни тысяч людей, добывая не нарядное золото, но черные неказистые глыбы, дающие тем, кто выше или моложе, свет и тепло. Правда, бессмысленная, нелепейшая правда войны, вечно осуждаемой и все же живучей, особенно наглядно ощущалась здесь, среди мертвечины этого коттеджа, рядом с физиономией Тумакова, своей желтизной напоминавшей старые страницы «Русского богатства». Физиономия эта теперь была покрыта рябью негодования.

- Ваши слова только подтверждают правильность моей позиции. Если революцию делают подобные вам мальчишки, не брезгающие при случае и молочником, ничего нет удивительного в том, что вместо Учредительного собрания мы получили Чека. Еще одна иллюстрация, и только...

- Стоп, гражданин! Может быть, я и сволочь. Это не вам судить. Если меня к стенке приставят, я первый скажу: «Поделом!» А революция тут ни при чем. Я на партийности моей только и держусь, как штаны на подтяжках. Почему я вам о молочнике рассказал? Потому что знаю - стыдно. А почему стыдно? Только из-за него, из-за билетика. Да не будь партии, я бы направо и налево... И не молочник какой-нибудь... А с партией я вот на Перекоп лез - умирать. Да вы этого никогда не поймете! Вы думаете, раз я пришел сюда и кровать вашу забрал, значит, я разбойник. Плевать мне на ваш семейный уют. Я не удовольствия, я подвига хочу!

Дойдя до этого хоть чрезмерно патетического, но, безусловно, в ту минуту искреннего восклицания, Михаил сразу осекся, как будто завод, двигавший его, кончился. Даже глаза его потухли. Прежняя тоска, дополненная злобой на этого желтолицего умника, которому он столько выложил и который все же его никак не понял, сменили недлительное возбуждение. Он едва слушал Тумакова, защищавшего теперь духовные преимущества своей нейтральной позиции. Начиная ненавидеть собеседника, он грубо оборвал его на какой-то особенно пышной сентенции.

- Вы мне скажите лучше, что это за штука ваш «нейтралитет»? Вот если к вам врангелевец заявится, вы его спрячете?

Тумаков ответил не сразу. Он понял, что теоретический спор становится опасным. Но, почитая больше всего на свете гражданское мужество старого народника, он ответил:

- Спрячу.

- А если это мерзавец какой-нибудь? Если он мосты взрывает или заговор устраивает, что же, вы и такого спрячете?

После новой паузы, тяжелой для обоих, а особенно для присутствовавшей при этом девушки, после паузы, напоминавшей часы в ожидании судебного приговора, последовало все то же:

- Спрячу.

Сознание Михаила ответило на это короткое слово столь же коротким: «В расход!» Его злоба по интенсивности далеко уступала былым дням, когда при эвакуации Киева он расквитался смертью за подсмотренную улыбку. Теперь это была лишь ленивая и усталая злоба. Однако она все же подсказывала Михаилу необходимость расправы. Наш герой дышал воздухом тех триумфальных, но и сугубо беспощадных дней. Конец гражданской войны превзошел ее самое жестокостью. Одни убегая, другие побеждая, напоследок спешили брать мрачные рекорды. Здесь было значительно больше от инерции движения, чем от подлинности несдерживаемых стихий.

Писатель Тумаков был спасен исключительно сонливостью Михаила, удержавшей его теперь от убийства, как она же удержала его от дезертирства. Не стащив даже сапог, он повалился на кровать. Засыпая, он успел лишь подумать: «Прикончу завтра». Гул ветра, проникшего в дом, залил его уши. Он уснул. Все это произошло на глазах у Тумаковых, ожидавших совсем иной развязки. Они ведь не догадывались о последней деловой мысли заснувшего Михаила. Они видели лишь трогательный, по-детски приоткрытый рот, всю беспомощность этого огромного ребенка, только что зло ругавшегося, теперь же помеченного подлинно нежной улыбкой сна. Нервная депрессия привела девушку к слезам. Тумаков, забыв о всех недосказанных аргументах, вдруг по-бабьи засуетился, стащил со своей постели одеяло и заботливо покрыл им непрошеного гостя.

Когда Михаил уснул, было не позднее восьми. Он проснулся ночью и не без удивления оглядел комнату, захоленную луной. Вчерашняя беседа и ее мрачное резюме им не были заспаны. Человека, который может, хотя бы и на словах, спрятать врангелевцев, следовало определенно ликвидировать. Здравое, вне азарта подумав об этом, он одобрил свое решение. Но тогда тощая физиономия и веревочные туфли стали назойливо метаться в его голове. Какое-то новое чувство открылось в Михаиле, настолько новое, настолько непонятное ему самому, что он сначала отнес его за счет своего сонливого состояния. Действительно, ни щедедушные щеки Тумакова, ни его столь же щедедушные рассуждения не вызывали больше в нашем герое злобы. Совершенно неожиданно для себя он подумал, что писатель стар и тощ, вероятно, скверно питается и скоро умрет. У Михаила все впереди. Он молод, он член РКП, следовательно,

победитель. А у этого что? Комплекты старых журналов, на которых нельзя даже супа сварить, дряхлое брюзжание, какие-нибудь болезни и, наверное, тоска. Хоть у Тумакова была другая профессия, он чем-то напоминал папашу. Тут только Михаил догадался, что неизвестное ему чувство - это жалость, первый чахлый росток жалости, показавшийся на мертвом поле гражданской войны, самой безжалостной из всех войн. Догадавшись о характере своего нового чувства, Михаил не порадовался и не устыдился, он принял его за нечто естественное, вытекавшее из самого положения.

Наш герой был прав. Известно всем, сколь сложен для государственного организма процесс демобилизации. К размещению безработных или к переводу заводов, выпускавших снаряжение, на производство плугов готовятся с тревогой, как к перерождению сосудов. Но газеты, разумеется, не могут заниматься молчаливым и малоприметным ходом душевной демобилизации граждан, вчера еще согреваемых коллективной ненавистью, а сегодня очутившихся в мире без врагов (кажется, более нам необходимых, нежели друзья), принужденных менять храбрость на житейскую выдержку, боевой задор на терпение. Это трудный и мучительный переход. Неясные чувства проснувшегося среди ночи Михаила были лишь частичными симптомами огромной психологической трансформации, охватившей страну. Статистика террора могла еще давать высокие цифры, но гражданская война, законченная официально, кончалась и в человеческих сердцах.

Михаил жил импульсивно, его чувства неизменно сопровождались какими-либо конкретными поступками. Еще не выработав никакого плана действий, он все же встал и направился в соседнюю комнату. Как всегда, его руки опережали мысли. Разбуженная топотом шагов, дочь Тумакова тихо вскрикнула. Последнее из ее сновидений было атавистическим: убегая от члена ревкома Хуссейна, она прыгала с ветки на ветку, пока не свалилась. Полет был бесконечно долгим, как будто под ней находились тысячи футов. Она хотела кричать - и не могла. Она вскрикнула, лишь проснувшись и увидав перед собой лицо фанатичного спорщика, которое, облитое лунной зеленью, казалось разложившимся лицом утопленника.

Испуганный вскрик обидел Михаила. Вечером он бы обрадовался ему, но теперь лирическая острота чувств жаждала иного. Сам того не понимая, он требовал от других людей аккомпанемента своим весьма изменчивым настроениям, и фальшивые ноты его оскорбляли. Он даже сам несколько сбился тона и проявил раздражение.

- Напрасно вы испугались. Я не за вашими сокровищами пришел. Ко мне женщины сами липнут - чувствуют мою душу. А вы мне и не нравитесь вовсе. Запрели вы здесь с вашим нейтральным папашей. Рекомендую поступить на советскую службу. А брови отрастить тоже не мешает, говорят, имеется для этого какая-то притирка. Впрочем, мне наплевать. Я не за этим. Вот только вам придется сейчас захватить папашу и выйти погулять.

Девушка окончательно проснулась. Приглашение было отнюдь не двусмысленным. Расправа, предчувствуемая вечером, теперь становилась реальностью. Их вели на расстрел. Мало ли имелось в те годы для этой трагической прогулки галантных псевдонимов: «в расход», «в употребление», «в штаб Духонина», «к Николаю», «поддержать стенку», «выйти в тираж», «подлить свинцу», «крестить жиды». Забыв о себе, она успела только подумать, как отец будет шагать по мокрой глине, и разрыдалась. Упав на колени, она тщетно пыталась поймать сумасшедшую неуловимую руку Михаила.

Наш герой ответил на это меланхолическим вздохом.

- Напрасно вы стараетесь. Меня разжалобить нельзя. Для этого у меня ни окон, ни дверей нет. Да только я не собираюсь вам ничего плохого сделать. Я даже спасти пришел вас. Сами знаете, время у нас еще жаркое. Папаша ваш, тот прямо мне сказал, что он любого мерзавца готов приютить. Ну, а такое, с позволения сказать, гостеприимство совсем не по сезону. Мне бы следовало его определенно устранить. Но только и я человек, черт вас всех возьми! Вы думаете, мне не скучно в расход людей пускать? Одним словом, сейчас же вылетайте отсюда, и куда-нибудь подальше! Голова у меня ненадежная. Кто еще знает, какое на меня утром настроение найдет? Сейчас мне вот жалко его. Худой он, подлец! Вас не жалко. Вы еще молодая. Можете оторваться от своего класса, стать партийной, жить можете. А ведь он со своими рассказиками чистая дохлятина. Ну и жалко. Марш отсюда. Раз-два-три!

Жалость была для Михаила столь затруднительным в своей новизне состоянием, что, произнеся эту речь, он почувствовал сильнейшее утомление. Не глядя на девушку, он прошел назад к своей кровати и немедленно уснул. Когда он вторично проснулся, было уже утро. Северный ветер сменился теплым, морским, и природа этого края, привыкшая быть цилиндром в руках опытного фокусника, засыпала нашего героя неожиданным солнцем, запахом мимоз и птичьим верещанием крохотных татарчат. Вечер и ночь с минуту повоевали в сознании Михаила, причем оставалось невыясненным, кто же победитель. Это было предоставлено простой случайности. Михаил обошел внимательно все комнаты, заглянув даже в погреб с картошкой. Тумаковых не было, они мудро последовали ночному совету гостя. Судьба писателя была, таким образом, решена помимо утренних настроений Михаила.

Он шагал по присыхающей глине. Солнце его не радовало. Да и ничто не могло бы сейчас его обрадовать. Он был пуст, как будто его выпотрошили, и эта пустота рождала неуверенность в слишком уж легких шагах, и слишком теплом для месяца ветре, во всем. Он переживал конец войны, не ее победный и, следовательно, радостный исход для своего дела, но томительность предстоящей свободы. Внешне, разумеется, партия найдет для него хорошее, трудное, исключаящее опасные досуги занятие. Но откуда взять пафос, равный буре, повалившей перекопские стены пафос для повседневной канцелярской суеты в каком-нибудь плавке? У него отнимают винтовку. Чем он ее заменит? Невежеством можно было, да и то до поры до времени, кокетничать перед собесовскими фребеличками. А для новой жизни нужны знания. Сейчас вот все газеты полны дискуссий о профсоюзах. Дискуссия - это слово бодрит, в нем температура боев. Но Михаил не может ринуться вперед, он даже не знает, что такое «демократический централизм». Он очутился в хвосте ничтожным членишкой, при всей несправедливости этого, он, бывший на фронте почти два года, награжденный орденом Красного Знамени, окажется в бессловесном подчинении у такой дуры, как эта дочка писателя, если только ей вздумается войти в партию, у любого интеллигентика. Вместо триумфальной арки его ждут прозябание и скука.

Сердце Михаила билось очень медленно, ничем не подхлестываемое, как бы сомневающееся в нужности этих редких, ленивых толчков. Ему предстояло просто жить, а это так же скучно, как просто гулять, без цели, без дела и без выпивки. Своими сомнениями и тоской он вторил всей стране, переживавшей эту нелегкую зиму, с ее нарушенным кровообращением, закончившимся кронштадтским нарывом. Желчность разоблачаемых жизнью иллюзорных достижений, потребность в первичных удобствах (если удобством можно назвать фунт ржаного хлеба), строительный зуд в руках и одновременно послепраздничная тошнота, разгон последней Сухаревки для немедленного утверждения коммунизма и уже первые черновые мысли о нэпе, вся радость и тоска наступавшего успокоения в ту зиму прерывали дыхание и сводили судорогой Россию.

Михаил отчетливо зевнул и, увидев на крыше голубя, отправил пулю, не достигшую писателя Тумакова, в крохотное голубиное сердце.

Он был демобилизован.

Учение - свет

Среди артемовцев, великолепно усвоивших эту на редкость благонамеренную из русских поговорок, Михаил все же умудрился стать первым по своему исключительному рвению. Прежде всего, однако, следует разъяснить тем из наших читателей, которые не имеют никакого отношения ни к городу Харькову, ни, в частности, к его просветительным начинаниям, что такое «артемовцы». Конечно же, это не секта последователей брата нашего героя, Артема Лыкова. Нет, артемовцы - это то же, что в Москве свердловцы, а в Ленинграде зиновьевцы, то есть учащиеся комвуза имени видного большевистского деятеля тов. Артема. Чтобы попасть в означенное заведение, нужно, кроме партийного стажа, обладать удачливостью, ибо сочетание коммунизма с высшими знаниями представляет немалую приманку. Что же, после стольких испытаний Михаилу повезло: он попал в светлые аудитории бывшего коммерческого училища. Он мог, таким образом, отдался ковке нового оружия, взамен винтовки, из которой напоследок был убит ничтожный голубок, оружия достаточно боеспособного, чтобы, толкая вперед дело, и самому не застрять в обозе, но продолжать выдвижение, столь удачно начатое орденом Красного Знамени. Его двадцать два года позволяли на многое надеяться.

Как повстанцы с голыми руками кидаются на щетинистые подступы арсеналов, наша страна, едва кончив воевать, кинулась на библиотечные форты, на учебники политической экономии или электротехники, на начальную арифметику и на гегелевскую диалектику, на курсы агрономии и на третий том «Капитала» - на все эти Перекопы, обвитые проволокой непонятных терминов, минированные темнотами семи гимназических классов и тридцати веков культуры.

Пусть злопыхатели, любящие попрекать свой народ тем, что победоносным походам республиканских генералов Французской революции он смог противопоставить лишь усмирение десятка доморощенных Вандей, подумают о величественности этого штурма. Народ, в раже садящийся за парту, - разве это зрелище не превосходит

все Аустерлицы истории? Иностранцы ученые, пораженные трудами своих русских собратьев, совершенным в годы отороженных рук и тухлой конины, могли бы помножить это законное изумление на число жителей СССР, ибо между академиком Павловым, склоненным над рефлексами, и каким-нибудь отнюдь не нарицательным Ивановым, потрясенным чудом образования из таинственных значков реальных наименований, мы не видим существенной разницы.

Мы можем с гордостью подтвердить, что не витрины ювелиров, но публичные лекции - безразлично о чем, о коллективном инстинкте муравьев, о проблеме любви с точки зрения научного марксизма, об австрийских социал-предателях, о межпланетном сообщении, - требовали удешевленных нарядов милиции. Вузы впитали в себя такое количество юношей, что их пришлось разгружать, как города. Книжки библиотек стирались и разлетались серой пылью. Не доверяя больше ни попам, ни комиссарам, бородатые сельские хозяева налегали на философские проблемы. Учились сами, учили друг друга, учил и своих детей, а также родителей, учились до отупения, заучиваясь и переставая понимать простейшие вещи. После разоблачения грозы, оказавшейся проделками не пророка Ильи, но какого-то электричества, ждали особого разъяснения дождя, наверное же происходящего не от чересчур примитивного накопления туч. Сколько рабфаковцев заболело от чрезмерных занятий, об этом знают наши психиатры. Героическая эпопея - и не походом на Варшаву займется российский Гомер, но исторической осадой знания, осадой, имевшей свои жертвы, свои подвиги и свои безумства.

Как бы ни относиться к нашему герою, нельзя отрицать одной присущей ему добродетели: редкостной рьяности. Попав в здание Коммунистического университета, он, конечно, не стал заполнять аудитории позевыванием. Нет, вцепившись в горло горячки науки, Михаил снова показал всю свою одержимость. Кажется, ни один влюбленный не мог бы дойти до ночных безумствований Михаила, кидающегося на теорию прибавочной стоимости. Программа занятий, при всей ее громоздкости и сложности, не удовлетворяла его. Прежде всего это была программа для всех - границы ее являлись установленными границами знаний, необходимых для добросовестного партийного работника. Наверное, вожди, чьи портреты красуются в аудиториях, знают много больше. Находясь

весьма далеко от этих границ, ровно ничего не зная, Михаил уже их ненавидел. Они как бы являлись барьерами в его грядущей карьере. Он набирал груды книг из библиотеки, стараясь таким образом урвать нечто, превышающее общий паек. Заподозривший однажды чекиста в саботаже, он подозревал теперь всех профессоров (коммунистов чистой воды) в том, что они скрывают от слушателей какие-то важнейшие знания. Один из них дал общую, весьма нелестную характеристику идеализма. Михаил этим не удовлетворился. Он засел за «Историю философии» Куно Фишера. Это отнюдь не являлось попыткой усомниться в правильности узаконенного мировоззрения. Нет, Михаил сразу почувствовал, что идеализм устарел, не по времени, да и не по нему. Но, жадничая, он хотел запастись всеми аргументами против идеалистов - пригодится! Прочитав тридцать страниц, он забросил идеализм, потому что необходимо было приняться за электротехнику. Разве Ленин не сказал: «Коммунизм - это советская власть плюс электрификация»? Будущность инженера, электрифицирующего страну, показалась ему наиболее обольстительной. Но здесь требовалась длительная выучка, а число часов в сутки, как бы ни переставлялись стрелки, оставалось неизменным в своем консерватизме. Электричество пришлось также оставить, тем паче что волнения в Германии и в некоторых других странах подсказывали всю важность изучения иностранных языков. На первом месте стоял, разумеется, немецкий. О событиях в Силезии и Вестфалии кричали все харьковские заборы. Но Михаил заметил, что его сотоварищи - по большей части евреи - как-то сразу понимают этот язык. Пока Михаил их догонит, успеет произойти не одна революция. Английский? Но из отчетов Коминтерна явствовало, что в англосаксонских странах капитализм отличается максимальной устойчивостью. Михаил вычитал где-то, что испанский язык, обыкновенно презираемый как язык мертвых армад и «карменистых» брюнеток, на самом деле является языком перворазрядным, на котором говорит вся Южная Америка. Он стал докучать профессорам вопросами о мексиканской нефти и о сельском пролетариате Аргентины. Он решил заняться изучением испанского языка, но наткнулся на неожиданное препятствие: во всем Харькове не оказалось самоучителя. Михаилу предложили вместо грамматики сочинения святого Хуана дель Круза. Это никак не подходило. Мысль

о коммунистической миссии в Южной Америке пришлось, не без сожаления, отбросить, сохранив в памяти несколько туманных фраз о приисках Мексики и еще известное головокружение от одного упоминания о странах, остающихся обетованными для всех авантюристов и мечтателей мира.

Блуждая в поисках побочных знаний, Михаил все же успевал плотать, хоть часто и не прожевывая, курсы своего вуза. Учебное невозддержание сказалось прежде всего на его здоровье. Гражданская война для его тела была благотворным курортом. За зиму, проведенную в Харькове, он успел потерять и загар и силы. Его прирожденная нервность очутилась теперь в благоприятной атмосфере. По ночам Михаила доводили до бешенства головные боли. Его верхняя губа вышла из подчинения, время от времени начиная негодующе подпрыгивать. Этот тик со стороны казался не болезненным явлением, а эффектной гримасой. На заносчивом и без того лице Михаила он был курсивом вызова и презрения. Нервность и слабость пугали Михаила. Как очень многие, не боясь смерти в виде пули или осколка снаряда, он терялся перед хитроумными происками болезни. Ночная мнительность, напоминая ему о возможности быстрого сгорания, наполняла и его дни особенной спешкой, лихорадочной жадностью. Кроме этих патологических отступлений, спешка диктовалась и всеми навыками поколения, у которого месяцы шли за годы. Пять лет, для дореволюционного студента одновременно и длительные и мимолетные, как летний день на даче, не для одного Михаила, но и для всех его сверстников казались эпохой, которую не каждому удастся пережить, эпохой, способной не только стереть какую-нибудь малюсенькую жизнь вузовца, но и заново перерисовать очертания материков.

Михаил минутами начинал сомневаться в осмысленности своих занятий. По пути к знанию им было пройдено ровно столько, сколько нужно для того, чтобы увидеть обманчивые размеры предмета и свою от него отдаленность. Он узнал теперь отчаяние путника, поднимающегося к неизвестному ему жилью, который, думая, что он уже подходит к цели, вдруг замечает высоко над собой бесконечные строчки все той же крутой тропинки. Однако он еще боролся с этим чувством как с малодушием.

Все лекторы, наезжавшие той зимой в Харьков, получали записочки от Михаила. Он не пропустил ни одной лекции. Со скандалом пробирался он в первые ряды. Если милиция подкрепляла кулаками контроль, на требование билетов он отвечал возмущением: «Я на фронте кровь лил!», а если и это не действовало, начинал петь перед шалеющими от непонятности ситуации и на всякий случай козыряющими милиционерами «Интернационал». Сопровождала его повсюду самодельная тетрадка, сделанная из каких-то анкетных листов, подобранных в канцелярии. На правой стороне ее значилось: «Владели ли до 1917 года недвижимым имуществом?», или озадачивший бы даже самого Кандида вопрос: «Какой партии сочувствуете?», как будто анкеты предназначались специально для самоубийц. На левой стороне Михаил записывал конспекты лекций. Там можно было прочесть: «Тяжелая индустрия Германии, не заинтересованная во внутреннем рынке, настроена непримиримо», «Футуризм - фактически буржуазная вылазка против нового содержания», «Ассоциация по смежности у собаки вызывает зачастую слюну», «Тов. Коллонтай, говоря о любви, забывает, что центр тяжести в красной физкультуре» и тому подобные записи. К лекторам Михаил относился еще более подозрительно, нежели к своим вузовским профессорам. Он считал их всех оптом шарлатанами и идеалистами, то есть заядлым и контрреволюционерами. Он их обстреливал инквизиторскими вопросами: «Сколько вы, товарищ пролетарий, получаете за лекцию?», «Что вы фактически делали в Октябре?», и будь лекция посвящена эйнштейновской теории относительности, все равно: «Почему вы ничего не говорите о мировой революции? Не нравится?» Кроме этих биографических справок, он требовал полного удовлетворения своей любознательности. Лектора, читавшего об евгенике, он запрашивал, что такое омоложение, другого, посвятившего свою лекцию «загадке Атлантики», он закидал вопросами о матриархате. Что делать - он хотел все знать. Неизвестное оскорбляло его, а времени было мало.

Одуревая от книг и конспектов, он изредка позволял себе роскошь читать, по его словам, «пустую брехню», то есть романы. Но даже над ними он не отдыхал. Восторженное мычание маленького Мишки, рожденное когда-то арией Кармен, не имело продолжения в дальнейшей его жизни. Поскольку наш герой показателен для своей

эпохи, пессимисты, утверждающие, что искусство переживает теперь тяжелые, а может быть, и предсмертные часы, найдут в его чувствованиях новое подтверждение своей теории. Нельзя сказать, чтобы Михаил вовсе не любил искусства, нет, иные пьесы, иные книги, чаще всего фильмы, увлекали его своей находчивостью. Он преклонялся перед трюками в искусстве как перед спортивным рекордом или перед остроумным мошенничеством. Это было, конечно же, чувством, весьма далеким от лирического умиления. Романы вызывали в нем житейские соображения. Он презирал неверные шаги неудачников, а успехам героев, находившихся под покровительством фортуны и автора, откровенно завидовал. В этом отношении для него не было никакой разницы между Достоевским и Шерлоком Холмсом. Кроме того, и книги и театр ему порой помогали разобраться в себе. Читая «Преступление и наказание», он немало издевался над Раскольниковым за мелкую кость его амбиции (очевидно, забывая об истории с молочником). Он ощущал все превосходство человека, желающего, как и Раскольников, взлететь высоко, но выбирающего для этого не детский шарик банального преступления, а безукоризненный мотор великого исторического события. «Саломея» напомнила ему историю с Ольгой. Хотя умом он и не понимал этой бессмысленно воющей бабы, захотевшей если не живого любовника, то, по крайней мере, его ни на что не годную голову, но сердцем он чувствовал, что это темное хотение родственно ему, что, более того, он предпочел бы в своих любовных делах мертвые головы, то есть статистику побед, живым женщинам, с которыми приходится разговаривать и даже целовать их. Вскоре после этого спектакля и вызванных им мыслей Михаил случайно на улице встретил Ольгу. Он не сразу узнал ее, в чем было повинно, гораздо более изменившегося от пережитой разлуки лица Ольги, его страстное отталкивание от своего прошлого. Он умел думать только о предстоящем. Военные похождения и те казались ему теперь достойными исключительно снисходительной улыбки, как детские проказы. Разумеется, Ольгу он помнил как эпизод своей жизни, но голубизна ее глаз уже являлась незначительной и запаянной деталью. Ольгу подобная встреча потрясла более, чем все его прежние выходы и оскорбления. То можно было, при желании, объяснить душевным изворотом. Вид Михаила, сначала не узнавшего ее, а потом безразлично с нею

поздоровавшегося, не допускал никаких снисходительных толкований. Ольга почувствовала, что Михаилу нет, да и не было до нее никакого дела, что за жестокостью его ласк стояла не темная страсть, не ревность, но скука, изобретательная скука бесчувственного человека. Это открытие было страшным. Однако даже оно не смогло побороть любви. Поэтому, когда Михаил сказал: «Нам по дороге», - она безропотно наклонила голову и пошла рядом с ним. Михаил отправился проводить Ольгу, а затем и поднялся с ней в хорошо знакомую ему кухню, влекомый не лиричностью воспоминаний и не чувственной страстью, но исключительно самолюбием. Ему было совершенно необходимо рассказать Ольге о своей новой интеллектуальной карьере и, заняв место на знавшей его позор табуретке, уже не слушать, но рассказывать. При напряжении он мог теперь разговаривать по-интеллигентски, изредка только выдавая свои трудности чрезмерным употреблением словечек вроде «гипертрофия», «экспериментально» или «констатировать». Любуясь собой, он сообщил Ольге о перспективах революции в Персии и об опытах профессора Штейнаха. Он посвятил ее в свои надежды: он должен использовать передышку для приобретения знаний, чтобы стать потом партийным вождем или крупным спецом. Все это заняло не менее трех часов. Пропустив мимо ушей и омоложение, и карьеру Михаила, Ольга всецело предалась бесплодным попыткам победить в себе ненавистную ей самой любовь. Она издевалась над своими чувствами: «Бабская блажь!» Она давала себе бессмысленные обещания немедленно порвать с ним. Наконец Михаил почувствовал усталость, даже хрипоту. Он встал. Корректурa проделана. Образ нового, полного идей Михаила поставлен на место грубо буянившего Михаила-красноармейца. Прощаясь, он случайно оказался в тесном пространстве между двумя дверьми прижатым к Ольге. Нужно сказать, что, предаваясь до умоисступления учению, Михаил пренебрегал всем прочим. В то время как его товарищи-артемовцы сходились и с артемовками (что еще могло сойти за общность идеологии) и с беспартийными мещаночками, кокетливо щебетавшими: «Ах, вы коммунист, какой ужас!» - и получавшими за беспартийность своих чувств различные коммунистические услуги, как то: рекомендации, пропуска и билеты, Михаил вел образ жизни аскетический. Тело его, однако, хоть и изнуренное, не могло

удовольствоваться лекциями. Теперь, между двумя дверьми, почувствовав теплоту чужой жизни, оно неожиданно напомнило о себе. Не задумываясь, Михаил вернулся в кухню и прилежно обнял Ольгу. Он был на этот раз безупречно корректен, как английский лорд, имеющий дело со своей супругой. Ни одним жестом он не оскорбил Ольгу. Его ласки отличались непонятным лаконизмом, деловой фантастикой, напоминая советский укороченный лексикон. Это был ряд механических движений, почему-то необходимых, но ни в какой мере не затрагивающих человека. Кончив же, он встал, оправился перед зеркальцем и, желая до конца проявить свою воспитанность, перед тем как уйти, поцеловал руку Ольги.

До этого деликатного поцелуя роль Ольги, как и всегда, была пассивной. Она напрасно попыталась в минуту первого вступительного объятия вспомнить о своем недавнем решении порвать с Михаилом, чтобы тотчас предать себя всецело на милость его утонченных и вместе с тем обезьяноподобных рук. Она опомнилась лишь от этого последнего, столь изысканно вежливого обряда, чтобы, вся дрожа от боли, броситься в угол. Не умея еще перевести на язык укоров свои чувства, она только бессмысленно бормотала:

- Ты что ж это... уходишь?..

Глупость вопроса, да и всего поведения Ольги, вызвала нотацию Михаила.

- Разумеется, ухожу, а не прихожу. Кажется, сама видишь. У меня в шесть практические занятия. Вообще, должен тебя поблагодарить за все, но в твердые отношения я сейчас вступить не могу. Половые эмоции - яд для человека, занятого умственной работой. Ты вот, прошлой зимой, мне часто говорила о своей любви. Очень хорошо! Если любишь, то ты должна избавить меня от подобных свиданий. Мне необходимо работать. Ясно?

- Ты... негодяй!

Наш герой не ответил руганью. Он не кинулся на Ольгу. Только тик, удачно придававший вящую презрительность его лицу, указывал на некоторое волнение.

- Ты так говоришь потому, что завидуешь мне. Ты путешествовала, читала - словом, в свое время ты жила. Теперь ты что? Старая самка. Вся твоя жизнь, извиняюсь, у тебя под юбкой. А я

живу. У меня теперь тысячи интересов. Вот и завидуешь... Впрочем, я только констатирую факты. Откровенно говоря, мне тебя жаль. Повалит ли тебя мужчина или не повалит, от этого вся твоя жизнь зависит. Желая привести чувства в порядок. А мне пора на практические. Пока!

Это «пока», в процессе американизации чувств и обкорнания языка ставшее тогда излюбленной формулой расставания, должным образом завершило речь Михаила. Он не прощался навеки, он и не напоминал о желательности нового свидания, он покидал Ольгу «пока», пока она ему снова не потребуется. Ни «негодяй», ни «мальчик» теперь уже не могли на него подействовать. Двадцать минут спустя он сидел над статистикой.

Визита к Ольге он не повторил. Он по-прежнему отдавался занятиям. Но перебои все чаще прерывали ровный ход лекций и книг. Все чаще он стал задумываться: верный ли путь выбрал? Не залез ли он снова в сторону от живой жизни, как это было с левыми эсерами или со стихами о пастушках? Учение требовало определенно не недель, даже не месяцев, а длительных лет. А интенсивность жизни не ослабевала. Если другие кинулись на книги, это понятно. Что же им было делать? Но в процессе накопления знаний, в этом систематическом и медлительном процессе Михаил лишен возможности проявить всю исключительность своей натуры. Значит, он взялся за чужое дело. Все, что привлекало его прежде, будь то политическая борьба, искусство или фронт, было открытым для гениального налета. Здесь же что он мог урвать? Еще десять лекций или сто книг. Недостойная мелочь! Человек просит грушу, а ему предлагают крохотное зернышко: посадите и терпеливо дождитесь, пока вырастет дерево.

Такого рода соображения все чаще и чаще врывались в усталую голову Михаила. Вопрос стал ставиться во всей широте - не бросить ли нудную, бессмысленную учебу?

Еще одна кожа была сношена. Но так как вместо нее не имелось никакой другой, то до поры до времени она еще продолжала придавать Михаилу вид честного вузовца. От прежней ревности не осталось и следа. Он дремал на лекциях. Если же он их посещал, то только ради отметок, предохранявших его от различных

неприятностей, вплоть до снятия с довольствия и даже «вычистки» из партии.

Решающим явилось одно, само по себе малозначительное, знакомство. Как-то, лениво позевывая в своей вузовской библиотеке, Михаил увидел весьма плюгавого человека, распекавшего библиотекаря:

- Это же, товарищ, даже неприлично. У вас комвуз - и вдруг нет такой важной книги. Я сообщу об этом в центр.

Последняя, чисто хлестаковская, фраза заставила заведующего библиотекой меланхолично вздохнуть. Плюгавый, видимо, знал, как с кем обращаться. Развязностью он великолепно искупал и свой низенький рост, и редкую невыразительность физиономии. Он продолжал скандалить, требуя книги о Персии. Наконец для него раздобыли толстый том «Жизнь народов», оставшийся по наследству от библиотеки коммерческого училища (из тех, что «с многочисленными иллюстрациями»). Через пять минут негодование приезжего, однако, снова вылилось в буйное обличение местных порядков.

- Удивительно! Я здесь проездом Я не могу ждать. В партклубе нет. В публичной библиотеке нет. Прихожу в комвуз, мне дают книгу о каких-то свадьбах. «Шииты»! Я вас спрашиваю, какая численность индустриального пролетариата, а вы мне суете кишмиш! Это же черт знает что!

Михаилу стало прежде всего обидно, что какой-то чужой субъект позволяет себе шуметь в библиотеке его вуза.

- Товарищ, попрошу вас потише. Здесь, кажется, не улица. Ясно?

Жесткость тона, а может быть, и всего облика произвела на скандалиста должное впечатление. Он принес извинения, объяснив свою неводержанность нервным переутомлением, и не без робости спросил Михаила, может быть, тот знает какой-нибудь справочник, заключающий хотя бы самые общие данные о перспективах коммунизма в Персии. Знаменитая самодельная тетрадка находилась при нашем герое, и, порывшись в каракулях, Михаил с явным удовольствием изложил приезжему, отрекомендовавшемуся товарищем Либкиндом, наиболее существенные места из лекции некоего московского профессора. Он говорил, а Либкинд записывал. Закончив перечисление всех грехов британского империализма, к

которым для вящего эффекта даже припутал Месопотамию, Михаил решил полюбопытствовать, кто его слушатель и для какого именно уездного горклуба ему потребовались эти сведения. Может быть, на очереди «неделя пропаганды», посвященная нашей восточной политике? Но Либкинд конфиденциально, как только и может говорить один ответственный работник с другим, сообщил Михаилу, что назначение в тегеранское полпредство застало его врасплох. Бывает. Недочеты механизма. В общем, это не так уж плохо. Он кое-что почитает в дороге. На месте осмотрится. Главное - воля...

Рассказ Либкинда показался Михаилу и неправдоподобным и прекрасным, как сказки Шехразады. Остатки трезвости родили последний вопрос:

- Вы что же, персидским языком владеете?

- Нет. Но что это такое, когда у нас замечательные переводчики. Я говорю вам, главное - не растеряться...

Кретин Михаил, разве он не потратил неделю на поиски испанского самоучителя! Разве не потратил семи месяцев на бесполезные лекции! Воля! Это воля вела его в Октябре. Она одна сорвала орден. Михаил с видимым волнением, прощаясь, пожал потную хилую руку товарища Либкинда. Этот мелкий пройдоха, смертельно надоевший всем сотрудникам Наркоминдела, от Чичерина до курьеров, одно появление которого рождало панические возгласы: «Спасайтесь! Либкинд идет!», в итоге выклянчивший местечко младшего делопроизводителя полпредства, показался нашему легковерному герою мудрейшим наставником.

Ночью он попробовал было раскрыть учебник русской истории. Лет тысячу тому назад удельные хамы ссорились друг с другом. Михаил впал в беспамятство. Он бросил книгу на пол и принялся топтать ее. К черту! В Москву! В Москву, где так называемые «недочеты механизма», на местах способные лишь калечить обывательские сутки, рождают великолепные нелепости, превращая товарища Либкинда в вождя иранского пролетариата! Они выдвинули и Михаила на вождьеленный аванпост. В Москву!

Скорее в Москву!

Мы предостерегаем читателей, способных заподозрить Михаила в обычном карьеризме. Наш герой не искал ни спокойной жизни, ни довольства, ни даже склоненных почтительно голов. Он пошел бы на

самую опасную работу. Если б его послали курьером Коминтерна в Бессарабию, мы убеждены в этом, он был бы счастлив. Схваченный румынской сигуранцей, он скорее бы умер, чем выдал своих товарищей. Он стосковался не по уютной жизни (ее он и не знал), но по бенгальскому огню романтики, к которому, подобно многим, успел пристраститься за годы гражданской войны. Он топтал книги. Он презирал эту беспроектную лотерею. Он хотел идти на авось.

На следующее утро он направился к Ольге. Это не было потребностью в объятиях. Напротив, боясь разрядить чем-либо свое напряжение, он пошел в столовку, где обстановка исключала возможность перехода к поцелуям. Он пошел к Ольге, ибо с товарищами не дружил, Артема не было, а чувства во что бы то ни стало требовали выражения. Не здороваясь, не взглянув даже на нее, он угрюмо зашептал:

- Учиться - хлам! Для баранов. Разве твоя ученость чего-нибудь стоит? Мертвечина! Я жизни хочу! Понимаешь, умереть мне хочется. Уеду в Москву. Может быть, там выбьюсь в герои. А нет - к стенке. Это тоже мое место. Не университет... Я проститься пришел. Хорошо, что здесь люди, не то бы я, чего доброго, задушил тебя. Я вот все книги изорвал. Прямо с ума схожу. Дрожу даже... Это перед тем, как прыгнуть. На плакатах видала: «Из царства необходимости в царство свободы»? Ясно? Ну, мне пора...

Остальное, то есть обработка вузовского комиссара и секретаря парткома, принимая во внимание энергию Михаила, было недлительным делом. Через три недели он шагал с Курского вокзала на Остоженку. Это было триумфальным шествием. Проходя мимо Красных ворот, он принял их за соответствующую арку. Но возле Кремлевской стены, где на солнце и под дождем линяют венки на могилах октябрьских героев, он остановился. Прерывистость его дыхания подчеркивала лирический характер этой остановки.

Новый человек и бывшие люди

Переход от всякой крайности, будь то Сицилия, где объем домов съеден светом, где мозг, размягченный зноем, как асфальт, болезненно воспринимает любое движение, где напрасно пытается человек дымчатыми очками и соком дряблых лимонов ослабить смертельные укусы древнего дракона, будь то тундры Лапландии с упрощением пяти человеческих чувств, с жизнью, сведенной к поддержанию скудного животного тепла и сжатой, подобно ртути градусника, - переход от этих, может быть, и увлекательных, но все же чрезвычайно мучительных крайностей к умеренному климату Центральной Европы неизменно радует нас. Наросты кактусов не раз прельщали художников. Наравне с песками Сахары полярное сияние давно вошло в хрестоматию романтизма. Однако вызревание пшеницы и различные процессы, с ним связанные, являются надежнейшей базой для нашей, по существу умеренной, цивилизации.

Как бы мы в качестве поэта (то есть едва терпимого в организованном обществе существа, которое иные из особенно энергичных радетелей неоамериканизма предлагают теперь начисто ликвидировать) ни любовались различными живописными деталями Михаила Лыкова, со столь неимоверной легкостью меняющего героизм на подлость, все же не скроем, что, переходя сейчас к его более уравновешенному брату, мы испытываем известное облегчение. Мы достаточно тверды в азах политграмоты, чтобы понимать естественные интересы общества. Конечно, в некоторые кратковременные периоды энергия Михайлов, умело использованная, может содействовать социальному прогрессу. Но не их порывистыми руками строится государство.

Если при одном упоминании об Артеме мы невольно переходим на язык передовиц, то исключительно потому, что богатство этого человека (как и многих его сверстников) состояло в откровенном и потрясающем убожестве так называемой «личной жизни». Говоря о нем, приходится говорить о конференциях, о борьбе с бандитизмом, о восстановлении советской промышленности, обо всем о чем угодно, только не о тех живописных казусах, которые оживляют главы любого

романа. Если даже указать, что Артем сперва был политкомом N-ского полка, проделавшего всю кампанию против белополяков, что затем он работал в Гувузе и, наконец, поступил в военно-химическую академию, вряд ли это удовлетворит любопытство читателей, напоминая скорее страницу истории революции, нежели биографию человека. Ничего не поделаешь - для того чтобы стать героем романа, Артему надлежало перестать быть просто героем и, последовав примеру младшего брата, оживить свои дни изнасилованиями, кражей, сентиментальными слезами или дебошами самодура.

Варьируя известное изречение, мы осмелимся сказать, что у хороших коммунистов нет биографии. Артем же был образцовым коммунистом. Его чувства и поступки диктовались не инструкциями, но коллективной волей, пусть бессловесной, однако осязаемой волей, строящей муравьиные кучи, треугольники журавлей, циклопические сооружения и новое общество. Нам достаточно знать факт и отношение к нему десяти коммунистов, чтобы безошибочно угадать, как был он воспринят одиннадцатым, то есть в данном случае Артемом Лыковым.

Устанавливая этот ущерб индивидуального начала в Артеме, во многих и многих Артемах, мы далеки от осуждения. Средневековым поэтам нравились женщины узкотазые и мелкогрудые. Люди Возрождения, наоборот, все свое предпочтение отдавали вполне развитым формам. Чтобы оценить силу и даже привлекательность Артема, надлежит прежде всего переменить свою позицию.

Мы все хорошо помним заповедь романтиков: делай лишь то, чего не могут сделать другие. Культ оригинального, жестокий культ, сколько пророков и захолустных телеграфистов испепелил он! Артем же делал только то, что делали все. Мысль отличительная, другим не присущая, казалась ему ничтожной и недостойной выражения. Стоя в ряду, он больше всего боялся одного шага, может быть и выделяющего как-нибудь человека, но зато уничтожающего стройность и точность фигуры. В минувшем столетии он бы расценивался как существо отсталое. Автор той эпохи, пожалуй, спешно отослал бы такого героя в какую-нибудь заштатную канцелярию, украсив его ухо гусиным пером, а всю физиономию кретинической улыбкой. Мы же видим в Артеме превосходного и заслуживающего всяческого уважения представителя нового жизнестроительства. Конечно, многие критики

не поверят нам. Для того чтобы Артем был живым, скажут они, необходимо показать его теневые стороны, одарить его присущими всем людям слабостью и страстишками, словом, необходимо сделать его хоть чем-нибудь похожим на самих критиков. Не спорим: Артем отнюдь не являлся... ангелом - хотели было мы сказать, забыв о ком и о чем говорим, - он отнюдь не являлся тем «ночем», то есть «научно организованным человеком», о котором теперь мечтают пензенские комсомольцы. Мы охотно выдадим его пороки: он любил иногда выпить, и Первого мая двадцать второго года, увлекшись кахетинским, дошел до бессмысленной декламации «Коммунаров» в пустой кладовке. Он был вспыльчив и не только раз обругал товарища, запачкавшего его курс органической химии помадой «Жиркости», но даже сгоряча запустил в него гнилым яблоком. Наконец, во время последней партдискуссии, доведенный сначала полемикой в «Правде» до бессонницы, он в итоге голосовал против аппаратчиков только потому, что так голосовала вся ячейка, не раскусив спорных тезисов. Список грехов можно было бы, конечно, продлить, но вряд ли это придало бы Артему ту живость, о которой пекутся критики. Ведь живость эта не что иное, как коллекция особых примет. Артем же был и природой и временем нарисован по-плакатному: крупные формы, отсутствие деталей, повторность линий.

Когда такой Артем пьет чай вприкуску, это никого не может заинтересовать. Когда же миллионы Артемов делают Октябрь, то об этом говорит потрясенный мир, забывая про все оригинальные и полные душевной значимости чаепития героев Достоевского.

Все чувства Артема, таким образом, следует множить на восьмизначные величины, в нем же самом видеть лишь показательную дробь. Учась, он не думал, подобно своему брату, о карьере, хотя бы и в благороднейшем смысле этого слова. Он знал, что соответствующие органы найдут нужное применение его знаниям и энергии. Та жажда просвещения, эпидемия учебы, о которой мы говорили недавно, захватила, разумеется, и его. Он двигался медленно, по-битюжьи, но он двигался, и ясно было, что никакие трудности не остановят этого терпеливого Продвижения. Его приезд в Москву, его первое появление в Савеловском переулке, точнее, в квартире гражданки Ксении Никифоровны Хоботовой, бывшей классной дамы Александро-Мариинского института, теперь занятой

изготовлением ахалвы, появление с юношеским пылом, а также с ордером на комнату, было появлением действительно голого человека. Последнее, разумеется, следует понимать фигурально, ибо штаны и тужурка достаточно ограждали естественные чувства стыдливости Ксении Никифоровны от возможных потрясений. Этим, то есть примитивным костюмом, однако, ограничивалось богатство Артема, плюс уверенность в победе и партийная принадлежность. Его существо обладало притягательностью девственных земель, не испытавших каблука колонизатора. Проверая заново, не шарлатаны ли Ньютон или Галилей, он столь же критически относился ко всем деталям нашего заштатного европеизма, обычно даже незамечаемым, от религии до рукопожатий. Его рационализм не довольствовался простым видоизменением прежних форм. Октябрины или «Красный огонек» оскорбляли его пуританскую совесть. Попав случайно на балет в Большом Академическом театре, он был обижен классическими пуантами балерин как явной бессмыслицей и успокоился лишь под утро, решив, что это нужно для успешной деятельности Наркоминдела, наравне со знаменитым фраком Чичерина. Он был, понятно, одним из первых членов Лиги времени, с фанатической верой тратя немало времени на пропаганду экономии времени. Но не следует принимать его за выверенный часовой механизм. Не раз ведь его отрывали от книги, доводя до непонятного волнения, бронхитные звуки уличной шарманки. Глядя возле памятника Гоголю на ребят, играющих в налеты и расстрелы, он неизменно испытывал сильнейшее желание подойти и потрепать их лохматые головки, но своей косолапой нежности стыдился. Он любил хорошую погоду, быструю езду верхом и запах полевых ромашек. Атавистические приступы были сильны в этом молодом и здоровом человеке. Что касается любви, то ее существование он считал мифом, не более реальным, нежели непорочное зачатие или же платоновская космология, мифом, разоблаченным теперь, как мощи. Это не означало аскетизма. Умеренные, но вполне явно выраженные половые потребности человека средневропейского климата, не возбуждающего себя алкоголем или наркотиками, время от времени сводили Артема с женщинами. В такие минуты он был молчалив и серьезен. Он не терпел циничных шуток. Языка поцелуев он не знал. Можно сказать, что в страсти он тоже являлся первичным, голым

человеком тех эпох, когда еще не было ни сонетов Петрарки, ни отдельных кабинетов «Эрмитажа». Своих случайных подруг он никогда не вспоминал. Зато он считался отменным товарищем. Как в полку, так и в академии он имел много преданных друзей, ради них не раз он рисковал жизнью так же просто, как отдавал им сахар и папиросы.

Таким образом, это был, что называется, «добрый малый», и страх, испытываемый перед ним Ксенией Никифоровной Хоботовой, следует отнести за счет ее душевной мнительности, принимавшей размеры настоящего заболевания. Мы бы никак не останавливались на второстепенной фигуре квартирной хозяйки Артема, тем паче что даже ответственным съемщиком являлась не она, а сотрудник Наркомфина Каплун, если бы не роль, сыгранная ею поневоле в жизни подлинного героя нашей истории. Сама по себе Ксения Никифоровна могла интересоваться лишь сластен особенностями своей ахалвы да еще, пожалуй, психиатров актуальной разновидностью мании преследования.

Это была особа лет пятидесяти, седая, с презабавнейшей прической в виде накрученных на макушке жидких косиц. Вместо обычной одежды она употребляла множество платков - оренбургских, шерстяных, клетчатых, ситцевых, в узорах, всяческих сортов, но одинаково драных и грязных. Ее тощее тельце, едва поддерживаемое булочкой или тарелкой творогу, исчезало под этой тряпичной броней. Бывшие ее сослуживцы по институту немало бы удивили того же Каплуна, заверив, что некогда она отличалась редкостной элегантностью. Создав себе, благодаря диетическому отказу от супа и питья, а также парижскому корсету мадам Бельвуа, тридцатисантиметровую талию, она в течение одиннадцати лет продержалась на этом уровне. Кроме талии она обладала прекрасным французским прононсом и наличием высококультурных запросов, делавших ее приятнейшей собеседницей. К ее мнению в институте прислушивались с опаской, особенно после злостной эпитафии на преподавателя рисования Равича, хвастуна и невежду:

*Равич раз нарисовал
Аполлона молодого,*

*Репин в зависти сказал:
«Натуральная корова».*

Во время известной войны между шаляпинистками и собинистками, взволновавшей Москву в начале нашего века, присоединение Ксении Никифоровны к собинисткам заставило весь институт признать превосходство сладкогласого тенора над грубостью, да, да, оскорбительной грубостью мужицкого, в лучшем случае - дьяконовского баса.

Все кончилось с революцией: институт, положение, довольство, молодость. Место культурных запросов заняли ахалва и страх, нечеловеческий страх. Халва лакомство всем известное, зато ахалва вещь экзотическая. Приготовлению ее научила Ксению Никифоровну некая караимка, в семье которой соответствующий рецепт передавался, наравне с религиозными традициями, из рода в род. Нам, к сожалению, он неизвестен. Видом эта ахалва напоминала ореховую нугу, но на вкус была много нежнее и маслянистей. Ксения Никифоровна изготавливала лакомство на заказ для любителей. Расширению производства препятствовал исключительно страх, ибо она была уверена, что рано или поздно ахалва доведет ее до Чека. Не говоря уже о годах военного коммунизма, даже при нэпе изготовление ахалвы без соответствующего патента казалось ей государственным преступлением. Поэтому, вручая пакетик клиенту, она шептала:

- Ради бога, спрячьте и никому не говорите!

Проявления ее страха были весьма разнообразны. Булочку Ксения Никифоровна покупала конспиративно и проносила к себе со всеми предосторожностями, боясь, что кто-либо из домкома сочтет ее за злостную спекулянтку золотом. Последние годы, на нервной почве, она стала плохо слышать, ей приходилось теперь, обнимая собеседника, подставлять к его губам свое ухо. Это рождало особые страхи, так как, принимая в объятия нового покупателя, пришедшего за ахалвой и готового произнести условленный пароль «У лукоморья барабан с хвостиком», Ксения Никифоровна всякий раз ожидала услышать вместо «лукоморья» страшное приглашение на Лубянку. То, что в мире стало тихо, беззвучно, еще сильнее пугало ее. По ночам

она никогда не раздевалась, чтобы быть готовой к последнему переезду. Каждый вечер, перерывая свое жалкое барахло, она выискивала, как арестант вшей, доказательства своей контрреволюционности. Этих доказательств было так много, что, несмотря на все усердие, она никак не могла уничтожить их. То находились ленточки от котильона, то французский роман с беззастенчиво титулованными персонажами, то, еще хуже, записочка Адольфа Людвиговича, бывшего преподавателя космографии (имя которого в институте подозрительно ассоциировалось с классной дамой Хоботовой), записочка, до крайности подозрительная: «Клянусь сохранить тайну и во всех испытаниях быть рядом с Вами, mon cherubin^[2]». Обнаруживая подобные улики, Ксения Никифоровна сама дивилась, как она до сих пор жива. Истребление злостных документов было делом нелегким, особенно в летние месяцы, когда горсточка золы красноречивее всех бумаг говорит о замыслах преступника. Раз, напав на карточку Собинова в офицерской форме, бедная женщина совсем обезумела. Безгласная темнота показалась ей наполненной чекистским топотом и присвистом (она была убеждена, что, ведя на казнь, чекисты обязательно присвистывают). Она попробовала было успокоить себя: ведь Собинов теперь ихний, «народный» артист. Но погоня от этого не теряла своей преступной выразительности. Вслед за фотографией были немедленно извлечены бархатная полумаска, «Нива» (далеко еще не «красная»), со Столыпиным на отдыхе, огромная гравюра «Осени себя крестным знаменем, русский народ», и в довершение всего эмалированная коронационная кружка. Ни один убийца не дрожал так над трупом своей жертвы, как Ксения Никифоровна над этой посудинкой. Она еле уложила небольшие по размеру предметы в огромную корзину и с тяжелой ношей побежала на улицу. Путь был ясен - вниз по переулку к Москве-реке, скорее бросить в воду свое темное прошлое. Но по набережной шлялись подозрительные люди, не то комсомольцы, не то фининспекторы, не то просто чекисты. Тогда Ксения Никифоровна поплелась через весь огромный и страшный ей город, с его хищной фауной, на Покровку, где проживала ее единственная подруга Муся Жигулева. Она умоляла приютить корзину хоть на ночь. Ведь Муся служит в тресте, ей нечего бояться. Объяснить, что находится в корзине, она наотрез отказалась. Муся, решив, что ей подбрасывают

бомбы или, по меньшей мере, портфель с экс-шпионажем, несмотря на всю дружбу, быстро выставила и Хоботову, и ее сомнительный багаж. Тогда Ксения Никифоровна решилась: в каком-то пустом переулке она подкинула корзину, как младенца. Когда она бежала домой, ее глухота рождала топот преследователей, гудки автомобилей, даже выстрелы. Неделью после этой ночной экскурсии она пролежала без сил, отвечая любителям ахалвы:

- Я больна, только, ради бога, никому не говорите!..

Ясно, какое впечатление должен был произвести на Хоботову въезд Артема. Каплуна она не боялась. Да, как это ни странно, были люди, которых и она не боялась. Каплун ведь должен был сам всего бояться. Разве он не преступен с головы до ног? Он поглощал пирожные до всякого нэпа. После нэпа он увиливал от налогов. Его сынок Моня ухитрился обойти все мобилизации. Его дочь Раечка пудрилась пудрой «Шипр». Они, конечно же, лишь по недосмотру не были расстреляны, и Ксения Никифоровна испытывала к ним нечто вроде профессиональной солидарности, удивляясь только их непонятной беспечности. Но молодой коммунист, сразу повесивший на стенку портрет Дзержинского, - это было явным внедрением Лубянки в ее последнее убежище. Сам Каплун вначале струсил и, боясь выселения в качестве «нетрудового элемента», запретил Раечке пахнуть по-французски в коридоре и в передней. Но Каплуны вскоре увидели, что Артем существо безобиднейшее. Занятый своей химией, он не выказывал к соседям никакого интереса. Что же, Каплуны, по мнению Ксении Никифоровны, всегда отличались легкомыслием. Она вдвойне стала бояться опаснейшего хитреца, который, не говоря ни слова, готовится накрыть ее на месте преступления. Опасаясь проникновения в коммунистическую комнату звуков и запахов, она ограничила изготовление ахалвы, требующей длительного кипения, часами занятий в военно-химической академии. Таким образом, вселение Артема отразилось и на качестве лакомства. Столкнувшись однажды с чекистом на лестнице, Ксения Никифоровна не выдержала и от страха заговорила:

- Вы, товарищ, не верьте! Насчет спекуляции золотом - это все интриги преддомкома. Они хотят мою комнату продать. А я ничем не питаюсь. У меня идей нет. Я просто инвалид труда. Я, товарищ, вероятно, скоро умру, вы уж пожалейте меня!

Артем только пожал плечами. Может быть, и наши читатели вздумают повторить этот жест. Хорошо, скажут они, вы нам рассказываете подлинную историю одного из печальных героев «Югвошелка», имя которого упоминалось в газетах. Незачем же вы вводите в нее явно карикатурные фигуры, лишенные всякого правдоподобия? Ах, читатели, вы, значит, еще верите в художественную фантазию, вы еще не поняли, что самый изобретательный карикатурист сконфуженно останавливается перед витриной любого провинциального фотографа. Мы же не только не преувеличиваем страхов Ксении Никифоровны, но, учитывая нервозность и стыдливость наших читателей, мы о многом умалчиваем.

На шпице революционного небоскреба высится горделивый флаг, который и мы приветствуем, обнажая, по традиции, голову, но мы никак не можем, нахлобучив на уши шапку, спокойно миновать подвалы этого величественного сооружения, где живут неизбежные жертвы исторического сдвига, не те счастливые героические жертвы, которые заставили Михаила в восторге остановиться перед Кремлевской стеной, но другие, вызывающие лишь недобрую жалость прохожих. Какой старьевщик подберет эти никому не нужные, поломанные жизни? Кто расскажет об их томительном прозябании? Они по большей части не испытали в годы революции ничего, кроме страха, зато это чувство они испытали до конца, узнав все его малообследованные вариации. Наверху террор рождал ненависть и героизм, он кормился сопротивлением, дышал волей к победе. Здесь же, в подвале, он становился кухонным шушуканьем, мышьиной пискотней, переодеваниями, прятанием в волосы гривенников, паникой перед кожаной курткой, перед портфелем, перед всем, он становился бессонницей, слезами, доносами, глухотой или слепотой, помешательством. Мы знаем немало историй, способных рассмешить любого иностранца, о девице Клавдии Шепеленко, ранившей себе руку при соскабливании с формочки для пасхи преступных инициалов «ХВ», о некоем Каганском, который, узнав, что его однофамилец привлечен за спекуляцию шнурками для ботинок, сам заявился в Чека, умоляя, чтобы его скорее ликвидировали, о купце Головизине, возле памятника Фердинанду Лассалю (принятого им за тов. Лациса) публично покаявшемся в своем меньшевизме, то есть

увеличении от субботников с помощью медицинских свидетельств и в соблюдении различных религиозных обрядов, как то: молитв, кутьи и суеверного страха при встрече с попом. Но вряд ли такими казусами можно позабавить русского человека - он давно пригляделся к страху, он сам может рассказать десяток историй, почище наших. Он ведь только в книгах почитает Ксению Никифоровну за злостную фантазию известной своей неблагонамеренностью автора. В жизни он, по всей вероятности, сам бегал к ней за знаменитой ахалвой. Если же он не был с нею знаком, то уж наверное знал Мусю Жигулеву или ее свояченицу, словом, кого-либо из граждан, живущих от уплотнения до уплотнения, от высылки до высылки, чьи годы можно пометить следующими этапами, вселение - реквизиция швейных машин - Губчека - шитье кальсон для Красной Армии - утайка серебряных подстаканников - Вечека - покупка муки на Сухаревке - перепись - сокращение - фининспектор - жилтоварищество - анкеты - налоги - Гепеу - накипь нэпа - Нарым. Таков послужной список людей, в иное время проживших бы свой век счастливо, скучно и пошло, а теперь раздавленных событиями и вдвойне несчастных, ибо они даже не знают, почему на их плечи, на обывательские плечики, сотворенные лишь для фасона пиджака, взвален историей груз подневольного героизма. Мы тоже этого не знаем. Но мы испытываем при виде подвальных пискунов чувство, продиктованное нам и человеческой природой, и нашими учителями в литературе: жалость. Рассказав о встрече Ксении Никифоровны с Артемом на лестнице, мы предпочитаем теперь поговорить о другом, чтобы скрыть если не влажность глаз, то красноту щек.

Мы предпочитаем вернуться к нашему герою, в упоении поглядывающему на древний город, который ему предстояло завоевать. Путь с Каланчевской площади к Арбату, к Пречистенке или к Замоскворечью - сколько юношей в эти годы, волнуясь, проделали его, предвидя жестокую борьбу и победу! Духовная централизация в административно децентрализованной стране вряд ли кем-нибудь будет оспариваться. Одессит, написавший три стихотворения с модными «имажами», томский рабфаковец, занятый изобретением безмоторного самолета, секретарь комячейки наробраза в Пензе, составивший небольшой трактат о литературном стиле тов. Сталина, - все они в некий чудеснейший день оказывались на площадях нашей

столицы. В Москве ведь создавались литературные имена, делались дипломатические карьеры, подымались научные кафедры. Гигантский магнит притягивал с берегов Черного и Белого морей всех юношей, полных энергии, ревности или честолюбия, изобретателей, спорщиков, самоучек, беллетристов, кинокомиков, шарлатанов и претендентов в заграничные представительства Внешторга. Таким образом, путь Михаила, казавшийся ему прокладываемой в девственных джунглях тропой, был достаточно проторенным. Это, конечно, не могло уменьшить взволнованности нашего героя.

Он шел к Артему, у которого рассчитывал прожить некоторое время, пока не определится его будущее, обходя, таким образом, жилищную проблему. Общая приподнятость и желание скорее увидеть брата раздвигали его шаги почти до прыжков и заставляли руки вылетать разведчиками далеко вперед. Провинциальный энтузиаст, он был даже трогателен среди первых ларей трестов, среди явного скептицизма видавшей виды Москвы. Подымаясь по лестнице, он пропускал ступеньки и улыбался. Кто-то открыл в это время дверь, так что ему не пришлось стучаться. Боясь оступиться, он только чиркнул спичкой. Увидав бешеные руки и огненный чуб, Ксения Никифоровна сразу поняла, что это пришла смерть. Пренебрегая всей своей мышинной мудростью, она пронзительно закричала.

Любовное объятие

Радость Артема, после длительной разлуки увидевшего брата, быстро сменилась тревогой. Он достаточно хорошо знал характер Михаила, чтобы не усомниться в мотивах, вызвавших его приезд в Москву, какими бы рассуждениями об активной работе они ни прикрывались. Вся сеть сложных комбинаций, благодаря которым Михаилу удалось перейти из харьковского вуза в московский, оскорбляла Артема. Но он знал также, с какой осторожностью следует подходить к брату, чтобы не задеть его самолюбия, и отодвигал решительный разговор.

Артема следует пожалеть: единственный человек, к которому он чувствовал подлинную нежность, заместитель несуществующей жены или подруги, являлся в то же время представителем чувств и свойств, наиболее ему антипатичных. Сколько раз, глядя на руки Михаила, на эти нежные и в то же время дерзкие руки, он хотел крикнуть: «Работай, шалопай! Коли дрова, сгребай снег, таскай камни, но только оставь твои честолюбивые замыслы! Ты снова несешься к позорному триумфу в кабаке, но годы не проходят бесследно, они опустошают человека, они же отрезвляют историю. Больше тебя не вывезут ни пафос революции, ни твой собственный юношеский героизм». Но Артем молчал. Он не умел говорить о чувствах. Любя брата, он не знал слов, которыми можно это выразить. Он только укоризненно на него поглядывал. Боясь, что Михаил может простудиться, он отдал ему свою теплую фуфайку.

Михаил, впрочем, мало интересовался мнением своего брата. От него он ожидал только конкретной помощи в виде полезных рекомендаций и знакомств. Зная, что Артем еще в двадцатом году был политкомом, он рассчитывал найти его где-нибудь на партийной верхушке. Увидав вместо папок с докладами и секретарш скромный учебник химии, он презрительно поморщился: конечно, Тема симпатичный парень, но бараны звезд не хватают, на то они и бараны. Придется действовать самостоятельно.

Зарядки первых впечатлений - автомобильных гудков, афиш о диспутах, толкущихся взад и вперед по Кузнецкому молодых людей,

убежденных, что они насаждают нравы Нью-Йорка, в действительности же перенесших на север ажитацию Ланжероновской или Ришельевской улиц, - всей этой суматошной суеты базарного дня двухмиллионной деревни, хватило ненадолго. Как только Михаил начал приглядываться к физиономиям, плакатам, вывескам с практической целью, то есть учитывая, какое место готовит Москва ему, первоначальная приподнятость перешла в утомление и досаду.

Гроза и восхищение пензенской комячейки здесь сразу превращался в скромненькую пешку. Ответственные товарищи, в Харькове доступные, как все прочие смертные, ужинавшие в партклубе и ходившие в кино, здесь становились мистическими подписями под декретами. Близость власти, на благотворность которой Михаил столь уповал, ощущалась лишь в квартирном кризисе и еще в количестве автомобилей, обдававших грязью неповоротливых пешеходов. О быстроте партийного восхождения смешно было думать. Ясно, что настроение нашего героя с каждым днем портилось.

Он валялся на кровати Артема, читая романы Джека Лондона, дразнившие его, как дразнит заключенного свист локомотива, или просто разглядывая фотографии вождей. Когда Артем бывал дома, Михаил всячески над ним подтрунивал. Он мечтал довести братца до исступления, но неизменно натыкался на вежливый ответ:

- Прости, мне надо заниматься.

Положительно, никакие насмешки, от намеков на стадность до богохульных покушений на исторический материализм с помощью тридцати страниц все того же Куно Фишера, не могли пронять Артема. Он уходил в академию или на собрание. Недоброе предгрозовое молчание накапливалось в комнате.

Чувствовала ли Ксения Никифоровна, варившая рядом свою ахалву, чем чревата эта тишина, или для нее затихший навеки мир давно уже был заполнен дыханием смерти? Как жила она эти недели, сознавая, что рядом с ней копошится страшный рыжий человек, одно появление которого довело ее до обморока? Кто знает. По-прежнему она вручала покупателям аккуратно завернутые пакетики.

Так настал катастрофический день, с его невыразительным вступлением, с тем же романом Джека Лондона и позевыванием, с той же ахал вой за стеной, с кропотливым рабочим дождем, бившим в

стекла. Отчаявшись чем-либо рассеять свою угрюмость, Михаил вышел в коридор. Он попробовал заглянуть к Каплунам, но час был деловой, и все Каплуны промышляли: сам на Ильинке приценивался к шведским кронам, Каплунша в Охотном покупала телятину, Моня в правлении треста обсуждал вес различных кобыл (в связи с реставрацией так называемых «рысистых испытаний»), что касается Раечки, то ей приходилось теперь усиленно ухаживать за одним из режиссеров Пролеткино, обещавшим взять ее для съемок. Всем известна роль рака на безрыбье. Михаил постучался в дверь комичной старушонки, так своеобразно отметившей его первое появление в Савеловском переулке. Артем как-то сказал брату, что соседка у них глухая, но Михаил успел об этом забыть. Повторив настойчиво стук, он наконец приоткрыл дверь. Судьба бывшей классной дамы Хоботовой была решена: на столе лежала ахалва, в дверях стоял чекист. Как бывает это часто с очень трусливыми людьми, Ксения Никифоровна в час смертельной опасности проявила подлинное мужество. Она не пыталась прикрыть своим тряпьем ахалву, не завизжала, не упала без чувств. Воспитанная в атмосфере скорее вольтерьянской, нежели православной, она и не вздумала облегчить свои последние минуты молитвой. Философское спокойствие нашло на нее. Раскрыв объятия, она привлекла к себе на этот раз не покупателя ахалвы, но самое смерть.

- Вы меня на Лубянку поведете или здесь прикончите? - спросила она строго, даже бесстрашно.

Этот вопрос сразу восстановил в памяти Михаила все рассказы брата о соседке. Сумасшедшая! Ему стало несколько не по себе. Он впервые видел вблизи одно из странных существ, которых обыкновенно держат в загородных домах, где беленые стены и бритые головы. Почему-то мимо него отчетливо проплыл безглазый телескоп. Но через минуту он успокоился. Эта-то старушонка, во всяком случае, не опасна. Положение показалось ему даже забавным. Его приняли за чекиста. Он решил вознаградить себя за скуку бездельного и томительного дня, за химию Артема, за гаммы дождя веселенькой шуткой. Припав к женщине, он ласково, почти любовно прокричал ей в ухо:

- За приготовление подобной пакости вы, гражданка, приговорены к высшей мере наказания. Предлагаю вам явиться

сегодня, к двенадцати часам ночи, в Особый отдел Вечека со всем походным гардеробом.

Сказав это, он не выдержал и добродушно расхохотался, как рассказчик, довольный своим же анекдотом. Он представил себе эту ведьму с узлами в полночь у ворот Вечека. Он ждал, что она будет молить о пощаде, плакать, оправдываться. Но Ксения Никифоровна молчала. Она даже не глядела на него. Ее взгляд проходил мимо, разрезая стены с ключьями обоев. Это был взгляд путешественника, уезжающего в очень далекий и трудный путь, которого уже никак не могут интересовать ни ругань носильщиков, ни афиши вечерних спектаклей, ни будничная болтовня провожающих. Несколько разочарованный этим малоэффектным финалом, Михаил вернулся к Джеку Лондону.

Вскоре глаза его оторвались от книги. Он стал мечтать о том, как его пошлют в Индию. Слова «Бомбей» или «Калькутта» никак не помещались в комнате, рождая едкость белого пронзительного света и одурманивающие, незнакомые ему запахи. Они переводили мечтательность в сон.

Вечером пришел Артем, и братья мирно побеседовали о том о сем, о папаше, недавно закончившем свои земные труды, до последнего дня разносившем если и не буше а-ля рен, то морковные оладьи в артистической столовке, о папаше с манишкой и без манишки, о манишке самой, о занятиях в академии, о последних нотах Чичерина, о перспективах мировой революции, о настойчивости дождя, обо всех сезонных делах Москвы, столь скоро вместившей и мировую революцию, и Чичерина в свой повседневный быт. Беседа, избавленная от обычных выходов Михаила, носила идиллический характер. Прервал ее крик за стеной, где стояла всегда тишина. Михаил вышел посмотреть, что произошло. В коридоре его чуть не сшиб с ног один из покупателей ахалвы, визжавший: «Она... она...» Михаил хорошо помнил свою утреннюю шутку. Поэтому он сразу догадался о конце трагического восклицания. Приоткрыв дверь, он прежде всего увидел узлы, те самые узлы, мысль о которых заставила его утром рассмеяться, плулые узлы с жалким скарбом, готовые к переезду. Из одного, недовязанного, торчал рукав старомодного выходного платья с большим буфом. Слишком добротная для каких-нибудь трех пудов веревка поддерживала

хиленькое тельце Ксении Никифоровны, в последнюю минуту вылетевшее из кокона платков. Глаза стеклянные, как в витрине Абадии Ивенсона, и крохотный кончик язычка удостоверяли завершенность события.

- Жаль таких. Но что делать. Лес рубят - щепки летят, - сказал Артем.

Конечно, ничего другого он и не мог сказать. Он ведь не знал ни этой женщины, ни происшествия, вызвавшего самоубийство. Он был спокоен. Не то Михаил. Он в безумии носился по комнате. Это не было раскаянием - для раскаяния требовались хоть какие-нибудь мысли. Это было попросту страхом, как будто все маниакальные страхи покойной Ксении Никифоровны, соединившись в один, невероятный, лишенный причин, а следовательно, и выхода, смертельный страх, достались ему в наследство. Раскачиваясь на веревке, мертвая старуха мчалась навстречу, распахивала руки, заключала Михаила в объятия. Он не мог никуда от нее скрыться.

- Что с тобой? - спросил в недоумении Артем.

Тогда первая мысль, достаточно мелочная и гадкая, обозначилась в голове Михаила: только чтобы он не узнал!..

- Ничего. Нервничаю. Последствия тифа.

И чувствуя, что все это звучит неубедительно, что погоня продолжается, что руки его тщетно борются с когтистыми объятиями, боясь, что Артем догадается о выходке, стыдясь, что, не догадавшись, он сочтет его поведение за плутовую, даже неприличную сентиментальность, Михаил продолжал:

- Исключительно нервность. Никак не связано с этой старухой. Я не понимаю, почему ты ее жалеешь? Таких истреблять надо. Мне вот ее ничуть не жаль, слышишь ты, ничуть! Мне наплевать на нее!

И для подкрепления последнего, а может быть, вследствие полной развинченности, Михаил действительно сплюнул на пол. Удивление Артема росло.

- Я тебя не понимаю. Чем она провинилась, бедная женщина? Больная. Жалеть следует, а не плевать.

- Что же, если тебе приказали бы расстрелять ее, ты не пошел бы?

- Это другая статья. Если приказали бы, значит, была бы и необходимость. Для удовольствия не расстреливают. Если мне

плюнуть приказали бы, я бы плюнул. А вот твоего поплеывания я не могу понять.

Михаил знал, что спор немыслим. Стараясь сдержаться, он разделся, лег, прикинулся спящим. Пошуршав еще «Органической химией», лег и Артем. За стенкой шумели, волновались. Впервые комната Ксении Никифоровны сделалась центром событий. Моня бегал за милицией. Составляли протокол, рылись в узелках. Потом ушли, уступив место необходимой тишине. Ксения Никифоровна лежала теперь аккуратно на кровати. Но Михаил не мог успокоиться. Голоса Каплунов и понятых были все же некоторым облегчением, мешая воздуху стать призрачным, зеленоватым, как вода аквариума. Но тишины он не мог вынести. Он задыхался в объятиях сумасшедшей. Он бился как червяк. Не выдержав пытки, он поднялся. Артем спал. Повинуясь чему-то постороннему, может быть любопытству, присущему некоторым преступникам, он направился в комнату Ксении Никифоровны. Свет уличного фонаря, процеживаясь сквозь шторы, давал возможность разглядеть лицо покойницы. В полусвете, а может быть, и в полубеспамятстве Михаила это лицо казалось новым, значительным. Оно утратило выражение запуганной фабрикантши ахалвы, нелепой женщины, над которой смеялись все, кто еще не разучился в наши дни смеяться, бывшей классной дамы, предводительницы собинисток, авторши эпиграмм, жалкие приметы никчемной и скудной жизни. Зато оно обрело всю выразительность, весь пафос человеческих черт, вечно прекрасных и обыкновеннейших, голое лицо, обозначившееся впервые у мертвой, лицо, требовавшее мрамора и не в Савеловском переулке растущих цветов, требовавшее умиления, теплоты дыхания, благодетельных слез, облегчающих жизнь, как масло машину.

Над мертвым лицом колыхалось в муке живое лицо Михаила. Он понимал язык этой суровой тишины, этих рук, еще утром занятых какой-то ахалвой, а теперь готовых судить и миловать. Он понимал язык смерти. Он готов был ответить теми слезами любовной жалости, которых ждала эта несчастная, одинокая, замученная женщина. Но вдруг он вспомнил утро, объятие, анекдотически веселое и несшее смерть. Он неожиданно понял до конца свою вину. Тогда ему показалось, что руки мертвой, благообразно прибранные, поднимаются, снова замыкают Михаила в объятие. Он хотел выбежать,

но поскользнулся и упал рядом с покойницей. Он закричал, скажем лучше, завыл, ибо было нечто темное, звериное в этом внезапном ночном крике.

Артем со всей заботливостью уложил брага. Он всячески старался успокоить его. В душе он сам волновался. Его подозрения окрепли. Он не верил в последствия тифа и не удовлетворялся общей сентиментальностью. Для него было очевидно, что между самоубийством полоумной соседки и его братом существует какая-то связь. Но что могло произойти? Возраст и облик покойной исключали возможность романтической интриги. Тогда? Тогда оставалось одно: деньги. Могли же быть у этой сумасшедшей нищенки припрятанные ценности. Что, если Михаил украл их? Артем ждал всего от своего брата. Его растерянность в Москве, апатия, хорошее настроение этого вечера, наконец, впечатление, произведенное на него смертью, говорили за правдоподобность подобного предположения. Когда Михаил несколько успокоился, Артем в упор спросил его:

- Мишка, может, ты стянул у нее что-нибудь?

Вопрос этот застал нашего героя врасплох. Он понял, что нужно сейчас же ответить. И он нашелся:

- Молчи! Как ты не понимаешь... Я любил ее.

Произнеся эту нелепую фразу, Михаил весь просветлел от горя и нежности, как вымытое зеркало. Он решил вывернуться, солгать, а солгав, почувствовал, что сказал правду. Он верил теперь, что его боль и крик рождены любовью, подлинной человеческой любовью. Да, он любил, не ту с ахалвой, над которой он так гнусно пошутил, другую, строгую и прекрасную, глядевшую на него при смягчающем свете желтого фонаря. Он больше не убегал от ее объятий.

Артем, конечно, не поверил ему. Неправдоподобность заявления была в глаза. Едва преодолевая отвращение, он вышел из комнаты. Наш герой, оставленный теперь один с ночью и с памятью, плакал, пакостник, дорвавшийся до убийства, лгунишка и позер, он плакал высокими слезами любви, разлуки, последней человеческой разлуки - смерти.

Глава о фраках

Как бы ни было сильно потрясение описанной нами ночи, оно быстро уступило место мечтам о карьере и томительным поискам мало-мальски привлекательного занятия. Лекции для Михаила являлись лишь паспортом. Неопытность и неосведомленность препятствовали сколько-нибудь ответственной партийной работе.

Выросший в артиллерийско-пайковой атмосфере военного коммунизма, всемерно преданный его недвусмысленным навыкам, он никак не мог расшифровать путаного облика Москвы, переживавшей тогда первый год нэпа, всю разухабистость его отроческих фантазий, попеременно с деловым исступлением безупречных работников. Препрежнее можно было любить или ненавидеть: оно отличалось прямолинейностью, трогательной наивностью, совмещая грубоватый азарт вояки с детскими играми. Новое прежде всего было непонятным. Наш герой растерянно оглядывался где-нибудь на Петровке, - ему казалось, что он обойден стыла коварным противником. Боксера усадили за шахматную доску, предложив ему сложный гамбит с отдачей ферзя, ради выигрыша в положении, и боксер готов был заплакать.

Шло «сокращение»: сокращение штатов, сокращение планов, сокращение фантазии, сокращение всего. Сверху было мудро сказано «лучше меньше, получше». Мудрость всегда горька. В одну ночь воображаемые «дворцы искусства» или «дворцы ребенка» рассыпались, не оставив после себя даже поломанного корыта, которое могло бы своей реальностью как-нибудь утешить нашего фантаста. Сокращенные барышни, вчера еще переписывавшие проекты, полные стилистических и арифметических высот, частью выкроились у Мосторга, выкрикивая: «Пироги с вареньем!», «Чулки шелковые!», «Духи "Убиган"!», частью, обрызгав себя этими весьма сомнительными духами, стали ночью зазывать прохожих. Слово «товарищ» исчезало из обихода. Бывшим «товарищам» дали белый хлеб, но их разжаловали в «граждан». Нищенка на углу Столешникова переулка, оперируя, как вывеской, гнойным младенцем, по-модному вопила: «Гражданинчик, явите милость!..» На углу помещалась

кондитерская, где, компенсируя себя за былые карточки категорий «б» или «в», москвичи ели пирожные, взбитые сливки в натуральном виде и бриоши с маслом. Люди толстели на глазах, и город казался успешно работавшей здравницей. Разумеется, толстели далеко не все - Волга и на московские улицы выплеснула своих голодающих. Они принесли с собой вшей, человеческую муку и темный доисторический дух, который прерывал первые программы вновь открытых кабаре протокольными легендами о людоедстве. Как на вернисажи, граждане собирались созерцать витрины гастрономических лавок. Трудно описать трогательность физиономий всех этих вновь обретенных друзей: молочных поросят, сигаев, лососей. Деньги перестали быть абстрактным наименованием. Они вспомнили свое исконное назначение и занялись распределением между гражданами молочных поросят и голодных слюнок. Даже милиционеры стали уважать этот, на плакатах давно уже побежденный и зарезанный, капитал. Они теперь ограждали вокзальные буфеты от явно деклассированных граждан. Что касается вагонов, то вагоны отличались деликатностью - они выбрали себе псевдонимы: «мягкий», «жесткий», «особого назначения». Со стороны вагонов это было даже трогательно.

Рестораны и казино оказались откровенней: они не стали ни «столовыми особого назначения», ни «клубами для карточных испытаний». Посетители, впрочем, не интересовались вывесками. Дети своего времени, они презирали слова и заменяли поэзию хорошим нюхом. Поэзия действительно сразу пошла на убыль, и не менее половины членов Всероссийского союза поэтов занялись перепродажей галстуков, мест в спальнях вагонов и эстонского коньяка. Литературные критики преважно объявили, что «открывается эпоха прозы».

Иногда за изобилие денег расстреливали. Ведь неизвестно было, как смотреть на эти листочки, отпечатанные в экспедиции государственных бумаг, - как на почетные дипломы или как на преступные прокламации? Руководились, главным образом, чутьем и настроением. Приходилось всюду идти ощупью.

Слово «восстановление» лишено внешней эффектности. Однако, вопреки утверждению литературных критиков, объявивших поэзию несвоевременной, мы почитаем восстановление хотя бы советского транспорта, все эти грандиозные и малоприметные подвиги

соответствующих тружеников, достойным материалом для самой патетической поэмы. Право, же возобновления работ на любой фабрике «Жиркости» или «Анилтреста» являлось событием, взволновавшим причастных к этому людей не меньше, чем взволновала Христофора Колумба первая птица. Не только ответственным работникам, но и рядовым было предложено в кратчайший срок пережить и изжить подлинную трагедию. Швейцары «Эрмитажа» и прочих увеселительных заведений, принимавшие в свои почтительные объятия млеющих от неги новых клиентов, чье порхание по лестнице, несмотря на весомость комплекции, могло быть приравнено к порханию первых весенних мотыльков, вряд ли думали, что их вывески, их уютно завешенные окна, их люстры и реставрированные пальмы вызывают негодование, скорбь, даже отчаяние во многих и многих сердцах. Но переживать различные трагические чувства могли отдельные люди, а партия, быстро переменив движение некоторых рычагов, должна была работать. Для трагедии не оказалось времени. Открывались новые пути и новые возможности. Нечеловеческая воля прозвучала в этом приглашении «учитесь торговать», брошенном бескорыстнейшим борцом своим товарищам, принужденным менять теперь диаграммы главков и карты генштаба на стук костяшек или на книги двойной бухгалтерии. Трезвость, эта самая требовательная и, скажем откровенно, наименее заманчивая из всех добродетелей, быстро вернула людям сознание времени и пространства. Она безжалостно вмещалась в высокое человеческое вдохновение, чтобы металлическим голосом напомнить людям о всей долготе времени. Время, жестокое время, оно слишком мучительно для нашего поколения, привыкшего жить не переводя дыхания, для детей Мазурских болот и Октября! Все знают, как трудно армии, выполняя, пусть гениальный, стратегический план, сдавать врагу за городом город. Но и нелегко дались нашей стране эти аппетитные булочки, эти чистенькие вагоны, эти серебряные гривенники, чей звон теперь прославляется добродушными поэтами. Нам понятны иные из так называемых «пролетарских писателей», которые вставили в мажорный грохот государственного мотора свои человеческие ноты скорби. Нам понятен и тот знаменитый бандит (кажется, его звали Ленькой), который три года был честным солдатом революции, а на

четвертый, когда его поставили у дверей «Гриль-Рума» охранять ненавистных ему «буржуев», дрогнул, дезертировал и кончил свои дни у стенки.

Во избежание кривотолков мы спешим отметить, что далеки от критики новой экономической политики. Мы принуждены лишь нарисовать бытовой и психологический фон, на котором развертывалась жизнь нашего героя. Мы, разумеется, понимаем необходимость нэпа. Мы видим в нем не только «Гриль-Румы», но и живительный процесс экономического возрождения страны, разоренной войной, интервенцией и междоусобицей. Наконец, мы хорошо помним, что Марнская битва была выиграна в итоге отступления. Но эти различные соображения не мешают нам разделять недоумение, боль, а иногда и негодование, испытываемые Михаилом Лыковым, бродящим по улицам Москвы. Описывая дождь, автор не посылает на небо тучи, он только берет зонтик и говорит: «Подождем, выплянет и солнце».

В тот день, скажем кстати, шел всамделишный, не аллегорический дождь. Он заставлял первых модниц и модников, прерывавших ровную шинельную повесть московских улиц справками о быте «разлагающейся» Европы в виде заграничных пальто и шляп, то и дело прятаться в подъездах. Промокший Михаил (хотя ему вряд ли стоило оберегать свой весьма потрепанный костюм) тоже забрался в одну из подворотен Неплинного проезда. Там уже находился некий человек, достаточно забавно одетый: сочетание элегантнейшего пиджака в талию с латаными штиблетами и с военным шлемом свидетельствовало о «периоде начального накопления». Все это дополнялось портретом Маркса в петлице и рыжими лайковыми перчатками. Модный пиджак субъекта раздражил Михаила, как раздражали его магазины ювелиров или катание на «дутых», как раздражала его московская улица, откровенно наслаждающаяся примитивными благами жизни после четырех лет подневольного героизма. Слово «нэпман» тогда еще не выходило за пределы газет, поэтому Михаилу пришлось для выражения своих чувств воспользоваться несовременным оборотом:

- Хапун паршивый!

Субъект, столь неделикатно Михаилом определенный, испуганно оглянулся. Ведь никто не знал тогда в точности, что такое нэп.

Толкование его некоторыми людьми, сохранившими от прежних лет не одни только кожаные куртки, было достаточно своеобразным. Таким образом, запутанностью политической ситуации, а не природной пугливостью следует объяснить тревожный полуоборот элегантного гражданина, готового уже предать свой пиджак немилосердному дождю. Но стоило ему повернуться, как волнение перешло на физиономию Михаила. Наш герой сразу признал в обиженном им человеке своего товарища по полку Арсения Вогау.

- Ты! Однако...

- Однако и ты!..

Добродушный хохот и дружеское рукопожатие завершили эту живописную сцену в подворотне. Около года совместной боевой жизни, нудных стоянок и рискованных разведок достаточно весили, чтобы перетянуть и обидность словечка «хапун», и возмутительность явно нетрудового костюма. Вспомнили различные эпизоды того года. Потом перешли к настоящему. Михаил поделился с Вогау своими мечтами быть направленным куда-нибудь за границу на подпольную работу. Вогау едва сдержал презрительную усмешку:

- Это, брат, не по сезону. Прости меня, в Харькове ты, видно, отстал от событий. У нас теперь такая каша варится, почище твоей агитации. Знаешь что, пойдем-ка вместе поужинаем. Я тебе предложу кое-что действительно интересное.

Предложение заинтересовало Михаила. Кто знает, может быть, пиджак Вогау только описка? Ведь он был всегда хорошим товарищем. Не трус. Вместе под Перекопом дрались. Правда, в партии Вогау никогда не состоял, предпочитая «сочувствие», но это не помешало ему храбростью и преданностью превзойти многих партийных. Словом, Вогау, если снять с него столь возмущивший Михаила пиджак, если пропустить мимо ушей несколько странных реплик, заслуживал всяческого доверия. Наконец, Михаил слишком стосковался по активной работе, чтобы, даже не выслушав, отклонить таинственное предложение. Не задумываясь, куда именно они идут, Михаил опомнился, лишь когда услужливый швейцар распахнул перед ними дверь, на которой значилось «Артистик ресторан «Лиссабон». Программа. Ужины а-ля карт. Отдельные кабинеты». Вместо скромной столовой Вогау завел его в спекулянтский кабак. Нет, видно, пиджак не являлся случайностью! Михаил остановился. К

моральным соображениям примешивались и материальные. Он мрачно заявил:

- Нет, я не пойду. Противно, да и денег у меня нет.

Вогау не смутился. Как опытный соблазнитель девушку, он обнял за талию Михаила, подталкивая его вперед, навстречу носовым звукам, звону стаканов, пару.

- Ерунда! У меня от «лимонов» карманы рвутся. Даже хорошо, если здесь разгрузят, а то они мне весь фасон испортят. У меня, брат, пиджак берлинский. Один из Внешторга привез. Здорово шит?

Сколько раз она уже описана, эта тривиальная история падения юной скромницы! Право же, мы можем опустить все паузы и необходимые душевные колебания, отделявшие швейцарскую от круглого столика под искусственной пальмой, куда привел нашего героя новый его покровитель. Мы можем даже прослушать жизнерадостный басок Вогау, разрезавший пар буженины и дамских, усиленно потевших боков: «Эй, гражданин служающий...» Но мы не в силах обойти молчанием жесткой манишки и великолепного фрака этого самого гражданина, его традиционного облачения, сгиба в поясице и шепотка, которые не могли не остановить внимание сына киевского официанта.

Фраки! Задумались ли вы когда-нибудь, уважаемые читатели, соучастники грандиозной эпопеи, партийные и беспартийные читатели, уделяющие немало времени раздумьям над мировой революцией, над грядущей пролетарской культурой, над обитаемостью Марса и над другими великими проблемами, задумались ли вы когда-нибудь над судьбой этих маскарадных вериг, над птичьим костюмом, обязательным для дипломатов и лакеев, над таинственным языком нелепейших фалд? Они исчезли в семнадцатом году, наравне с другими вещами, большими и малыми, с «народолюбием» интеллигенции, с доморощенными файф-о-клоками у Трамбле, с фельетонами «Русского слова», с территориальным пафосом «единой и неделимой». Прошло четыре года, каких, читатели! Сколько проявлено было героизма, безумия, зверства и подлости! Сколько великих идей родилось и умерло! Были и незабываемые радио Чичерина, и бои за Перекоп, и сотни тысяч детских гробов, были вера, мука, смерть. Кто же помнил тогда о фраках? Казалось, все взрыто, до самого пупа земли, все заново

перепахано, от старого не осталось и следа. Прошло четыре года. В один (как назвать его, прекрасным или мерзким? - назовем его лучше «будничным»), в один будничный день появился крохотный декретик, несколько строк под заголовком «Действия и распоряжения правительства РСФСР», и тотчас чудодейственно из-под земли выскочили эти живые покойники, более долговечные, чем многие большие и малые вещи. Никто не знает, как провели они эти годы, как, спрятанные от посторонних глаз, хитро выжидали своего дня, уверенные, что рано или поздно, но обязательно понадобятся. Они не превратились ни в пыльные тряпки, ни в вороньи пугала. Поджав осторожно свои фалды, они пересидели безумие и вдохновение. Они появились в тот самый день, когда несколько строчек милостиво амнистировали их. Читатели, вы ведь в детские годы учили, что круглую форму нашей планеты подтверждает один несколько утомительный эксперимент: если выйти из Калуги на восток, то в итоге, в последнем итоге придется вернуться все в ту же Калугу, только с запада. Неужели вы можете спокойно смотреть на фраки? Неужели злость, которая взметала руки нашего героя в ресторане «Лиссабон», не понятна вам?

Михаил в любом предмете этого банальнейшего учреждения, одушевленном или неодушевленном, мог прочесть все ту же таинственную историю, которая еще ждет своего поэта. Обливая суховатую буженину сентиментальным соусом, цыгане, главным образом носами, передавали исключительную страсть и ревность. «В Самарканд поеду я...» - выползло томно из мясистого носа одной Вари или Шуры, особы лет пятидесяти, с темпераментом, не признающим никаких, ни бальзаковских, ни других, ограничений. И посетители, для которых Самарканд обычно являлся лишь сухим наименованием, пунктом на карте, партией перепроданного хлопка или суммой за сбытые туда мешки, распускались, пофыркивая и румянясь, как масло на сковороде. Цыгане не отличались естественной немотой фраков. Они могли бы за сотню «лимонов» изложить свою весьма поучительную историю. Когда были закрыты рестораны, цыгане попали под покровительство Музо в качестве исполнителей народных песен. Из Музо это кочующее издавна племя перешло в Тео, выделившее особую «секцию эстрады». Путь из Тео шел дальше, не в Самарканд, но в Наркомнац, где цыгане получали

право жить, дышать и даже поглощать скромные пайки как культурные деятели одного из национальных меньшинств. Путешествовали они в сопровождении кипы исходящих. Потом? Но потом вышел крохотный декретик, и толстоногая Шура (а может быть, Варя) вернулась в «Лиссабон», ибо не одним хлебом сыт человек: кроме буженины ему нужны искусство, страсть, ревность.

Михаилу показалось, что он никуда не уходил из «Континенталю». Не было ни прекрасной ночи в бывших номерах «Скутари», ни юношеского сумасшествия перед витриной с фотографиями на улице полумертвого Ростова, ничего! Он был настолько подвластен этой заколдованной атмосфере, отдававшей его ухо на милость буфетчика, придававшей манишке «гражданина служающего» тональность папашиной, что голос Вогау даже не доходил до него. Буженина с капустой и херес поглощались механически. Проникновение в детскую темень неизменно укрепляло жесткость и злобность Михаила, однако облагораживая эти чувства. Так было и теперь. Час тому назад, в подворотне, его можно было заподозрить в некоторой неискренности, можно было сказать: «Ну, ну, гражданин, без арапства, начистую, скажите нам, нет ли в вашем негодовании простой зависти? Модный пиджачок на чужих плечах кажется вам отвратительным. А если бы он оказался на ваших?..» Для подобных подозрений тогда могло найтись место. Другое дело теперь. Подышав континентальским духом, Михаил набрался лучшего, что было в этом далеко не обворожительном человеке: непримиримости, той непримиримости, которая одна могла складывать его пролазливые руки в горделивый знак отказа. Ни пиджаком, ни «лимонами», ни всеми новорожденными витринами Кузнецкого или Петровки его теперь нельзя было подкупить. Но если бы сейчас, за стеклянными дверями с надписью «программа, а-ля карт, отдельные кабинеты», среди сплошного, холодного дождя какой-нибудь сумасброд крикнул бы «смерть «Лиссабону!»», «смерть пиджакам!»», «смерть всему!»», если бы под этим ультратрезвым дождем и ему наперекор зажглись бы костры бесплодных самосжигателей, забыв сразу и о своем долге и о молодости, о партбилете в кармане, о честолюбии в сердце, полный одной великой непримиримости, Михаил нашел бы свое место, свое мщение, свой конец.

Конечно, знай Арсений Вогау об этих чувствах, он бы не трудился зря. Разве легко было изложить наивному провинциалу, профану, до сих пор хранящему ароматец воблы и пороха пережитой эпохи, все преимущества работы в деликатном и сложном учреждении, именуемом Центропосторгом? Вогау принимал молчание Михаила за восторг перед щедростью, перед разнообразием культуры, совмещающей и носовые завывания цыганки, и subtilность хереса, и перспективы, раскрываемые его речами. Он чувствовал себя пророком, наставником, смазывая для успеха не только свой голос, но и фантазию испанско-московским напитком. Он не забывал подливать и Михаилу. Четвертая бутылка уже была прикончена. Вогау начинал переходить из мира метрической системы в иной, более высокий, - головокружительных цифр и поэтического тщеславия.

- Ты, Лыков, не понимаешь, где пульс! Мы вот вчера перепродали кооперативу «Электрик», он же единолично Оська Лямчик, бязь «Текстиля». А все счета - Госторгу в Баку. По четыреста «лимонов» за подпись плюс ужин две тысячи. Значит, чистой двести сотен. Дели на три. По семидесяти тысяч на рыло. Съел? А если ты войдешь, мы весь мир перекувырнем. Нам партийный прямо-таки до зарезу нужен. Я, сам знаешь, не разиня. Ты тоже хвост сосать не станешь. Плюс партбилет. Да ведь мы всю Ресефесер купим. У меня есть овчины на примете. Значит, первым делом овчины обрабатываем... Потом заграничные мотоциклы. Шик пойдет. Сами в Берлин катнем. На самолете. Чтобы вниз поплевывать. Всех девчонок перепробуем. Шампанское с утра, вместо чая. Идет? Ну скажи - идет? Тряхнем, брат, стариной! Пиф-паф! Даешь такую-сякую!..

Вогау в экзальтации схватил Михаила за плечо, другой рукой, как боевым знаменем, помахивая пустой бутылкой. Так как «лимоны» выпирали не только из карманов Вогау, но также из всех его крайне неуравновешенных жестов, столик, за которым сидели наши собутыльники, стал притягивать к себе различные упования. «Гражданин служающий» ловко менял пустую посудину на полную. Варя (скажем, что это была Варя, а не Шура) перенесла и путешествие в Самарканд, и более осязаемые телесные мячи своей соблазнительной комплекции поближе к центру событий. Наконец, неизвестный субъект, воспользовавшись минутой замешательства, сплотнул два бокала хереса, один за «вечную молодость», другой за

«процветание красного купечества». Словом, собеседники отнюдь не чувствовали себя одинокими. Несмотря на это, Михаил, когда Вогау, закончив свою речь, схватил его за плечо, поднял глаза, еще более обычного меланхоличные, и спокойно ответил:

- Хапун! Я тебя там в точности определил. И притом сволочь!

Вогау не смутился. Нет, они не отличаются обидчивостью, наши юные хапуны! Зная цену вещам, даже подержанным, они искренне презирают слова. В подворотне Вогау струсил. Теперь он не боялся Михаила. Во-первых, это был как-никак его товарищ, во-вторых, оба они находились в стадии пятой бутылки, то есть бесстрашия. Хапун? Пусть хапун. Между друзьями и не то говорится. Поэтому вместо оскорблений он приступил к деловой аргументации.

- Ругаться ты после успеешь. Лучше подумай. Что ты - на восемь рабфаковских рублей проживешь? Это, может, и хорошо голодать, когда все голодают. А теперь другая ориентация. В «Лиссабон» небось захочется. Пожалуйста! Мандатов не требуется. Только денежки. Я тебе предлагаю: сядем за овчины. Да с партийностью мы это в два счета прикончим. И кутнем же тогда.

Михаил уже не сдерживал своих чувств. Затравленный всем - светом, романсами, балалайкой, вином, апломбом Вогау, - он злобно щерился. Он попробовал было, хватаясь за логику прошлого, крикнуть этому нахальному предателю, еще не успевшему заменить модной каскеткой военного шлема:

- Что же, мы за это дрались?..

Но добродушнейшая улыбка показала ему, что логикой больше не проживешь. Для Вогау все было просто.

- Тогда одно, а теперь другое. Разве я против революции? Да она наша кормилица! Прежде здесь всякие ваши сиятельства зады полировали. А теперь сиятельства в Константинополе сапоги ваксят. Мы вот в «Лиссабончике» херес попиваем. Ты меня, Лыков, выражениями не проберешь. Я, брат, сам патриот. Кажется, не дезертировал. Воевать так воевать. Паек так паек. Я на все согласен. А если «Лиссабон» открывают, - пожалуйста, и для меня найдется местечко. Небольшое, я ведь худой; шесть пудов, не больше. Словом, Лыков, брось ломаться! Давай дело делать!..

- Врешь, сволочь! Тебя к стенке следует за подобные штуки.

Презируя пустые слова, Вогау, однако, уважал названия вполне реальных институтов, вроде «стенки», тем более произнесенные в публичном месте. В одну минуту его ноги, затекшие от хереса, прониклись сознанием долга и подняли грузный корпус. За перегородкой был спешно оплачен счет с придаточными, и, превосходя все трюки фильма с погонями, единым духом Вогау пронесся от столика «Лиссабона», через две пустых улицы и проходной двор, в свою комнату. Михаил остался один, среди явного недоброжелательства отодвинутых стаканов, замолкшей Вари и напуганных, но в то же время наглых взглядов «граждан служающих». Он попробовал еще раз резюмировать свои чувства возгласом:

- Сволочи!..

Но тогда один из официантов подошел к нему и хоть вежливо, однако настойчиво, чувствуя за собой как строки декрета, так и кулаки коллег, заявил:

- Извольте, гражданин, не скандалить. Это вам не семнадцатый...

Знаменитое изречение, новая поговорка - при каких только случаях не употребляли ее! Ею пытались унять и пьяного буяна, и благородного мечтателя. Она клеймила и воровство, и беспорядок, и неутоленный голод справедливости. Михаил, растерянный от всей новизны и непонятности обстановки, может быть и от вина, воспринял ее по существу. Что ему делать? Пойти в милицию или в райком с сообщением о проделках Вогау? Но черт их всех поймет, что они придумали с этой новой политикой! Теперь действительно не семнадцатый. Откуда Михаил знает, где кончается узаконенная торговля и где начинаются злоупотребления. Его высмеют. Кричать? Буянить? Сорвать душу на этой кабацкой мелюзге?

Столь мало свойственный Михаилу такт удержал его на сей раз от скандала. Может быть, в этом сыграло роль пугливое поскрипывание манишки «гражданина служающего», сразу напомнившее нашему герою гнусный душок кабацкого донкихотства. Может быть, слишком целомудренна и горька была его скорбь. Так или иначе, он сдержался. Молча вышел он, жалкий, ободранный, под злое пришептывание всех - и хозяина, и официантов, и гостей. Спустившись вниз, он услышал, как прерванное его выкриками

веселье возобновилось. Варя снова обещала любовь, и чокание сгущалось в ликующий набат.

Дождь все шел. Как хорошо теперь понимал его Михаил! Унылый дождь, один не разделяющий восторгов этой новой московской ночи с разухабистыми голосами, с торгующими до трех часов ночи обжорными лавками, с лихачами, с нищенками, с пестротой и назойливостью восточного базара. Ночь, лишенная недавней молчаливости и сосредоточенности, пустячная, жалкая, дребеденная ночь. Дождь в ней был таким же чужаком, непрошеным пришельцем, как и Михаил. Наш герой долго бродил по улицам. Он не знал, куда ему деться. Пойти домой, рассказать обо всем Артему? Но Артем поморщится и с жестким шорохом газетного листа вытряхнет из себя сто раз читанные утешения: «Да, это тяжело, но необходимо; впрочем, скоро мы перейдем в наступление». Разве газета могла утешить взыскующее сердце? Он не мог сейчас думать. Он только болел этим жестоким и темным разуверением, как когда-то болел тифом. Его блуждание носило маниакальный характер, а отрывистый бессмысленный шепот о чьем-то предательстве походил на бред. Причем не было ни единомышленника, ни просто сострадательной души, никого, кроме дождя. Дождь не только пропитывал насквозь одежду, он входил в Михаила. Вскоре глаза нашего героя стыдливо и неприметно присоединились к нему.

Почему этого никто не видел? Почему потом никто не кинул на чашу весьма нервных весов правосудия всей тяжести этих двух или трех, в отличие от дождевых, едко соленых капель, более убедительных, нежели все справки о классовом происхождении и все ордена?

Так называемое «разложение»

Размеров явлений не следует преувеличивать. Дождь, даже упорный дождь описанной нами ночи, еще не означает наводнения. Две-три слезинки, пророненные Михаилом, как бы искренни они ни были, являлись, увы, меньшей порукой его стойкости и выдержанности, нежели суховатое газетное молчание Артема. Есть множество неприятных подробностей, окружающих нас, от назойливого рисунка обоев до усмирения индусов рабочим правительством Великобритании. Однако они все же не мешают нам жить с большим или меньшим душевным комфортом, работать и, в положенные для этого часы, веселиться. Артем даже не знал о существовании «Лиссабона», и это невежество было благодетельным. Конечно, он слышал о так называемых «гримасах нэпа». Но кто не слышал о чуме в Индии? Он дышал здоровым рабочим духом своей школы, жил партийными кампаниями, солнцем над Девичьим полем, ходьбой, смехом. Инфекционная болезнь поражает не всякого. Суровая и грубоватая честность, прирожденная скромность скрепляли тот, далеко не изысканный, материал, из которого был сделан Артем. Они вели его к коммунизму, к пробиркам химика или к циркулю инженера, к загару, к благотворному поту спорта. Закрывая для него лихорадочные тропики фантазии и искусства, они одновременно предохраняли его благородное плебейское сердце от расположенных по соседству с кактусами и пальмами заповедников преступления. Да об этом и говорить не стоит. На что у папаши был куцый умишко, но и он понимал иммунитет своего первенца. Возможно, что, дойдя до двадцатой главы, читатели уже начнут разбираться в своеобразном расписании больших катастроф и малых скандалов, неизменно прерывающих жизнь нашего героя, ибо, при всей хаотичности, известная, пусть уродливая, логика руководила ими. Ясно, что Михаил должен был украсть серебряный молочник (на разумном выборе вещи мы, впрочем, не настаиваем), чтобы потом выкинуть его. Ясно, что «Лиссабон» довел его прежде всего до слез. Не менее ясно, что дня через три он свернул на Рождественку и совершенно бессмысленно простоял несколько минут у стеклянной двери

ресторана, причем место злобы заняла любознательность естествоиспытателя, ассимилирующего неизвестные ему дотоле явления. Ясно, наконец, что флора и фауна «Лиссабона» больше не выходили из его головы. Правда, он пытался жить вне этого. Он даже принялся за занятия. На всякий случай он приступил к изучению восточной политики советской власти. Но все это оставалось придаточным. Смех Вогау не давал ему покоя. Почему он так смеялся? Очевидно, затоны Центропосторга отличались подлинно веселящими свойствами. Там шла игра, и крупная. Предприятие с бязью и с Оськой Лямчиком по отчаянности, по бесшабашности напоминало заговор. Конечно, Вогау негодяй. Но ему, по крайней мере, не скучно. Это уже много. Ведь Михаилу скучно в серых аудиториях, обсыпаящих и локти и душу едкой известкой, очень скучно, нестерпимо!

Прирожденная мнительность, заставлявшая его во всем, начиная от приветливости прохожего и кончая сообщениями о теории Эйнштейна, видеть ловкие трюки, подвохи, попытки обойти и надуть, эта нездоровая подозрительность теперь могла вволю разойтись. Экономический и психологический перелом, принесший вместо известного расположения вещей переполох, наталкивал любые руки на осторожное ощупывание окружающего мира. Снова вера из предмета широкого потребления стала прекрасным украшением мудрецов и слабоумных. Необходимые специи в виде критицизма, даже скептицизма, начали многими употребляться в неограниченном количестве и без питательных блюд. Эти наклонности являлись то благодетельными, то пагубными. Несомненно, что, брошенные в иные чересчур спокойные и доверчивые сердца, они сыграли роль дрожжей. Им мы будем обязаны появлением грядущих ученых, поэтов и бунтарей (если только таковые появятся у нас). Они перевели глаза не одной тысячи от примитивного катехизиса лозунгов к библиотечным полкам. Они окрестили блаженных или попросту душевноленивых, продолжавших по старинке на собраниях односложными «так» и «так» боготворить данного судьбой оратора, презрительной кличкой «такельщики». Но они же повысили статистику преступности, дезертирства, самоубийств, как сильно действующие медикаменты, взятые для чересчур слабого организма.

Мы останавливаемся на этом скептическом поветрии, желая тем самым облегчить работу наших критиков. Дело в том, что сами мы

являемся тесно связанными с этой эпохой. Наши сатирические труды, в частности описание необычайных походов мексиканца Хулио Хуренито, встретили столь горячий прием исключительно благодаря отмеченному нами умонастроению. Появись они раньше или позже, ими заинтересовались бы редкие единомышленники или профессионалы. Но то были годы, когда еще не сошедшая с небес (и с уличных заборов) каноническая улыбка правоверия требовала злого, пусть поверхностного, однако едкого смеха.

Поэтому наши труды усиленно читаются и не менее усиленно поносятся наиболее благонамеренными критиками. «Смеяться легко», говорят они, «легко описывать теневые стороны современности. Но вы не видите всего величия нового класса. Поэтому вас не следует печатать. Это растление душ и недопустимое расходование бумаги, которая может быть с большей пользой употреблена на наши высокооптимистические труды». Со всей скромностью, хорошо учитывая ограниченность нашего дарования и соблюдая пропорции, мы ответим, что подобные речи уже были известны русской литературе. Не они ли, произносимые тоже благонамеренным (хоть и духовным, по условиям того времени) лицом, довели великого сатирика до безумия, а рукопись его до надежнейшего из всех цензоров - огня? Мы ответим им, что смеяться очень трудно среди людей, привыкших сызмальства считать насмешливую улыбку за приметку неблагонадежности, даже преступности. Мы превосходно сознаем, что в СССР много высокого и героического, Достойного подлинного вдохновения и высокого пафоса. Если в наших книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы мы хотели вместо обличений наших книг прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать нас.

Мы же предпочитаем отдаваться работе, к которой чувствуем прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, мы хотим рассказать современникам историю его брата. Мы можем успокоить наших читателей: мы тщательно оберегаем наше жилище от духовных особ, и, живя в

двадцатом веке, мы не подвержены соблазну каминов. Таким образом, история Михаила Лыкова, тяжелая и горькая, будет доведена нами до конца.

Не теряя времени, мы должны теперь возвратиться к нашему герою. Подобно отмеченным критикам, он подозревал всех. В своих товарищах он видел неудачливых карьеристов. Когда кто-либо из них говорил: «Я - рабочий», - Михаил язвительно морщился. Хорош рабочий! Разве такой вернется когда-нибудь к станку? Вскочив на одну ступеньку выше, разве он спустится вниз? Никогда! «Рабочий» для него лишь почетный ярлык, звание, как прежде «дворянин». Подозрения его шли дальше. Любую шероховатость нового распорядка, сложного и мало кому понятного, он учитывал как доказательство лицемерия. Все, начиная от Генуэзской конференции и кончая рекламами, которыми один кондитерский трест старался забить другой, казалось ему признанием краха, сконфуженно покрываемым старомодными фразами. Он жадно выслеживал широкие замашки и не вполне доброкачественное жуирство каких-нибудь хоть и второразрядных, однако достаточно для этого заметных партийных. Он расширял свою подозрительность до обвинения всей партии. Он был нафарширован злобными «почему?». Почему Чичерин дружественно беседовал с кардиналами? Почему спецы и просто хапуны, вроде Вогау, катаются в автомобилях? Почему школы стали снова платными? Почему спальные вагоны полны надушенными дамочками, едущими в Ялту? Ответы, как бы толковы они ни были, его не удовлетворяли. Проходя в полночь мимо магазина Моссельпрома, он останавливался и подолгу разглядывал смакующие жизнь физиономии покупателей, парадные люстры, семгу и сигары, неведомый мир, Индию средневекового мореплавателя, разглядывал без досады, внимательно и подробно, как бы проверяя их реальность.

Подозрительность вызывала озлобленность. Привычка ставить себя в центре событий сказывалась и здесь: это его обманули, именно его, Михаила Лыкова! Его заставили сражаться, голодать, ходить в штыки, хворать сыпняком, и все ради того, чтобы одни покупатели семги сменились другими, ничем не отличающимися от прежних, то есть с такими же мутными глазами и розовым колером излюбленной ими рыбыны. Мало занятый науками, он всецело был отдан уличным соблазнам запахам английского «Кепстена», который покуривали в

коротеньких трубочках спецы, и «Шипра» спецовских половин, витринам на Кузнецком, где под портретом Троцкого блистала полная обмундировка денди с Пикадилли, от замшевой шляпы до шелковых платков цвета «танго», великорусским хорам и ароматам почек в мадере, вылетавшим из пивных, балансированию задами воскресших кокоток, кондитерским, театральным разъездам, огням казино. Каждый подъезд поучал его новой мудрости, в точности повторяя речи Вогау.

Этот хапун как-то прошел мимо Михаила под ручку с дамой, в спортивном костюме, весело пофыркивая, розовостью и жизнеобилием напоминая молодого англичанина. Но этим не ограничивались уроки. Михаилу пришлось встретиться и с Дышкиным, бывшим сослуживцем по киевскому собесу, тогда регистрировавшим бумаги, а теперь воротилой треста «Северопенька», обладающим автомобилем «ройс» и породистой борзой, которая важно заседала рядом с шофером. Дышкин снисходительно одарил нашего героя рассказом о своей недавней поездке в Гурзуф, с пикантными дамочками, пикниками и вообще «недурственным сезоном». В студенческой столовой, где Михаил обедал, что ни день передавались хоть и точные, то есть с фамилиями и учреждениями, но все же фантастические истории об очередном герое, променявшем честную выучку на нэповский азарт. Говорили об этом не то как о несчастном случае, ожидая общего соболезнования: «Еще один свихнулся», не то как о счастливом выигрыше: «Повезло человеку!» Разве в морали было дело? Факты учили Михаила, учили до одурения, до тошноты. А ведь он был далеко не тупым учеником.

Кругом шла игра. Смелые и счастливые выигрывали. Ставкой (как, впрочем, и при всякой крупной игре) являлась жизнь, ибо нередко Чека, а впоследствии ее новое воплощение, то есть Гепеу, неожиданно прерывали повесть о счастливчике металлическим акцентом «высшей меры». Могли Михаил удержаться, не подойти к зеленому сукну? Если и были колебания, то это лишь показывает, что Октябрь и годы гражданской войны не случайно значились в биографии Михаила, что за свои последующие грехи он расплатился не только судебной карой, но прежде всего неделями блужданий среди огней Неплинной и сырой мглистой тишины москворецких

набережных, блужданий, мучительность которых трудно передать разумными словами, не прибегая к звериному вою или рыку.

На политическом жаргоне эти недели следовало бы назвать «разложением». Подобно мясу, в душный предгрозовый день разлагается, судя по отчетам газет, живой человек, сначала утрачивая идейность, потом различные гражданские признаки, наконец, начальную человеческую честность, эту третьесортную добродетель, не обязательную ни для гениев, ни для истории, но строго необходимую для третьесортных граждан независимо от политического строя. Мы должны, однако, несколько усложнить понимание этого распространенного процесса, напомнив о телескопе, который недаром услаждал детские плазенки, о коте Барсе, умершем далеко не естественной смертью, и о многом ином. При виде стойкости Артема, не довольствуясь легкими социальными обобщениями, мы должны углубиться в пуши евгеники, начать гадать, что бы такое могло занимать покойных Якова Лыкова и его супругу в ночь зачатия? В каком настроении находилась матушка, вынашивая такого сына? Пожалуй, кто-нибудь из киевских старожилов напомнит нам, что в ту весну было сильное наводнение и четыре пожара на Демиевке. И все же эти догадки мало помогут. Остается ограничиться утверждением, что характер Михаила сыграл в его судьбе роль не меньшую, нежели исторический антураж. Можно даже сказать, что герой наш начал разлагаться (если уж необходимо употребить этот сильно пахнущий термин) с младенческого возраста, причем годы подъема, опустошив душу, значительно облегчили дальнейшую работу соответствующих бактерий. Стреляя в крохотного голубка на крыше мазанки, Михаил уже был настолько легким и пустым, что остается только дивиться, как это он сразу не принял предложения Вогау.

Глаза, коричневые глаза, что они должны были выражать по замыслу художника? Какая человеческая тоска ютилась под жестким чубом? Нет, жизнь все же много сложнее, нежели говорят о ней газетные отчеты!

- Что ж ты, Бромберг, тоже спекульнул? - спросил как-то Михаил своего товарища, увидав на этом честном рабфаковце, золотушном и мечтательном бедняке, шикарнейший ульстер.

Бромберг обиделся:

- Ничего подобного! Я тебе не Рыдзвин. Жить как-нибудь нужно? Я сделал совершенно чистое дело. Знаешь Помжерин - комитет помощи жертвам интервенции и контрреволюции? Так вот, они посылают агентов с марками. Очень художественные марки. Прямо из Третьяковки. Смотреть и то удовольствие! Я съездил к себе в Витебск. Это даже с идейной стороны завоевание. Что мне осталось? Двадцать процентов минус дорога и расходы. Почти что для комитета работал. Но зато какая же работа!..

Бромберг был много осторожнее и хитрее Вогау. Навоз, названный золотом, для поэтической души тем самым теряет часть своего неприятного аромата. Кроме того, между ночью в «Лиссабоне» и беседой с Бромбергом лежали три недели, горячие и сухие, как пески пустыни. Не удивительно, что Михаил, поговорив о зачете, о большом студенческом митинге, посвященном «смычке с деревней», в конце как бы невзначай спросил:

- А ты не знаешь, этот комитет еще набирает представителей? Здесь товарищ один, из Киева. Голодает, бедняга. Вот бы его туда...

Клеение марок

Пришлось, однако, в поисках рекомендации признаться Бромбергу. Более того, пришлось, отдавшись всецело под его покровительство, вместе с ним выехать с Виндавского, хотя это был явный крюк. (Ведь бесплатные билеты раздобыл все тот же Бромберг, у которого брат промышлял в Наркомпути.) Ехали они в жестком. Осторожный Бромберг, предвидя дорожную грязь и подозрительность провинции, оставил свой ульстер в Москве. Ели тухловатую колбасу, причем всю дорогу Бромберг жаловался на желудочные рези. Михаилу он успел порядком надоесть, тем паче что приподнятое, даже лихорадочное состояние нашего героя, решившего наконец-то отыгаться, требовало скорее уединения, нежели разговоров о пищеварении. Поэтому расставанию, достаточно сухому, имевшему место на хлюпкой платформе Новых Сокольников, он в душе обрадовался. На прощание Бромберг, схватившись за живот, все же не обделил его товарищеским напутствием:

- Ты того... клей!

Михаил ничего не ответил: он знал, куда едет и зачем.

Оставшись один, он предался фантазиям. Кто это выдумал, что за деньги нельзя всего иметь? Вероятно, те слюнтяи, как их - да, «идеалисты», - словом, из сочинений Куно Фишера. В Одессе, кажется, тоже сезон, то есть дамочки, может быть, и пикники. Михаил хотел бы сейчас сжимать ручку какой-нибудь попикантной. У моря. Больно сжимать. Чтобы скрипка при этом безумствовала. Песни - одно хамство. Для мужиков. Хорошо, когда - скрипка и без паскудных слов. Если душа зудит, какие тут могут быть слова? Вина бы при этом, да покрепче! И ручку сжимать, чтобы закричала... Впрочем, все это на сладкое. Потом. Раньше всего толкнусь в губполитпросвет. Комсомольцы. Славные ребята. На таких можно положиться. Скорей бы! До чего медленно тащится поезд. Кругом одна паршь. Болото. Спички здесь делают. Спички тоже отсталость. Сразу бы электричеством чиркать. Да ползи ты, чугунная кляча!..

В интересах справедливости следует отметить, что ускоренный поезд 973 шел весьма корректно, запаздывая не более чем на час-

полтора. Таким образом, хулы Михаила являлись следствием его нетерпеливости, доведшей руки нашего героя до безобразия - они сорвали со стенки какое-то постановление, что обошлось Михаилу в рубль золотом, тотчас взысканный бдительным кондуктором.

Как бились у слезящихся стекол руки Михаила, как откликались огни его глаз на скудные огни семафоров редких станций Полесья, крупных, просеянных сквозь туман звезд! Нет, не нашей ломовой прозой описывать подобные грозные красоты. Даже засыпая, он не разлучался ни с напряженностью своих мечтаний, ни с небольшим потертым саквояжем, купленным за весьма скромную сумму на Смоленском рынке, наполненным не бельем, но духовным, исключительно духовным багажом.

В Гомеле он вышел подышать приятной сыростью теплого вечера, традиционной атмосферой узловой станции, с ее закоренелой лихорадкой, с эпической грустью и с нервирующей разноголосицей звонков, свистков, хриплых выкриков. Кажется, более созвучной ему обстановки нельзя было придумать. Он пошел в буфет, увлеченный и торопливой гурьбой пассажиров и соблазнительными запахами. Потные пирожки просились под поцелуи скромных советских служащих и мещаночек. Для аппетита и возможности граждан, хоть лишенных по Конституции СССР активного и пассивного избирательных прав (как прибегающие к эксплуатации чужого труда), но зато обладающих многими иными правами, имелись рассольник с потрохами, котлеты отбивные телячьи с гарниром и даже гусь с яблоками. На большом затуманенном зеркале рядом с рекламами старого литовского меда и папирос «Красный дипломат» красовался поучительный лозунг, очевидно написанный еще в то время, когда и буфет и гусь находились под запретом, в зале же помещался клуб, занятый бесплатной раздачей кипятка и литературы, а также инсценировками летучих продагиток. Этот лозунг своим настойчивым акцентом выдавал как особую энергию, так и плохое знание русского языка. Схватив пирожок с яблоками, Михаил вслух прочел: «Кто не трудится, тот пусть и не ест», - прочел спокойно и деловито. Форма, конечно же, его, чуждого всякого лингвистического пуризма, не могла рассмешить. Но и вся ироничность подобной сентенции, осеняющей отбивные котлеты и гуся, никак не дошла до него. Быстрая ассимиляция - одно из типичнейших свойств

современности. Убедившись в телесности нэпа, он уже без малейшего удивления, как нечто должное, воспринимал все его наиболее фантастические детали. Мудрое изречение можно, разумеется, понимать по-разному. Оно воодушевляло октябрьских революционеров, что не мешает ему быть любимой поговоркой французских консьержек. Очевидно, некоторый смысл вложил в него и Михаил, ибо, прикончив пирожок, начинка которого, естественно, наводила мысли на гуся, приветливо улыбнулся лакомой птице, как бы говоря: «До скорого свиданья, на обратном пути я тебя не обойду». Даже последующая сцена никак не могла поколебать его душевного равновесия. Крохотная нищенка лет восьми (для которой собесовские фребелички так и не выстроили своего изумительного «дворца»), прошмыгнув в зал, гнусавыми воплями стала омрачать аппетит некоего гражданина, поглощавшего котлеты с гарниром. Этот подлинно сентиментальный путешественник не рассердился, он даже протянул тарелку нищенке:

- Жри!

Официант, бормотавший нечто о кражах посуды, тарелку из рук девочки быстро вырвал и вытряхнул, точнее, вылил ее содержимое, то есть картошку с подливкой, на тряпье, заменявшее собой платице. Всем этот жест показался вполне естественным, даже маленькой нищенке, которая, опасливо поглядывая на буфетчика, стала жадно слизывать с вонючих лоскутьев густой коричневый соус. В былое время Михаил вмешался бы. Не было более верного средства вызвать его на скандал, нежели обидеть ребенка. Теперь же он равнодушно поглядывал на энергично работавший язычок девочки. Может быть, борьба за счастье всех сделала его нечувствительным к горю каждого. Оставив в сердце героя некоторую склонность к мелодраме, она устранила неудобства примитивной человеческой жалости.

Поезд стоял долго. Михаил успел изучить и прейскурант вин, и расписание поездов, и юмористические журналы в киоске. Он даже успел познакомиться с газетчицей, толстой веснушчатой девицей, бюстом и меланхоличностью глаз бутылочного цвета привлекавшей нашего героя. Девица, конечно, пожаловалась на провинциальную скуку, заявив, что ужасно любит читать романы, - потупление глаз, а также порывистое содрогание бюста добавляло, что она любит их не только читать. Михаил, однако, не поддался соблазну. Ревниво сжимая

саквояж, в котором покоилось счастье, а следовательно, и сердца многих веснушчатых или не веснушчатых, он взглянул на ее бюст хоть с аппетитом, нестойко, как на гуся, то есть откладывая все наслаждения до обратного пути.

Дорожные разговоры, столь же неизбежно оседающие в голове путешественника, как копоть в его носу, может быть, и приятны иным бездельникам. Но нет ничего мучительней для человека, одержимого идеей, для влюбленного, подыскивающего предпочтительную форму изъяснения, для заговорщика, обдумывающего различные детали своего темного дела, для спекулянта, оперирующего фантастическими коэффициентами червонцев, долларов, крон, нежели эти прогорклые анекдоты, рассказы о странных болезнях свояченицы, вздохи по поводу цен на дрова, среди жестяных чайников и яичной скорлупы, среди попутчиков, тупо отряхивающих с себя сон, как мокрая собака дождевую влагу, среди фантастической нелепицы обыкновеннейшего вагона.

Болезненно напрягаясь, Михаил дорисовывал план действий. Все шло великолепно, один ход неизбежно вытекал из другого, обезоруживая невидимого противника, будь то древний рок или нескромные сотрудники вездесущего Рабкрин. Но имелась небольшая деталь, трагическая деталь, заставлявшая торопливые руки Михаила в изнеможении падать на колени. Как быть с маленьким кусочком картона, бережно хранимым в боковом кармане?

С виду непонятный, даже неприличный вопрос являлся последствием одной весьма критической минуты, пережитой Михаилом в уютном кабинете заведующего издательской частью Помжерина. До этой минуты было ясно, что кусочек картона благоприятствует всегда и всему. Одно магическое появление его заменяло пропуска и мандаты, делало милиционеров сентиментальными, а контролеров рассеянными. Сколько дверей он раскрыл и сколько глаз закрыл, этот крохотный билет! Его присутствие придавало мускулам Михаила наполненность и гибкость, подкрепляло надменность волос и не давало глазам расплыться в виноватом тумане. Время от времени он в тревоге хватался за карман, проверяя, на месте ли этот крохотный покровитель (подозрительный жест, который присущ и простому обывателю, проверяющему, не украли ли у него бумажник), а обнаружив, что билет цел, он улыбался.

Даже при нэпе, когда воскресли иные приметы избранничества, как то: пачки «лимонов» или просто элегантный костюм, - все равно билет оставался палкой-застукалкой. Словом, для Михаила, считавшего идеи последним, плевым делом, чем-то вроде знаменитой «точки» в глазах, которую художник ставит, когда портрет уже закончен, партбилет был большей реальностью, нежели программа. Постепенно меняя свои мечты, вместо подпольной Индии склоняясь к ресторану «Лиссабон» с Варенькой, он, однако, и не думал подобрей воле уходить из партии. Он считал, что билет им заслужен, как орден. Скорей он усомнился бы, на радость всем кретинам из Куно Фишера, в действительности своего существования, нежели в партбилете.

Так было до той минуты, когда заведующий издательской частью Помжерина, деликатно улыбаясь, спросил Михаила:

- Вы, конечно, беспартийный?

Последовавшая за этим пауза объяснялась полной растерянностью Михаила, принужденного в течение одной минуты переменить свой взгляд на партбилет, а следовательно, и на весь космос. В характере вопроса он не мог усомниться. Сколько раз таким же доверчивым голосом спрашивали его: «Вы, конечно, партийный?» Это даже не нуждалось в ответе, как вопрос «вы, конечно, человек честный?», обращенный к обывателю. Вдруг Михаил понял, что партбилет может быть балластом, преградой, белыми ручками пришедшего наниматься на завод интеллигента, признаком верной неподходящести. Он, конечно же, нашелся:

- Да, да, беспартийный. Разумеется, беспартийный.

Однако это внесло смятение в его душу. Пока трясся вагон и попутчики громыхали над еврейскими анекдотами, он тщетно пытался уразуметь это событие и сделать из него выводы. Ежели девица с прошлым выдает себя за невинную отроковицу, это понятно. Но оказывается, что порой подлинной девственнице, одержимой желанием как можно скорее пасть, приходится приписывать себе несуществующие грехи, чтобы этим обнадежить кавалеров, падких на легкое и пуще смерти боящихся скандалов. Сложность ситуации доводила нашего героя до головной боли.

Уж показалась героиня всех кабаре Одесса-мама, встречающая приезжего вместо веселых куплетов угрюмыми предместьями,

разрушенными взрывами, а Михаил еще томился над той же проклятой мыслью: как быть с партийностью?

Живительный воздух города, насыщенный морской влажностью, грязью, рыбьими отбросами и чесноком, воздух города авантюристов и мечтателей несколько успокоил его. Вместо разгадки он удовлетворился надеждой на свою находчивость, которая должна его вывезти.

Он решил ознакомиться с городом. Проглядев «Известия», утренние и вечерние, он начал бродить по улицам, рассматривая афиши на столбах и витрины магазинов. Впечатление было весьма заурядным. Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница. Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях. Разве мало резали, полосовали, обливали серной кислотой другие города? Но здесь искалеченной оказалась не только каменная оболочка. Легкомысленная Одесса, эта Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница папильотками, не выдержала аскетической атмосферы правозверных лет. На прощание она еще одарила хмурый север некоторыми (перворазрядными) писателями, а также преступниками (предпочтительно шулерами и шантажистами), внесла в блатной словарь московских притонов ряд выражений, способных вызвать нескрываемую зависть поэтов-имажинистов, и на жесткость нового распорядка ответила беззлобной песенкой о том, как «ужасно шумно в доме Шнеерсона». Песенка эта свидетельствует лишь о фантазии одесситов, ибо тихо стало и в доме Шнеерсона, и во всем городе, тихо, прилично, уныло на этих улицах Лассаля, Интернационала и Пролетариата.

Но как бы ни был сер облик города, по которому бродил Михаил, он все же подсказывал ему великолепные жесты, внушал бодрость и веселье. Очевидно, никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, хвастунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным «дюком» и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым Далем.

Прогулка, вернее, разведка длилась недолго, но была чрезвычайно благотворной. Появившись около двух часов в

губполитпросвете, Михаил не только забыл свои сомнения касательно партийности, но тотчас сообщил обалдевшему от неожиданности замзаву, что тот уделяет недостаточно внимания работе среди молодняка, что необходимо вообще приналечь на политграмоту, о чем Михаил уже не раз указывал в Москве. На местах дело, очевидно, обстоит совсем плохо. Михаил будет рад совместить свою деловую командировку от Помжерина с некоторой общей ревизией. Замзав сначала пробовал спорить, но Михаил обладал неисчерпаемым запасом слов, вполне столичных и сезонных. На «разграничение функций» он немедленно ответил «борьбой с узким делячеством», на соображения об автономности УССР - конфиденциальными намеками: «объединение в порядке дня предстоящей сессии ЦИКа», на ограничение деятельности агентов Помжерина рамками добровольных пожертвований - презрительным заявлением о важности выдвижения жертв интервенции, в предвидении переговоров касательно ликвидации международных обязательств, а также длиннущими мандатами со всей мыслимой пестротой различных наводящих трепет печатей. Словом, замзав был пристыжен; будучи скромным, он чувствовал себя чуть ли не секретарем Михаила. На восемь часов вечера было назначено междуведомственное совещание для выработки новой кампании: «Все на помощь жертвам интервенции и контрреволюции».

Объяснение легкости одержанной победы следует искать не только в природной наивности бедного замзава, но и в том престиже Москвы, который делает нравственно обязательным для всего нашего обширнейшего Союза даже суждение о пьесе Бернарда Шоу, высказанное театральным рецензентом столичной газеты. Любая обмолвка или опечатка, пришедшие из центра, рождают подлинные душевные драмы. Каждый писатель спешит подкрепить свои малоубедительные произведения авторитетом Сосновского. Красные профессора, проштудировав «Экономику переходного времени», доводят своих слушателей до душевных заболеваний, заставляя их чертить самые фантастические фигуры. Что касается до милых провинциальных барышень, то они теперь не играют в фанты, но инсценируют Синклера по Мейерхольду, портя для этого (правда, и без того не действовавшие) телефонные аппараты.

На междуведомственном совещании Михаил держался более осторожно - среди двадцати присутствовавших мог оказаться какой-нибудь скептик, склонный к разоблачениям. Он произнес весьма сжатую речь о задачах Помжерина. Вполне естественно, что одесситы были потрясены. Счастливая способность Михаила придавать цифрами реальность самой неправдоподобной чепухе дала наилучшие результаты. Только представитель губфина попробовал запротестовать, но и он на сострадательный вопрос Михаила «какое впечатление произведет отказ Одессы» ничего не смог ответить, кроме угрюмого монолога об ущербе, который претерпят гербовые марки. Михаил снисходительно заметил, что ведомственный патриотизм представителя губфина делает его близоруким в вопросах общегосударственных. Губфин раздраженно высморкался. Спор был кончен не в его пользу. Михаилу не пришлось даже вносить предложений, это сделал за него пытавшийся заглядеть свою халатность по отношению к молодняку и многое иное замзав губполитпросвета. Нужно ли добавить, что предложения были приняты единогласно?

На следующий день Михаил развил предельную энергию. Прежде всего он направился в редакцию местной газеты. Это была замечательная газета, нашедшая счастливое сочетание туземных сплетен с модной деловитостью столичных передовиц, ухитрявшаяся говорить о посевной площади игриво, как о непритязательной оперетке, а обыкновенный мордобой рассматривать с глубокомыслием, достойным мирового явления. Портреты приезжих членов Коминтерна, стихи местных пролетарских авторов, лозунги, набранные жирным шрифтом, исключительное изобилие «хроники происшествий» - все это придавало ей и внешне презабавнейший характер. Опирируя с оптическими образами, наиболее у нас употребительными, мы должны напомнить, что чистые цвета встречаются в природе чрезвычайно редко. Не раз высказывались опасения, что мы получим прессу розоватую. Этот цвет действительно приличествует скорей английским девицам, обладающим Макдональдом, утренней кашицей и романами Локка. Но есть ведь и иные отклонения от красного цвета. Так, например, смешанный с желтым, он рождает цвет, который модники зовут цветом «танго». Однако воздержимся от дальнейших рассуждений,

могущих быть воспринятыми за критику губоргана. Вернемся к Михаилу. Наш герой в редакции занялся ведь не изучением цветов. Нет, он умело польстил редактору, сказав, что его газета может потягаться с московской «Правдой». Вечерний выпуск вышел с подзаголовком: «Все на новый фронт. Неделя Помжерина».

В том же номере газеты сообщалось о постановлениях, принятых на вчерашнем совещании: отныне все документы, выдаваемые загсом и милицией, как то: свидетельства о рождении, о браке, о разводе и прочие, - должны оклеиваться марками Помжерина, каждое на пятьдесят золотых копеек. Кроме того, домкомам вежливо рекомендовалось при выдаче удостоверений следовать благородному жесту.

В течение дня Михаил успел наладить также организацию литературного вечера совместно с просветительной ячейкой Губчека, причем тридцать процентов чистого сбора должны были идти на агитпункт подшефной деревни Либкнехтдорф, а остальное Помжерину. Однородное соглашение, касавшееся лотереи, было заключено Михаилом с кооперативом гормилиции. Сотрудники Губчека и милиции сами разносили по квартирам обывателей билеты - лотерейные и на вечер. Отказов, конечно, не встречалось.

Потом Михаил отправился к комсомольцам. Зная, что этих декламацией не проберешь, он слов зря не тратил, а непосредственно предложил мобилизовать комсомол для успешного проведения «недели». Он еле говорил от усталости. Но гордость проделанной работы поддерживала его. Будучи всего на несколько лет старше своих слушателей, он чувствовал себя искушенным маршалом, наставляющим молодую гвардию. Здесь он был вполне своим. Все выражения, жесты, интонации этой аудитории казались ему внятными и родными. Город разделили на участки. Последние запасы марок, изображавших красноармейца, отсекающего многочисленные головы гидре интервенции, были переданы комсомольцам. (Заветный саквояж Михаила, однако, не худел, он только менял начинку, вмещая теперь кипы дензнаков).

Заседание кончилось поздно, около двенадцати. Три комсомольца пошли проводить Михаила до Лондонской гостиницы, куда он был вселен по распоряжению замзава губполитпросвета. Теплая ночь с редкими брызгами дождя, казавшимися брызгами моря, с запахом

акации и влажного асфальта, с близостью порта, заморских фелюг и легкого контрабандного счастья располагала клирике. Усталость Михаила еще усиливала эту потребность. Он начал говорить, сначала о мечте всех, о Москве, о ее мировой лихорадке, о съездах Советов в Большом театре, о бодрости наркомов. Комсомольцы слушали его восторженно, с тем жадным, молчанием, которое впитывает и слова и душу рассказчика. Они, конечно, не подозревали, что Михаил врет, что он, например, никогда не был на том съезде, все детали которого описывал. Для них он являлся работником из центра, опытным партийцем, старшим наставником. Но и сам Михаил не воспринимал своего рассказа как ложь. Он находился в той стадии вдохновения, когда уже не ставится вопрос о протокольной правдивости, когда реальность желаемого легко затмевает все убожество существующего.

Постепенно он перешел на себя. Они давно миновали цель, то есть подъезд гостиницы. Они теперь просто бродили по бульвару, дыша влажностью воздуха. Наш герой рассказывал комсомольцам историю своей жизни. Зная не только все факты его биографии, но и различные сопровождавшие их переживания, мы, конечно, не можем разделить доверчивость его юных слушателей. Михаил ничего не сказал им ни о Шейфесе, ни о молочнике. Но все же мы считаем необходимым передать, хотя бы вкратце, его рассказ, ибо, греша против истины, он выразительно передает как лирическую настроенность той ночи, так и общий уклон мечтательности Михаила.

Сначала - кризис. Выполнив свой долг в Октябре, он не понял Бреста. Его ошибку разделяли тогда и многие партийные вожди. Хотя бы Бухарин. Это была трагедия. Он пошел с левыми эсерами. Невольный грех перед революцией. Он загладил его последующей работой. Для партии он предал все. Он писал стихи. Его считали первоклассным поэтом. Он любил искусство до самозабвения. Но, поняв, что это буржуазные штучки (Михаил именно так и сказал: «штучки»), он бросил поэзию. (Следует отметить, что Михаил обошел молчанием ночь в «Скутари».) Ради революции он оставил девушку, которая любила его. Он? Он тоже любил. Это было в Харькове прошлой весной. Дождик, теплый дождик. Но девушка не была партийной. Буржуазное воспитание, буржуазные навыки. Она не могла стать его товарищем по борьбе. Сжав зубы, он расстался. Фронт. Слыхали ли вы о Перекопе? (Эта часть рассказа напоминала: «Скажи-

ка, дядя, ведь не даром...») Комвуз. Партийная работа, Москва. Кстати, у него была тетка в Житомире. Бедная сумасшедшая женщина. Делала ахалву (это такое лакомство). Он ее любил. Она в детстве заменяла ему мать. Ее? Ее повесили поляки. Сейчас он ездит как представитель Помжерина. Неблагодарная, тусклая работа. Конечно, он предпочел бы поехать от Коминтерна в Индию. Но что делать? Партийная дисциплина, это выше всего.

Теплый дождик ласково трепал щеки. Ветер с моря сулил удачу. Как прекрасное созвездие, над тремя комсомольцами, над этими косолапыми, наивными и честными комсомольцами, стояла их высокая молодость. Михаил молчал. «Если бы сейчас умереть», - подумал он и блаженно улыбнулся. Он не сказал этого. Он только при расставании, сжимая три руки, передал им свою взволнованность и счастье.

Двадцать пять процентов с марок, проданных учреждениям или взятых на комиссию, составляли две тысячи восемьсот шестьдесят рублей золотом. Михаил записал эту цифру, тихонько, во время заседания в комиссии, проделав ряд арифметических выкладок. Но если бы сейчас, у освещенной двери Лондонской гостиницы, перед тремя парами светящихся глаз, кто-нибудь сказал бы ему о марках, о процентах, о рублях, он удивился бы, негодуя, он крикнул бы «ложь», он пошел бы на смерть, убежденный в своей невинности.

Одесские развлечения героя

Путаница, великолепная путаница, бережно выращиваемая в кабинетах авторов трагических новелл или игривых водевилей, сколько она требует натянутых встреч, перевранных адресов, переодеваний! А у нас, в нашей обильной решительно всем стране, путаница валяется под ногами, и какая же первосортная, волосатая, самая что ни на есть натуральная!

Конечно, чтобы ознакомиться с нею, лучше покинуть столицу. В Москве живут люди обтесанные. Они сразу находят свое место. Нэп так нэп. Их бы и землетрясение не удивило. В бывшей гостинице «Метрополь» помещается 2-й Дом Советов, там коммунистические идеи, скромные биточки, непрерывные телефонные разговоры. Этого не спутаешь с гостиницей «Эрмитаж», бывшей и сущей, где останавливаются нэпманы и где нет никаких идей, только продукты винтреста и расстегаи. Москвичи знают, кому сказать «товарищ», кому «гражданин», а кому еще что.

Чтобы отыскать путаницу, следует уехать куда-нибудь подальше, хотя бы в облюбованную нашим героем Одессу. Там этого товара сколько угодно. Сразу же на вокзале вы услышите нищенок, путающих упраздненного «господина» с «товарищем» и «гражданина» с «барином». Улицы все переименованы, некоторые даже дважды, так что, разыскивая приятеля-одессита, вы проблуждаете немало. Где кончается общежитие и где начинается гостиница, этого уж никто вам не скажет. Окажется у вас мало денег, вы попадете в финотдел. С червонцами приедете, чего доброго, попадете в Гепеу. Совершенно неожиданно у вас спросят на улице, занимаетесь ли вы производительным трудом. Но это не мешает всем спекулянтам «Пале-Рояля» состоять в различных профсоюзах. Молодые поэты следят за тем, чтобы цензура была построже. В угрозыске сотрудничают некоторые граждане, разыскиваемые угрозыском. Если вы попросите в ресторане бифштекс, вам обязательно дадут кефаль по-гречески. Если же, показав на стилизованный славянский лик, украшающий собою одну из площадей, вы полюбопытствуете, что это за удельный князь, вам ответят: «Карл Маркс». Если... Однако

довольно предупреждений. Мы пишем не руководство для любителей путаницы и не путеводитель по Одессе, а историю Михаила Лыкова. О некоторых особенностях южного города мы заговорили исключительно для того, чтобы объяснить читателям, как наш герой, после трудового дня и ночной экзальтации, расставшись в 12 часов 40 минут с тремя комсомольцами, мог очутиться в 12 часов 45 минут, то есть ровно через пять минут, в зале ресторана, отданный услужливому шепоту официанта:

- Рислинг Армении замечательный будет...

Войдя в честнейшее советское учреждение, Михаил оказался в ночном ресторане с музыкой. Кто же станет отрицать после этого доброкачественность расхваливаемой нами путаницы?

Трудно человеку, любящему в понятиях ясность и порядок, объяснить, чем в точности была Лондонская гостиница. С одной стороны, как будто Дом Советов. Там жили некоторые ответственные работники, даже семейные, портфели, примусы и детские горшочки в коридорах свидетельствовали о скромном, духовном характере места. Приезжие, вроде Михаила, получали комнаты по ордерам. Дух военного коммунизма еще стоял в этих давно не ремонтировавшихся комнатах. Швейцар хранил военную осанку и часто вместо «счетец» произносил «пропуск». Мандаты и телефонограммы носились по лестницам. У входа висели грозные правила, подписанные комендантом. Не хватало только пайков, револьверов и некоторых житейских затруднений (водопровод и канализация работали исправно). Словом, входя туда (днем), близорукий человек мог поверить, что, отъехав от Москвы на тысячу верст, он вернулся к двадцатому году. Мы оговорили «близорукий», ибо, обладая хорошим зрением, легко было сразу заметить и кожаный чемоданчик с заграничной наклейкой «Отель Адлон», и чей-нибудь вполне современный галстук. Нэп проник и в Лондонскую гостиницу, но он не разрушил ее бывшего устройства, он прилепился, поселился по соседству, предпочел путаницу. (Так некоторые соборы хранят следы архитектуры пяти-шести веков, от романской до барокко.)

За червонец в сутки любой иностранный или отечественный спекулянт мог получить номер, причем у военнообразного швейцара находились для него вполне гражданские интонации, вплоть до старорежимного «ссс». Столовая, выдававшая борщ и мясо, легко

превращалась в питейное заведение со всеми изысканными яствами, с шампанским, даже с румынами, исполнявшими фокстрот. А наверху, в номерах «ответственных», шли важные совещания, и секретарши записывали, как Одесса реагирует на очередную наглость Керзона. Причем самое удивительное в этом - находчивость и приспособляемость людей. Возьмем того же швейцара: он никогда не предложил бы завнаробразу, зимой бегавшему в легком сквозном пальтишке, страдающему одышкой от сердечной болезни, от количества закрываемых, вследствие перехода на хозрасчет, школ, от гололедицы, ветра и лестниц, зайти в номер шестнадцатый, где работавшая со швейцаром на паевых началах Хася Цвибель, именуемая себя итальянской киноэтуалью Биче Беличели и уверявшая, что она прибыла с мандатом «Югкино» для съемок, принимала мужчин, нуждавшихся в нежности и в артистическом режиме. Швейцар знал, кого спросить о курсе червонца, кого - о предстоящей конференции, кого - о ценах на контрабандный коньяк. Не ошибались и посетители. Казалось, все было готово для водевиля. Но ни разу ни один спекулянт не попал на совещание об английской ноте и ни один коммунист не оказался с Биче Беличели в ночном ресторане. Все находили свое место.

Михаил, однако, попал не на ночное заседание касательно Помжерина, а прямо к румынам и к хересу. Рассеянность? О нет, далеко не рассеянность, сложность, если угодно, двойное бытие, естественная галиматья наших дней. Читатели, конечно же, заметили многообразие интересов и наклонностей нашего героя. Марки имели различное применение, дензнаки также. Словом, вкатившись в темное чистилище вестибюля, полный еще морского ветра и настороженного целомудрия комсомольских глаз, Михаил выявил такую неопределенность состояния, что даже безошибочный в оценках швейцар и тот усомнился, как его приветствовать и что предложить. Направо белесой матовостью стекол, лязгом и отрывистыми вскриками гитар, этих чувственных подружек всех забулдыг, говорил о своих преимуществах обыкновеннейший ночной ресторан. Тихая лестница вела к сосредоточенности идей, то есть к «ответственным». Десять - двадцать секунд прошло среди топотания Михаила и растерянности швейцара. После чего Михаил решительно завернул направо. Час спустя он был уже пьян.

Пил он с каким-то субъектом, отрекомендовавшимся «красным купцом» из Николаева. Сперва разговор держался на высоком уровне статей из «Экономической жизни»: о преимуществах Николаевского порта, об экспорте зерна, о недоброкачественности итальянских фабрикатов. Но вскоре оба начали распускаться. Субъект, участвуя в торгах на аренду пароходных буфетов, изложил Михаилу различные способы «смазывания». Каких только не было: помимо вульгарных червонцев ужины а-ля карт, пикники, изливания и возлияния, отдача напрокат своих жен, а в случае нужды и принятие на себя чужих, ряд психологических диагнозов и сложнейших, невесомых услуг. Таким образом, торги превращались в пустую формальность, вроде оклейки бумаг гербовыми марками. Ясно, что беседа с торгов перешла на марки. Успех налета на Одессу и крепость вин Армении доводили бахвальство Михаила до анекдотических пределов. Субъект, однако, не удивлялся. Он знал, что при таланте все возможно. Михаил клялся, что направится вскоре в Сибирь и выпустит там свои особые марки. Кроме того, он предлагал ехать совместно на Запад: заставить немецкие профсоюзы заняться также клеением марок из «международной солидарности». В ресторане, помимо них, никого не было, и как выразительное взвизгивание гитар, так и мимопластика официантов относились исключительно к ним. Они еще успели и прочесть и даже оценить висевший на стене плакат: «Граждане, дающие чаевые, - вы даете взятку!» Субъекту изречение настолько понравилось, что он препохабно выругался и, подозвав официанта, отвалил ему кипу дензнаков:

- Стой на посту! Кто не берет, тот не ест. Притом, как говорит поп попадьё: тщетная предосторожность.

Еще позже Михаил, заставив собутыльника, в порядке медицинского освидетельствования, высунуть язык, смочил о него большую марку Помжерина и хотел наклеить ее на нос румына:

- Заграничный паспорт!..

Дальнейшего Михаил не помнил. Проснулся он днем в номере шестнадцатом, окруженный потным ароматом и кокетливым кружевцем киноэтуали Биче Беличели. Она лечила пациента от головной боли огуречным рассолом и подогретым пивом. Михаил послушливо исполнял все ее указания, а от разговоров уклонялся. Трудно сказать, что происходило в его душе. Скорей всего, душа

отсутствовала, тактично предоставив голове и желудку залечивать изъязны затянувшегося ужина. Столь же тихо, невыразительно прошли вечер и последующая ночь. Если и была выпита бутылка красного, а Биче удостоена кой-каких, весьма апатичных, телодвижений, то это происходило не от чувств Михаила, но от известного распорядка комнаты номер шестнадцать, которому он, как гость, невольно подчинялся. Утром он встал вполне бодрым и выздоровевшим. Ряд спешных посещений и телефонных звонков успокоил его. Компрометирующая ночь не вышла из полутьмы ресторана «Лондонской». Дело с марками двигалось без него. Одесса, не зря прожившая пять бурных лет, знала: сказано клеить. Слюнявя пальчики, Одесса клеила.

После обеда к Михаилу заглянули комсомольцы. Их отчет превосходил другие по рьяности, но Михаил его не слушал. Он был слишком взволнован самим приходом. Эта косолапая честность, прямота, грубость жестов и слов, которыми прикрывался юношеский идеализм, его и очаровывали и раздражали, как старика выцветшие фотографии его молодости. Он ведь еще недавно был таким же! (Он никогда не был таким же. Прошлое, впрочем, быстро забывается.) Он уже им завидовал. Он уже чувствовал, что они выиграли, они, с их жизнью впроголодь, с клеенчатыми тетрадками и горластым пением. Отчаявшись, он решился на героическое нападение. Выбрав одного, глаза которого своей потрясающей ясностью напоминали глаза средневековых богородиц или же влекомых на заклание ягнят, Михаил прервал сообщения о сборе на заводах и неожиданно спросил:

- Простите, товарищ, я вот вам один интимный вопросец поставлю. Не хочется ли вам иногда, так сказать, разложиться?.. Ну, знаете, разное: то есть кутнуть в ресторане, что ли, или к девочкам?..

Ясные глаза выдержали наскоки глаз Михаила, разъедающих тревогой и фосфором, они не зажмурились, не вздумали отвернуться, улизнуть под веки. Только к их доисторической, догрехопаденческой успокоенности примешалась некоторая доля удивления:

- Нет.

Одно скупо уроненное слово прозвучало, пожалуй, убедительней речи о ничтожестве нэпа и прочем. Атака Михаила была отбита. Он ожидал другого, жалких в своей ханжеской напыщенности фраз или красноречивой, полной учащенного дыхания паузы. Только не этого.

Он ждал подкрепления со стороны, оправдания своей двойной жизни, некоторой канонизации разбитых стаканов в ресторане, бравад и рулад, дезабилье Биче. Вместо этого он получил оглушительный удар. О невинности, об удивленности комсомольских глаз нельзя сказать иначе: они именно глушили. Огромное чувство одиночества и своей пропащести овладело Михаилом. Но лирика грозила многими неприятностями. Как бы ни было неподдельно отчаяние нашего героя, он все же успел подумать о подозрительности своего поведения. Он нашел в себе силы, чтобы с жаром схватить лапу мучителя, потрясти ее и воскликнуть:

- Вот это хорошо, товарищ! Молодая гвардия не выдаст. Я «Правде» помещу статейку: комсомол - могильщик нэпа.

Этим были побеждены удивление и общая натянутость. Закончив отчеты, комсомольцы ушли восвояси. Михаил, обрадованный падением занавеса, дал волю своим чувствам: головной боли, тикю, ненависти к себе и ненависти ко всем. От недавних гостей в нем осталось отвращение к белизне, пресности, сладковатости. Подобно пьяному, легко жонглируя образами и понятиями, он видел их в виде пасхальных ягнят с открыток. Кроме того, он боялся разоблачений и контрольной комиссии. Наконец, авантюра начинала казаться ему, при всем ее размахе, тесной. Об этом ли мечтал Михаил? Обслуженные марки, обманутые наивцы и червонцы в карманах. Что дальше? Ночью залитые вином скатерти, а утром блевотина. Вздор! Пакость! Михаил бегал по комнате до одурения.

Удивительно, как не поняла состояния нашего героя Хася Цвибель, она же Биче Беличели? Где же прославленная всеми профессиональная женская чуткость? Ей определенно следовало бы, услышав дробь его шагов, не прикасаться к двери. Однако она вошла. Хуже того, она с живостью кинулась к Михаилу, распахивая широко и руки, и полы фиолетового капота, и чрезмерно доверчивую душу. Она обдала нашего героя пудрой и воркованием. Все это было ею проделано со скромнейшим намерением получить от своего нового покровителя один червонец, необходимый для приобретения шелковых чулок змеиноного колера, прибывших в Одессу прямо из Константинополя.

- Это последний крик моды, - наивно щебетала Биче.

Для ответа Михаил воспользовался совершенно иным словарем. Он припечатал почтенную женщину весьма лаконичным словечком, хоть и выражающим в точности достаточно распространенную профессию, но, благодаря сложившимся традициям, недопустимым для воспроизведения. Биче, разумеется, обиделась. Как все люди, обычно крайне фамильярные, обидевшись, она стала церемонной и перешла на «вы».

- Вы не имеете права говорить такие выражения! Я - артистка. У меня из киноотдела мандат есть. Я могу даже вам скандал в газете устроить...

Конечно, это было наивностью, ибо никакие мандаты не могли изменить оценки Михаила, сделанной на основании опыта двух ночей. Но пафос Биче одновременно и взбесил и рассмешил обличителя, он привел его в довольно редкостное состояние добродушного бешенства. Повалив негодующую даму, он деловито, хоть и пребольно, однако не переходя границ, избегая как увечий, так и вульгарных синяков, отшлепал ее. Признаться, бедная Хася, или Биче, играла глупейшую роль заместительницы: Михаил был зол на самого себя. Но всякий поймет, что не может же человек в трезвом состоянии, среди бела дня, агент Помжерина и прочее, начать тузить самого себя. Женские мягкости подвернулись под руку. Биче пыталась немилосердно визжать, но Михаил зажал ее ротик, причем жертва успела все же укусить мизинец своего обидчика. Закончив экзекуцию, Михаил препроводил женщину в идейный коридор, бесцеремонно ногой подталкивая некоторые из ее телесных отслоений. Он ненавидел всю одесскую эпопею. Он жаждал честной трудовой жизни. Отдышавшись, он вышел на улицу, захватив отягощенный дензнаками чемоданчик. Первым делом он направился в аптеку и, купив йоду, поспешил смазать пострадавший мизинец. Далее, он занялся судьбами чемоданчика, точнее, его содержимого, для чего и свернул в темный проулок. Расталкивая толпу, он вошел в большой двор, хранивший пышное наименование «Пале-Рояля». К сведению читателей, незнакомых с нашими южными красотами, мы должны заметить, что пышность этого места ограничивалась наименованием. Если в парижском «Пале-Рояле» еще имеются и фасады Ренессанса, и цветники, и старинная кофейня, где не то Альфред Мюссе писал письма Жорж Санд, не то наоборот, то в одесском сохранилось всего-

навсего одно кафе Печеского, абсолютно не связанное с историей отечественной литературы. Зато этнография этого двора заслуживает всяческого внимания. На современный форум выходили все одесские спекулянты, не расстрелянные, не вымершие естественной смертью и не перекочевавшие в Москву. Чистота породы встречавшихся здесь экземпляров была поразительной. Конечно, в Москве на Ильинке делались дела и покрупнее, но в цифрах ли дело, поскольку речь идет о высоком искусстве? Любая сделка здесь сопровождалась такими жестами, такими монологами, такими патетическими объятиями, а порой и затрещинами, что мы удивляемся, почему не выводили сюда адепты биомеханики своих нерасторопных студийцев? Двести-триста человек, ежедневно приходивших в «Пале-Рояль», гудом наполняли мертвый город, растекаясь по улицам, то в виде озабоченных тружеников, то притворяясь беспечными фланерами и бесстрастно пришептывая при приближении какой-нибудь вышедшей за покупками хозяйки: «Беру - даю червонцы». Что они делают ныне, после введения твердой валюты? Перепродают польские злотые, спекулируют на мануфактуре или безропотно умирают, как их родная Одесса? В кафе Печеского, куда вошел Михаил, покорно стыли на столиках стаканы неотпитого чая. Нужно сказать, что спекулянты всегда заказывают чай. Мы не знаем в точности, происходит ли это от безразличия или от профессиональной склонности к указанному напитку, так или иначе именно чай, не кофе и не лимонад, является необходимой частью спекулянтского антуража. Стаканы стыли, ибо за столиками никто не сидел. Все толпились в проходах. Общее оживление усиливалось от пущенного слуха, будто какой-то заезжий москвич скупает доллары. Михаил мог познакомиться со сложным толкованием американских ассигнаций, с целой наукой о долларах, созданной в одесском «Пале-Рояле» и неизвестной в Вашингтоне. Однородность материала не могла удовлетворить талантливых одесситов. Как женщин, они дел или доллары на различные категории. Выше всего ценились «зеленые, с бабой» (так неуважительно называли посетители кафе Печеского статую Свободы), чуть отставали те, что «с быками», за ними следовали «портретики», в хвосте же шли «желтенькие». Говоря «в хвосте», мы не берем в расчет доморощенных долларов, одесского происхождения, рассчитанных на человеческую наивность или на подслеповатость.

Михаил, впрочем, не проявил никакого интереса к долларам. Спросив себе, официанту на удивление, кофе и выпив поданный стакан, он стал прицениваться к червонцам, обрастая постепенно наиболее солидными представителями пале-роялевской расы. Путая все наречия, ссылаясь на Бога и на гражданские добродетели, выдавая себя за агентов Госбанка или за доверенных иностранных фирм, различные усатые мужчины с трудом выдавливали мелкие надбавки, отталкивая друг друга, потев и ругаясь, пока наконец не покрыл всех один, с виду наиболее плюгавый, принявший кипы чемодана и вручивший вместо них триста двадцать шесть червонцев. Вспрыснуть сделку Михаил отказался, сославшись на дела, в душе же гнушаясь компанией. Даже кофе показался ему противным, жирным и прогорклым. Морщась, он вышел из кофейной.

Еще кто-то, догоняя его, шептал о партии румынских лей, а он уже шагал к вокзалу. Встреченному замзаву было сообщено, что работа в центре не ждет и что комитет требует его, Михаила, срочного возвращения.

Так было закончено клеение марок, оставив, кроме трехсот двадцати шести червонцев, гнусный привкус, как будто Михаил непосредственно участвовал в смачивании слюной тысяч и тысяч значков. С этим весьма неприятным ощущением, пренебрегая триумфом, Михаил и вошел в спальный вагон скорого поезда на Москву.

- Вздор! Дрянь! - снова бормотал он. Тщетно было объяснять самому себе все трюки, вплоть до удачного размена в кафе Печеского, интересами Помжерина, то есть государственными, то есть революции. Михаил, однако, и за это ухватился. Он попробовал заявить себе, что семьдесят пять процентов, то есть двести сорок пять червонцев, идут в комитет. Это что-нибудь да значит. Много ли таких полезных сотрудников? Он ведь представит честный отчет. Не надует. Но восемьдесят червонцев комиссионных, как бы пахнувших ночью в ресторане и «Пале-Роялем», даже капотом выпоротой Биче, чересчур отчетливо напоминали о себе. Михаил готов был впасть в угрюмое состояние, столь хорошо памятное теперь киноэтуали из шестнадцатого номера.

Но в дело с успехом вмешалось неодушевленное существо: спальный вагон. Как известно, вагоны эти, так называемые

«международные», не ведают государственных границ, поэтому лирические, а подчас и эпические описания их мы находим в литературе всех народов. Боясь столь серьезного соревнования, мы ограничимся здесь указанием, что вагон, в котором ехал Михаил, был самым обыкновенным спальным вагоном, со всеми красотами и чарами, присущими этим волшебным сооружениям, хранящим и в Сибири и в Сахаре как теплоту подушек, так и прохладный блеск медных пепельниц. Выскажем лишь вновь удивление перед живучестью вещей. Михаилу старый проводник, бывший проводником и в довоенное время, с ласковым прищамкиванием подал чай. На стакане стояли инициалы «W.L.», подтверждавшие, что стакан оказался долговечнее Российской империи. Как он уцелел в годы атаманов и бронепоездов? Спросите еще, как уцелела жизнь. Уцелела! Лучше, не спрашивая, пить чай с ванильным сухариком.

С рвением неопита Михаил предался комфорту, дотоле известному ему лишь по старым романам (с ятями). Он испробовал все приспособления, вымылся, лег, снова встал, проделал на ремнях несколько гимнастических упражнений, даже плюнул в блестящую плевательницу. За низкими окнами ночь как бы символизировала отсутствие, скуку, смерть. Здесь же белели простыни, издавая приятный аромат свежего белья. Чисто физиологический восторг перед жизнью победил в Михаиле все сложные драматические столкновения. Нэп или не нэп, откуда восемьдесят червонцев, вопросы этики и идейности - все это было выкинуто в сыпучесть и черноту мира, караулившего человека за окном, но не смеющего пробить стенки чудесного вагона. Вися на ремне, Михаил улыбнулся своим набухшим мускулам. Отхлебнул чаю, обрадовался его аромату и теплу. Черт возьми, он жив! Он здоров. Он молод. Этим сказано все.

Достав из шкафчика ночную вазу, Михаил залюбовался. И на ней красовались вездесущие инициалы. Он проделал над ней то, что и требовалось, но не как унылую человеческую обязанность, не формально, а с душой. Прекрасная вещь! Прекрасная жизнь!

После чего он уснул.

Гражданин или муравей

Две ночи и день длилось это восторженное забытие в крохотной коробке, с легкостью меняющей губернии, среди кожи, меди и укачивающей дрожи. Еще поезд не замедлял своего хода, еще сон мог бы длиться, но уже сознание близости Москвы начало напоминать Михаилу то о Помжерине, то о партийной чистке, то о тоске. Как всякое обольщение, спальный вагон начал терять магичность, отдавать дымом и скупыми аршинами вязать затекающие ноги.

Тупо вышел он на платформу столь памятного ему Брянского вокзала, купил газету «Вечерняя Москва», тотчас же отбросил ее, зевая и морщась, втесался в трамвай «Б» и начал московскую жизнь, двигая конечностями, произнося слова, но ничем, по существу, в этой жизни не участвуя. Ни партия, ни революция не занимали его. Восемьдесят червонцев оказались невыразительными, как малоинтересное письмо. Они лежали непересчитанные в боковом кармане. Михаил не вздумал пойти хотя бы в тот же «Лиссабон», где мог теперь легко взять реванш за недавнее принижение. Он не останавливался перед витринами. Он даже перестал бриться, что быстро сделало его лицо смахивающим на площадь умирающего города. Сдав отчет и деньги в Помжерин, он этим ограничил свои обязанности. В нем даже отсутствовал страх, и на конфиденциальный шепоток заведующего издательской частью о том, что все предприятие с клеением может вскоре раскрыться, он никак не реагировал. Он возмутил собеседника невыразительностью своего ответного «да?». Он ел картофельное суфле в вегетарианской столовой и ни о чем не думал.

Впрочем, может быть, и не стоит столь настаивать на этом. Еще один припадок отчаяния современного романтика, жаждущего на черной бирже сорвать небесные звезды и умирающего от скуки при виде вполне доброкачественных ассигнаций. Притом припадок недлительный: в Москве Михаил пробыл дней десять. Как-то очутился он на Курском вокзале. Кто же не знает, что вокзалы, эти малоуютные сооружения, являются в нашей жизни дверьми? Удрать! Куда и зачем - не важно, восемьдесят столь презираемых червонцев

превращали любой бред в достоверность. Следовало готовиться к переселению нашего героя на Южный берег Крыма или в один из кавказских курортов. Мы убеждены, что врачи, освидетельствовав его, нашли бы какую-нибудь презанятную болезнь, воды же в источниках никогда не иссякают. Но дальних поездов в этот день не оказалось. Михаил попробовал просидеть в буфете час, другой, лениво роняя на колени капусту щей. Потом он решительно встал.

Подольск? Что же, и Подольск место. Проезд туда длился немногим больше часа. Перед вокзалом свинья сосредоточенно чесала об изгородь свой неподтертый зад. Не хватало только почесывающих уши провинциалов. Они, вероятно, делали это за тусклыми стеклами своих домишек.

Михаил начинал понимать, что он приехал зачем-то в Подольск. Одесская путаница не улеглась. Он явственно увидел печатные буквы: «Переезд членов партии должен сопровождаться...» Он погибал. Конечно, можно бы оформить все. Но зачем? Подольск - что это? Город? Свинья у изгороди? Выдумка? Нечто вроде фиолетового капота киноэтуали? Тьфу! И Михаил сплюнул. Подольск. Ну конечно же, город. Местная парторганизация. Два завода. Откровенно говоря, вздор! Зачем он сюда залез? Чесать зад? Даже «Лиссабона» здесь нет. Можно с ума сойти. Если бы взять спальный вагон на год и кататься. Но ведь это же галиматья. Кончится тем, что его вычистят, обязательно вычистят. Еще, чего доброго, посадят. Что же теперь делать? В Москву? Трудиться? Да, кажется, нужно трудиться...

Но, вспомнив о Москве, Михаил никак не мог представить себе никакой работы. Москва вспоминалась только как головная боль, трамвай «Б», полный до отказа, и картофельное суфле. Он то отходил на сто шагов от вокзала, то возвращался назад, переживая скучнейший разлад, среди безлюдья, под крохотным и безучастным оком свиньи, настойчиво продолжавшей свое традиционное занятие. Он не мог раздумывать. Оформившись, колебание стало мелкими практическими вопросиками: ехать с поездом два сорок в Москву или снять здесь комнату?

Отработав тучное облако, солнце с ошарашивающей резвостью дворового пса выскочило на волю и начало метаться по Подольску. Мысли Михаила были прерваны теплыми лапами, ласково упавшими на малокровные городские щеки. Михаил улыбнулся. Он стал

изворачиваться, на манер свиньи, подставляя то лицо, то плечи, то спину лучам. Это и решило его дальнейшую судьбу. Он никуда не поедет. Подольск так Подольск. Главное, жить. Дышать, жевать, ходить. Скорей всего, он болен. Тогда нужно выздороветь. Тогда Подольск должен стать «домом отдыха». Его работа, восемьдесят червонцев, идеи, амбиция - что это по сравнению с теплом на плече, с теплотой самого плеча, еще живого и крепкого? И когда второе облако снова загнало солнце в закуток, когда внезапный холодок и серость стираемых тенью теней обдал и уличку, Михаил испытал физический ужас, как от смерти. Нервноничая, он зашел в лавочку и, купив неизвестно зачем банку засахарившегося варенья, спросил, не сдают ли они комнату. Ему нужна комната, маленькая, плохонькая, какая ни на есть комната. Скажем, на месяц.

Комнату сдавала некая Лышкова, вдова почтового служащего, и комната была даже не плохонькая: рукомойник, комод, на комодке вазочки. Сама Лышкова весьма любопытствовала, кто ее новый квартирант. Из Москвы. Коммунист, что ли? (Подумав последнее, она с опаской поглядела на Троеручицу, красовавшуюся в углу.) Но Михаила не занимали ни вазочки, ни икона. Наспех договорившись о цене, он вручил умиленной хозяйке четыре червонца и собрался было уже выходить, когда вспомнил о весьма существенном:

- Да, а комната у вас солнечная?

Лышкова просияла. Вопрос квартиранта внес спокойствие в ее несколько встревоженную душу, он как бы определял и породу и занятие неизвестного приезжего. С предельной ласковостью она заворковала:

- Утречком. Утречком всегда солнце. Как проснетесь, так солнышко. Так что, значит, вы дачник будете? А я уже не знала, за кого вас почитать. У нас прежде всегда дачники жили.

Ее радости не мог омрачить даже хохот, громовые спазмы хохота, вылетевшие неожиданно из широкой груди Михаила и заставившие вазочки кокетливо взвизгнуть.

Ах, как смеялся Михаил! Дачник! Оказывается, он дачник. Это так. Ничего не ответишь. Совсем неожиданно. Катастрофически неожиданно. Дышать воздухом и лечиться молочными продуктами. Дачник, не что иное. Ярлык его положительно веселил. Он превращал молокососа в некий исторический тип. Конечно, эффект мог быть

обратным. Кто поручится, как бы воспринял Михаил наивные прищамкивания вдовы Лышковой час тому назад, шмыгая у вокзала? Мирному исходу, то есть хохоту, немало способствовало солнце, теперь шалившее на крашенных половицах коридора. Удивительная вещь это солнце! О нем приходится поговорить особо.

Известны ли читателям открытия, совершаемые неожиданно, открытия благоуханности обыкновеннейшей летней ночи, увлекательности давно валявшейся на полке книги, трагичности, да, первичной мифической трагичности, какого-нибудь слова, обычно всучаемого и ненужного, вроде трамвайного билета, какого-нибудь слова, хотя бы слова «прощай»? Конечно, известны. Ведь читают нас такие же люди, как мы. Они знают, что эти открытия, не попадая на столбцы газет, являются более патетическими, чем открытие Америки неким генуэзцем. Так и с Михаилом. Он прожил на земле, то есть на планете, живущей за счет тепловой энергии солнца, почти четверть века исторического и полвека человеческого, не замечая солнца. Солнце было для него радиатором или электрической лампочкой. Стоило ли его замечать? И вот в один, весьма притом будничным, день - открытие. Михаил открывает солнце. Открывает его бешенство и доброту, его сексуальные ласки и жестокость полководца, касания, отталкивания, мудрость, именно мудрость, сочетаемую с проказами твенковского школьника. Он переживает восторги предков, атавистические неистовства солнцепоклонников, слушатель вуза, в толстовке, он склонен к приседаниям, к кувырканию, к языку бессмысленных жестов и звериных прыжков. Если он не кувыркается и не кричит, то все его существо безумствует, загорается, подожженное лучами, так что по пыльной улице уездного городишка, взятого напрокат из посредственной повести беллетриста 80-х годов, среди палисадников с желтым цветом огурцов, среди пыли, мелочных лавок, танцулек, партчитален, где мухи и слюнявый малец, швейных машин и домовитых кур несется менада, и рыжий чуб уже не обидная прихоть природы, не особая примета паспортиста, а торжественный факел.

Открыв солнце, Михаил открыл и многое иное. Обладая ключом шифра, он смог читать в этой огромной книге, знакомой многим из его современников лишь по затасканному переплету. Он вернулся к вокзалу на свидание с оставленной свиньей. Он нашел ее, разумеется,

у той же изгороди и мог теперь душевно насладиться свиной мудростью. Лучи солнца, наравне с кольями изгороди, чесали ее спину, грязную жирную спину, родственную в черноте, хлюпкости и жадности земле. Он открыл и землю, миновав улицы города, блуждая вокруг огородов, землю чувственную и завлекательную в ее теплоте, в тысяче различных крепких и нежных запахов, от живительного, подобного голосу трубы или бокалу шампанского, настоя навоза, который щекочет нос и кружит голову, до тончайшего аромата простой травинки, растертой меж пальцами, неистребимого в его слабости и беспомощности, как дыхание брошенных перчаток. Дойдя до леса, он открыл новый континент: архитектуру стволов, сырость мха, листья, иглы, птиц и совершенно непонятные синие куски, безразлично называемые людьми «небом», как будто над Страстной площадью и над лесной поляной один и тот же свод. Удерживая собственные лирические восторги, передаваемые нам впечатлительным героем, мы скажем как можно суше: Михаил открыл природу.

Иные ошибочно думают, что горожане, для которых сочетание реверберов давно заменило звездное небо, а запах варящегося в котлах асфальта - благовоние соснового леса, что эти люди, покрывающие волосатость тела сложными наслоениями рубашек, манишек, жилетов, пиджаков, пальто, не способны разделить восторги примитивного человека перед природой. Напротив, именно горожане подготовлены для таких восторгов. Природа для них не обычная обстановка, но ошарашивающая загадка. Лес или море они воспринимают не как средство пропитания, но как театр. Кроме того, они не требовательны, эти строители или обитатели грандиознейших небоскребов. Любая пригородная чащица с ее банками от консервов, клочками газет и яичной скорлупой мнится им загадочными джунглями. Не умея отличить липу от клена, они обобщают и торжественно говорят: «Мы сидели под деревом», - и право же, это синтетическое безымянное дерево грандиозней всех легендарных дубов, пальм, баобабов, хотя и является оно обшмыганной березкой в летнем увеселительном саду, где выступают куплетисты, и где дамы, потея, пьют сидро.

Лес под Подольском был вполне корректным лесом с папоротником, с ягодами, с различными ариями зябликов, иволг и

синиц. В нем можно было аукать, пытаться по кукушке судьбу, подносить возлюбленной ромашки или колокольчики, искать, смотря по сезону, ягоды или сыроежки, - словом, пользоваться всеми традиционными атрибутами любого порядочного леса. Но это следовало бы заключить в скобки, ибо не в достоинствах окрестностей Подольска дело, а в экзальтации нашего героя, как известно, и свинью превратившего в персонаж лирической поэмы.

Михаил бежал по лесу, от ствола к стволу, вырывался на неожиданность полян, терялся в темнотах кустов, падал на кочки, облипая сухими листьями и муравьями, кричал, смеялся и, лежа на спине, огромными неморгающими глазами нырял в щедрую синь. Это был Михаил, все тот же Михаил, который в Октябре бежал по Никитскому бульвару. Какой непонятной нагрузкой корыстных чувств и измельченных мыслей наградила его судьба? Читатели ведь не забыли предшествующих глав. Они помнят противный клей марок. Пожалуй, они помнят и об обиженной Ольге и о многом другом. Но Михаил ни о чем не помнил. Факты своей биографии, как и прочее, он выбросил где-то по дороге, возможно, что они остались у подольского вокзала, вспугнутые солнцем. Так или иначе, Михаил в лес пришел голым, вернее, в лесу не было Михаила Лыкова, а было существо, связанное с дятлами, с гниющей корой и с шорохом ветвей, безличное нарицательное существо, тот же дятел или муравей, только более крупной породы. Великая способность терять себя! Прекрасная рассеянность! Скажем, глядя на того же Михаила, окунувшего лицо в свежесть мха: вот она, грубая и темная свобода, верная порука неиссякающей жизни!

Бездумная нега Михаила была нарушена чуждым шорохом, посторонним лесу и даже звучащим диссонансом в стройной спевке его различных шумов. Это был человек, и, нехотя, недоуменно поглядев на него, Михаил мог убедиться: человек почтенного возраста, который, несмотря на лета и, следовательно, на трудно сгибающуюся поясницу, был поглощен сбором земляники. Разговор стал неизбежен, и вслед за возрастом Михаилу открылись как фамилия человека (Круглов), так и его социальное происхождение: бывший генерал. Удивляясь ходам муравьев, Михаил не мог удивляться хитрейшим извивам человеческих судеб: ведь он жил в наши годы. Генерал, собирающий ягоды для продажи на базаре,

показался ему естественной и достаточно скучной деталью жизни. Что ж ему еще делать? Конечно, Михаил был прав: Круглов и до революции годился лишь на украшение мещанских свадеб, чтобы невпопад бормотать о какой-то доисторической Хиве. Ну, а теперь свадьбы украшались уж иными фигурами: предисполкома или, на худой конец - начальником милиции. Ягоды же всегда остаются ягодами. Круглов жаловался:

- Глаза ослабли. Проглядываю. Да и мало земляники в этом году. Пройдут дети - и чисто. Притом культурности в них никакой: зеленые обрывают. Чернику, конечно, легче, но черника не в цене...

Эти жалобы, как и вопрос о глазах или о болях в пояснице, также не могли подействовать на Михаила. Нет, не жалость, совершенно иные побуждения вызвали его весьма внезапный и с виду эффектнейший поступок. Слушая старческие сетования, эти человеческие, обыденные, связанные с фунтом хлеба или с трамваем «Б» слова, столь чуждые лесному говору, он поневоле вспомнил о себе. Ему подкидывали удостоверение личности. Ему напоминали, что он не муравей, а Михаил Лыков, гражданин, член компартии, ездивший недавно в Одессу с весьма подозрительными марками. Рядом с партбилетом топорщились потрепанные червонцы. Он не хотел знать о них. Он хотел лежать в лесу. Только. Просто. Без всяких дальнейших планов и выводов. Он не удовольствовался бы теперь и рассмешившим его званием «дачника». Он предпочел бы вправду быть муравьем. И вдруг червонцы...

Последнее, то есть червонцы, выступило особенно отчетливо после застенчивой, в сторону куда-то к безучастному глянцу листвы обращенной, просьбы: не может ли Михаил ссудить Круглова небольшой суммой? То есть, попросту, Круглову хочется есть, а корзинка пустая. Еще раз: дети обирают ягоды. Во всем виноваты эти чересчур резвые дети. Здесь-то в голове Михаила со всей резкостью встал вопрос: что же дальше?..

«Лиссабон»? Девочки? Ульстер.? Да нет же! Был слишком свеж и чуден этот лес. Ставшему немым, недвижимым, бесчувственным, рот разинувшему от удивления Круглову Михаил всучил всю пачку, отягощающую и правый карман и душу. После чего он быстро нырнул в заросль орешника. Он слышал издали отчаянный крик несчастного генерала:

- Краденые? Я краденых не возьму. Я честный человек!

Крик сопровождался хрустом веток: Крупное пытался догнать Михаила. Но куда ему было с его генеральским прошлым, с Хивой и отслужившими ногами! Михаил весело шел вперед. Он улыбался, может быть, солнцу, а может быть, улитке, кокетливо виляющей рожками на изощренном ковре кленового листа.

Овчины. Еще одна страсть

Конечно же, он не стал муравьем, не стал и дачником. Приподнятости хватило ровно на три дня, и когда прошли эти блаженные дни, Михаил заставил почтенную вдову Лышкову вторично пережить отмирание ног от исключительного изумления. Хотя Лышкова и была современницей введения нового, «безбожного» календаря, изъятия церковных ценностей и многого иного, воистину изумительного, поведение ее нового квартиранта явилось для нее столь непонятным, что реагировать на него иначе, то есть не всплеснуть руками, не взглянуть умоляюще на Троеручицу, она не смогла. Пусть люди со стороны, незаинтересованные, сами рассудят. Прожив кое-как три дня (мы говорим «кое-как», потому что Лышкову немало смущал образ жизни Михаила, неизвестно где слонявшегося и приносившего среди ночи в пристойную вдовью квартиру сосновые иглы, крохи сухого хлеба и жеребьячий топот), он на четвертый явился к хозяйке и, развязно зевая, потребовал денег, чтобы доехать до Москвы. Не в деньгах дело - ведь Михаил заплатил Лышковой за два месяца вперед, - в приличии. Можно ли снимать комнату на лето и через три дня бросать ее? Хорош дачник! Это мазурик! Удивительно, как он ночью не прирезал беззащитную вдову. Второпях Лышкова убежала подымать в кухоньке половицу, под которой хранились ее сбережения: все бы, кажется, отдала, лишь бы поскорее выпроводить из дому подобного злодея.

Итак, Михаил оказался вновь в Москве, правда немного загоревший, но зато с душой, вконец промотанной среди первобытных безумств, и без червонцев, которые, отсутствуя, теряли все свои неприятные психологические свойства и делались вновь заманчивыми, особенно натошак. А дни Михаила проходили почти регулярно натошак. Помог бы Артем, но брату Михаил говорил то о важном назначении с высоким окладом, то, уж вовсе нескладно, о лотерейном выигрыше, - словом, держал перед ним фасон.

Это давало нашему герою некоторое духовное удовлетворение, но это, конечно, не насыщало его. А он мало-помалу излечивался и от меланхолии, и от беспричинных восторгов своей одесской экскурсии.

Проходя как-то мимо «Лиссабона», он даже вполне определенно вздохнул. Если бы сожаления производили червонцы, он, вероятно, пожалел бы о бумажках, сдуру подкинутых экс-генералу. Жалеть же зря не стоило. Картофельное суфле и то перешло в разряд мечтаний. Следовало серьезно подумать о каком-нибудь новом предприятии.

Ему повезло. В очень голодный, до сухости во рту, до ломоты в спине, вечер, проходя по обжорному Арбату, с его засадами колбасных, гастрономических и кондитерских, Михаил напал на знакомую физиономию. Она, право же, стояла всех яств витрин. Одно на мгновение удержало скачок рук Михаила, не выпустило радостного возгласа из горла: как-никак он его изрядно обидел... А впрочем... Какой деловой человек станет обращать внимание на едкость эпитетов? Ведь жизнь не литература.

Расчет Михаила оказался правильным. Арсений Вогау дружески потряс руку Михаила, хоть и был ему обязан бегством через проходной двор, одышкой, даже бессонной ночью. Он сразу понял и оценил многообещающий язык этого рукопожатия: дело могло касаться только овчин.

Вогау, конечно, не ошибался. В сознании Михаила он был тесно связан именно с овчиной, с тепловатостью и уютом желтоватого меха, с легким трюком и с аккуратно отсчитываемыми червонцами. Увидев в зеленоватом отсвете аптечного окна физиономию приятеля, Михаил прежде всего произнес не «здорово!» и не «как живешь?», но «овчины».

- Что же, овчинка выделки стоит, - улыбаясь, ответил Вогау. - Вот зайдем в Мосгико, потолкуем.

Ясно, что беседа была не абстрактным спором о порочности нэпа, омрачившим памятный вечер в «Лиссабоне», но деловым, дружественным сговором.

Если Вогау был все тем же, что в «Лиссабоне», успев за это время лишь приобрести рыжие модные полуботинки с носками вверх и триппер, то Михаил проделал сложнейший путь. Потребовались месяцы искусства, метания и перебоев, чтобы, начав с негодующих слез, закончить подготовительную школу простым рукопожатием. После Одессы ему нечего было бояться. Для Вогау нашлись и внятные тому интонации, и соответствующий бодрый подсчет предстоящих прибылей, и деловитое хамство в разговорах с официантом.

Пили они пиво и портвейн. Это сочетание, на вид эксцентричное, было для обоих простейшим: водки здесь не промыслить, а за свои деньги нужно получить максимум эффекта. Портвейн пили, как водку, закусывая селедочкой, пиво же утоляло жажду. В манере пить они не были одинокими, и как лоск щек, так и забубенность дискантных разговоров, методически дополняемых органами басами отрыжки, подтверждали действенность подобного союза напитков.

Туберкулезный скрипач, года два тому назад, наверное, занимавшийся музыкальным образованием масс в каком-нибудь губнаробразе, теперь злобно резал скрипку смычком, а скрипка, живучая скрипка, отвечала мотивом лондонского фокстрота, который, однако, звучал как визг избиваемой хитровой девки. Ассимиляция - хитрая штука. Тот же фокстрот где-нибудь на Пикадилли, в «Савое» отдает экзотикой колоний, ходит в смокинге и дышит сложными ароматами коктейлей, духов Аткинсона, плотных исторических туманов. Здесь же его напоили черносливным портвейном, смешанным с пивом, дали заесть мелкими кусочками воблы или моченым горохом, и ничего, фокстрот не умер, он только стал зудящей бранью, истерическими воплями героинь Достоевского, напоминая о предсмертной пене повесившихся квартирантов или о сапожном запахе милицейских протоколов. И, слушая надрывы скрипки, какая-то девка из ресторанных, из тех, что даже почитывают переводные романы модных авторов, выпускаемые Госиздатом (с целью найти в них новинки для разборчивых клиентов), бойко крикнула:

- Да что ты ко мне с заграницей своей лезешь! Будто я сама не могу фокстротой пройтись!..

Могла бы, прошлась бы, ей-ей, сочетая наивные ужимки холмогорских дойных хороводов с тряской американской заводной игрушки, портвейн с пивом, навалившись мясом и молоком на партнера, требуя душевного участия и червонцев, плача от тоски и матерщину прерывая иностранными словечками. Впрочем, танцевать в Мосгико не танцевали - места не было. Если подымались, то либо по домам, либо бить друг друга. В углах духовные соратники Вогау шептались о пеньке, о скобяном товаре, о червонцах, о чулках. Один из наших духовных соратников, так называемый «брат писатель», щипал под столом колено немолодой, но экспансивной особы,

преданной до самоотверженности отечественной литературе и автографам, а щипая, задумчиво приговаривал:

- Прежде всего, формальный метод...

Таким образом, в Мосгико все были заняты делом, обновлялись бутылки, марались скатерти. Воздух все сильнее насыщался дымом популярных папирос «Червонец» и кислотами газов. Заключались сделки, кровоточил подбитый нос, и скрипка, паскудная скрипка, не погибала: у нее были действительно воловьи нервы. А очкастый гражданин, представляющий здесь иной мир, с талончиками обходил лоснящиеся пары и взывал:

- Граждане, после двенадцати: пятьдесят золотом на беспризорных детей.

- Да что ты с заграницей своей!..

- Ленька, ты ее штопором!..

- Нам малаги три бутылки и огурчиков.

- Я уже с Мосхозторгом наладил. Проволока по шестнадцать триста...

- Ах ты хам собачий, да я тебя!..

- Пососи!.. Пососи!..

Среди этого своеобразного уютца, попутных возгласов и летающих бутылок приятели могли свободно обмозговать овчинное дело. С виду оно казалось несложным. «Сельсбыт» предлагал четыре тысячи двести овчин по пятьдесят за штуку. «Вохз» давал сто десять. По пятьдесят это уже составляло равным счетом двадцать одну тысячу - стоило потрудиться: сто семьдесят червонцев. Затруднение для Вогау было в том, что и «Сельсбыт» и «Вохз» не желали иметь дела с посредниками. На счастье, они друг друга не знали, то есть различные исходящие о спросе и о предложении, носясь по бесчисленным канцеляриям, как идеальные прямые, нигде не скрещивались. Нужно было купить овчины у «Сельсбыта» по пятьдесят, купить от имени какого-нибудь госучреждения, и тотчас перепродать их «Вохзу». Даже денег не приходится выкладывать. Две бумажки с подписями завов. Последних либо уговорить в бескорыстности предприятия, либо сделать соучастниками. Вогау это не по силам, а Михаил - коммунист, притом с девственной репутацией. Где бы он ни служил, ему ничего не стоит это склеить. Дело почти что для питомцев яслей. С последним Михаилу трудно

было согласиться: предприятие представлялось сложным и опасным. Но пустые бутылки, пары пивной, наконец, азартность собственной натуры требовали согласия, и, для бодрости взвизгнув в такт скрипке, Михаил согласился.

Началась новая лихорадочная жизнь: розыски, шмыготня по коридорам учреждений, шепоты, надежды и разочарования, уголовщина защитного цвета, ежедневная погоня не на автомобилях, не на благородных конях, как в американских фильмах, а бумажная погоня в огромном канцелярском лабиринте, где Рабкрин, Гепеу, угрозыск охотились за тысячами Вогау и Лыковых. Несмотря на внешнюю беззвучность, бескрасочность, графичность этой борьбы, на изобилие цифр и специальных терминов, она, право же, полна драматизма, театральных эмоций и завлекательности. Пусть недоверчивые читатели прослушают судебное разбирательство по обвинению каких-нибудь третьесортных «хозяйственников», они убедятся, что пыльные залы губсуда вполне заменяют (будучи к тому же бесплатными) кинотеатр.

Дебют Михаила был не из легких. Приходилось торопиться: ведь «Сельсбыт» мог ежедневно продать овчины если и не «Вохзу», то другому учреждению. Втереться в «Сельсбыт» оказалось делом трудным, для этого прежде всего требовалось время. К тому же, не освоившись с нравами места, с порядком местного бумагообращения, со слабостями зава, со страстишками замзава, со степенью зоркости местного Рабкринина - словом, с климатом и этнографией, - трудно было подстроить фиктивную продажу. Оставалось найти третье место, которое согласилось бы выполнить роль посредника. Зря потолкавшись среди товарищей Артема, Михаил вспомнил о Дышкине из «Северопеньки», как-то взволновавшем нашего героя и запахом бензина, и чудесами гурзуфских пикников. Он согласен был предоставить Дышкину две трети заработка: сто десять червонцев. А ведь это деньги, способные соблазнить даже обладателя автомобиля, тем паче что дело для человека оседлого, то есть чувствующего себя в тресте как дома, пустячное. Купил. Продал. Как провести в отчетах? Ну, на это у Дышкина хватит ума: ведь тот же автомобиль - аттестация некоторых, чисто духовных, способностей.

Дышкин принял Михаила в столовой, в умильной столовой, сохранившей все очарование доисторических лет, от фикусов в

зеленых кадках и картин с большущими рыбинами до хрустальных подставочек для вилок и ножей. Нет, Дышкин не был заурядным гражданином! Помилуйте, московские газеты только и говорили что о квартирном кризисе, а у Дышкина были и столовая, и кабинет с английскими клубными креслами. Дав маху в начале революции, сбежав в Киев и дойдя там до драматических низин, то есть до регистрации фребелических проектов в собесе, Дышкин быстро наверстал потерянное. Он вскоре оказался и в «Главльне», и в «Северопеньке», попутно перепродавая вагоны мыла и партии крон, спекулируя на лодзинском сукне и на посылках «Ары», участвуя в изготовлении пива и в ремонте шести домов на улице Кропоткина, задуманном простодушными жилтовариществами, подрабатывая то на конских состязаниях, то в казино, - словом, как человек современный, универсальный, внося во все области человеческой жизни свой обслонявленный карандашик, жирные студенистые пальцы и свободный от предрассудков интеллект. Начал он карьеру до революции, но тогда его тормозили и общая вялость, и различные страхи, и даже этика. За годы террора он разучился бояться, он свыкся с близостью смерти, и это придало ему, как горькие капли, необыкновенный аппетит к жизни. А вскрытие сейфов вконец разрушило его моральные устои. Он больше ни во что не верил и ничего не боялся. Он любил хорошо поесть и поспать с дорогими дамами (причем в последних ценил гораздо больше рыночную стоимость белья, нежели их прелести). Говоря с коммунистами, он искренне радовался: «Аппарат налаживается». Когда же те вдохновлялись: «Вот, в Саксонии начинается, скоро мы им покажем», - он сиял без лицемерия, он ничего не имел против вскрытия сейфов дрезденских дураков. Ведь он был застрахован от этого, и не малонадежной полицией, нет - Красной Армией, историей, Октябрем, ставшим для него уже воспоминанием. Он был убежден, что два раза такие вещи не случаются. Он переболел корью, и слава богу. Богатство дореволюционное ему казалось мифом, детской плупостью. А час спустя, беседуя уже в своем кругу, без «посторонних» (то есть коммунистов), он столь же естественно восторгался: «Разве они без нас могут существовать? «Американку» разрешили. Все разрешат. Мы их пересидим, ей-богу, пересидим!..» Автомобиль сопел, как преданный пес. Борзая на козлах превращала Тверскую в парижские

бульвары. Дамочки угодливо щеголяли настоящими алансонскими кружевами, а на обеденном столе блистали не одни только подставки, но и индюшка с каштанами, икорка, волованы.

Ясно, что Михаил, войдя в эту столовую, почувствовал трепет, благоговение, робость ученика. Не богатство импонировало ему, но та воистину гениальная легкость, с которой Дышкин вытаскивал из касс учреждений, из карманов простоватых жуликов, отовсюду, происхождением не интересуясь, равно приятные червонцы. Михаил уважал только свежее, недавнее, чуть ли не в один день созданное, богатство. Он мог смеяться над прихотью какого-нибудь старорежимного купца, издававшего «Золотое руно» с импортированными французами и построившего в Петровском парке виллу «Черный лебедь», но он богомольно поглядывал на обстановку гражданина Дышкина. Слушая его полные подлинной фантастики рассказы о скупке еще в паечные времена карточек мертвых граждан, о переправе коньяка в полую животе статуи Августа Бебеля, о председателе жилтоварищества, который приобрел у Дышкина трубы, находившиеся в его же собственном доме, он готов был воскликнуть: «Учитель, я буду твоим смиренным и понятливым учеником!» Он, конечно, не сделал этого, ибо деловитость беседы и трезвость Дышкина менее всего располагали к подобным стилистическим анахронизмам. Он только коротко и разумно изложил Дышкину все возможности, рождаемые овчинами. Две бумажки «Северопеньки» устроят дело в двадцать четыре часа. Из ста семидесяти червонцев сто десять - Дышкину. Вот только как оформить закупку, то есть как, в случае недоразумения, объяснить, зачем «Северопеньке» понадобились овчины?

Дышкин не брезгал ничем, он хорошо знал, что десятки создаются из единиц. Кроме того, он испытывал как раз в то время (проворонив торги в таможне) некоторые денежные затруднения. Поэтому он сразу согласился. Озабоченность Михаила, недоумевающего, как оформить дело, вызвала в нем взрыв хохота, загадочного для собеседника. (Дышкин смеялся, сохраняя полную серьезность физиономии, как будто полоскал горло.) Да это же щенячья проблема! Как будто «Северопеньке» не могут понадобиться овчины для рабочих. Словом, Михаила это не касается. Но так как вся работа падает на трест, то и распределение выигрыша (Дышкин

выражался спортивно, не «прибыли», не «барыши», а «выигрыши») должно быть изменено. С Михаила, так сказать, за идею, хватит и двадцати пяти червонцев.

Почтение перед Дышкиным никак не могло уничтожить в Михаиле других чувств, прежде всего самолюбия. Отнюдь не жадность, но обида заставила его при попытке снижения суммы болезненно вздрогнуть. Он не мог допустить, чтобы с ним обращались как с мальчишкой на побегушках, как с жалким уличным маклером. Он понимал, что начать торговаться - это значит получить с надбавкой в пять червонцев ассортимент оскорблений. Он уже готов был, изобразив негодование по поводу внезапно открывшегося для него противозаконного и гнусного характера сделки, уйти, отравив на миг благодущие столовой, с остатками недоеденного сливочного крема, упоминанием о Рабкрине. Но тогда-то он вспомнил о своем козыре. Это было скорее интуитивной находкой, нежели логическим выводом. Не вступая в пререкания с Дышкиным, он, как бы вскользь, невзначай, напомнил о своей партийности. Действие оказалось радикальным. Не сразу, прослоив разговор двумя-тремя ничего не значащими фразами, Дышкин дружески заявил, что все же, помня приятельские еще по Киеву отношения, он набавит Михаилу даже не шестьдесят, как он хотел, а семьдесят, а себе за всю работу оставит только сотню.

Дней десять спустя (задержка вышла из-за отсутствия свободных денег в «Вохзе») Михаил вынес из кабинета Дышкина семьдесят червонцев. В наивности он подумал, что проживет на них спокойно месяца три-четыре, предаваясь чтению и работе. Представить себе жизнь вне партийных нагрузок он еще не умел. Все это было, однако, лишь рассуждениями, одно начисто исключало другое. Он не раскрывал книг и не ходил на собрания. Зато были осчастливлены его посещениями и «Лиссабон», и «Ливорно», и десятки разнокалиберных пивных, с цыганами, с великорусским хором, с фокстротами, с балалайками и просто с мордобоем. Деньги, пройдя через пухленькие ручки Дышкина, многому научились - у них были свои вкусы и склонности. Они вели Михаила к ресторанам, обходя библиотеку или партклуб, заставляли губы присасываться к вину, а руки - к выпуклостям случайных собутыльниц. Это они (видно, Михаил порядком успел надоесть им), в жажде новых впечатлений и кочевой

жизни, привели его как-то к залитому газовым, театральным светом подъезду казино.

По длинному столу ерзали различные червонцы (то есть червонцы были все добротные, если не считать презрительно встречаемых «пяточков» или «сертификатов», различались же они лишь по месту своего последнего жительства). Предприятия с пенькой, овчинами, домами, трубами, подшипниками, мазутом, горючим получали здесь последнее, по большей части весьма неожиданное, завершение. Здесь проматывались зарегистрированные в загсе жены, приобретались артистки передвижных трупп, рушились дачи в Быкове или в Малаховке, менялось решительно все. Жизнь, то становясь компактной пачкой, умещалась в кармане счастливого, то вылетала, как пар, смешивалась с дымом и испарениями толпы, оставляла неудачливому нэпману или подотчетному сотруднику трестика мелочь на чаевые швейцару и короткую ночь для какого-нибудь из тривиальнейших способов самоубийства. Все это происходило отнюдь не безмолвно, но с той яростной, хоть и абстрагированной, руганью, которая появляется, как пена на губах, когда душа кипит и выкипает, с угрозами и слезами, с античными молитвами и со злобными ссылками на разоблачения, на газеты, даже на Гепеу.

Михаил познал все это. Он познал одушевленность и в то же время бесчувственность крохотного шарика, способного противопоставить трепету человеческого сердца свои злостные каверзы. Он боролся с судьбой и ненавидел крупье. Не раз он переходил от блаженства, столь сильного и чистого, что, радуясь выигрышу, как школьник неожиданному празднику, забывал о деньгах, до еле удерживаемого желания придушить нахального крупье, чья сущность, чей прыщик на носу, чья безразличная хрипота казались ему вызывающими, требующими немедленного возмездия.

Это длилось не один вечер. Все остальное было забыто. Он не встречался с Артемом, не разворачивал газет, не заходил к себе. Он только играл. Выиграв, он поил в шашлычной каких-то случайных людей, актеров, сокращенных служащих, карточных шулеров, проституток, заставляя их допиваться до тошноты и скандалов, а проигрывая, одиноко бродил по переулкам Хамовников или по пустым набережным Москвы-реки, бессмысленно шевеля губами, складывая

навязчивые цифры и злобно выплевывая, как ему казалось, особенно горькую, едкую слюну. Это кончилось лишь тогда, когда последний червонец, слабо пометавшись, как осенний лист, перейдя несколько раз от крупье к Михаилу и обратно, наконец решительно залег в чужой стопке. Опомившись, Михаил вышел на улицу.

Он заметил, что уже подошла осень: в листьях вязли ноги и за ворот залезал холодный ветерок.

Он не засовывал дула в рот и не выискивал крючка покрепче. Он спокойно шагал к себе, освобожденный от какой-то трудовой обязанности. Он знал, что теперь засядет за книги, пожалуй, даже исправится, станет хорошим, честным партийцем. Может быть, и в Индию попадет. Он заканчивал одну из своих многообразных страстей сухо и деловито, без угрызений, но и без радости, как мы заканчиваем эту главу.

Об одном отлучении

Ведя жизнь несчастного самодура, примеряя то примятую шляпу дельца, то парусиновый пиджак дачника, то пестрый галстук вкушающего плоды своей деятельности маклера, жуира, игрока, Михаил забывал об одном: как-никак он еще числится членом партии, потеряв былой порыв, он не потерял партбилета (да он и берег его много ревнивее, нежели червонцы).

Вспоминая изредка, в пробелах сумасбродства, что есть партия, он то радовался, как бы обретая уютный дом, где можно отдохнуть от безумств, то начинал пугливо вздрагивать, проявлять во всех жестах мнительность, предчувствуя чистку, нечто слепое и неизбежное, как сыпняк.

Впрочем, последние недели он совсем не думал об этом. Пот игры истошал его, цифры, как мухи, облипали мозг, не оставляя просветов. Осенней ночью, как известно, он сразу вспомнил о своей жизни, о толстых конспектах лекций, об общественной работе. Он сладостно осклабился, он склонен был улыбаться милым и ласковым старикам. Он возвращался на родину. И, как всегда бывает, несчастье пришло неожиданно, сыпняк напал, когда его не ждали, перестали ждать.

Михаила приглашали для объяснений. Нужно ли говорить о естественности этого? Порезвившись добрых шесть месяцев, он наконец-то был накрыт. Где? На чем? Этого он не знал. Прежде всего он почувствовал страх, не смешанный ни с раскаянием, ни с горестью, страх как таковой. Он готов был визжать. Вызов мог означать если не смерть, то тюрьму, жесткость камерных стен, переплет окна, дурноту и сердцебиение допросов, пот, знакомый ему по казино, недобрый пот, без надежды отыграться, без двери на пахнущую мокрыми листьями добренькую улочку. Он даже лишен был возможности подготовиться, выдумать оправдательное неведение, подыскать смягчающих души свидетелей: ведь лаконическая бумажка не заключала пунктов обвинения. Марки? Овчины? Может быть, все вместе. Он хотел было побежать в Помжерин и к Дышкину, чтобы проверить, кого еще накрыли. Но не пошел - там могла быть засада.

Он не хотел ускорять хотя бы на час свою гибель. Страх не только подрубал его ноги, но и разрезал мысли, как лапшу, обращая голову в кучу назойливо кишачих муравьев. Он заставил Михаила, обычно находчивого, делать за одной глупостью другую. Прежде всего Михаил решил не являться на вызов, то есть он, собственно говоря, ничего не решил, ежеминутно колеблясь, готовясь то смиренно направиться непосредственно в тюрьму, минуя и контрольную комиссию и камеру следователя, то задумывая фантастическое бегство в Мурманск. В итоге он ничего не предпринимал. Лихорадочно метался он на кровати, пугаясь каждого дверного скрипа, голоса за стеной, сумерек, рассвета - решительно всего.

Так прошли две недели. Его сил хватало лишь на то, чтобы изредка прокрадываться к Артему и, раздобыв у брата толику денег, закупать еду. Иногда это был хлеб, каравай ржаного хлеба, который он жевал тупо и бесчувственного одурения. Иногда же он покупал в гастрономической лавке какие-нибудь деликатесы: балык, сардинки, швейцарский сыр, и в умилении поглощал это, думая - напоследок, потом тюрьма и смерть.

Вызов повторился, удвоив все отвратительные приступы страха, Михаил снова ответил на него молчанием.

Наконец развязка настала. Минута, которая должна была убить Михаила, явилась радостью. Исключение он воспринял как спасение, более того, как чудо. Он забыл о пролежанной кровати, он бегал по улицам, чувствуя острый аппетит, любовь к миру, веселье, приятную слабость выздоравливающего. Да, это не рулетка! Здесь ему выпала удача, решительная и полная удача. Не марки и не овчины. Вместо смерти, вместо сырых пятен на тюремной стене какая-то смешная формальность. Его исключили из партии за «неподобающий для коммуниста образ жизни». В ответ он душевно благодарил, жал невидимые руки, кланялся. Ну, его заметили в казино или в одном из кабачков. Исключили. Велика важность! Как будто Дышкину мешает, что он не в партии. Хуже дела от этого? Индюшатины жестче? Или, может быть, дамочки становятся скупее на фокусы? Вздор! Михаилу нужно лезть в гору, чтобы дойти до того же Дышкина. Дышкин - это идеал. При чем тут партбилет? Китайские церемонии наивных людей, верящих во всеильность бумаги. Есть такие, что и в иконы верят. В ад. Он их презирает. Он, Михаил Лыков!

Вдоволь наравдовавшись, Михаил стал налаживать новую жизнь. Он прекратил всякие встречи как с Артемом, так и с бывшими товарищами. При помощи Вогау он устроился в Центропосторге. Казалось, все шло как по маслу. Правда, о «Лиссабоне» нечего было и помышлять. Зато стали возможными регулярные обеды, и не вегетарианские, а мясные, из трех блюд. Михаил, однако, скучал. Вогау теперь не давал ему ходу, он, пожалуй, его затирал. Михаилу, мнившему себя гениальным, он поручал только мелкие делишки, причем пресные, то есть законные, безо всяких комиссионных. Месячный оклад, в его тупой неподвижности, казался нашему герою аттестатом прирожденной посредственности, могильной плитой над всеми возможностями и порывами. Он толкнулся было к Дышкину, но тот принял его в передней, сухо заявив, что дел никаких нет. Может быть, Дышкин был просто в скверном настроении, расстроен невыгодной продажей хлопка, а может быть, дошли до него слухи о вычистке Михаила, - словом, ничего из этого не вышло. Служить же в Центропосторге, поглядывая, как Вогау хапает червонцы и перегоняет их то в новый костюмчик, то в часы «Лонжин», то в каких-то певичек, было скучно, откровенно говоря, скучнее, чем вузовские лекции. Там хоть имелась перспектива повышения, крупной работы, государственного яркого оперения, а здесь ничего: машинки, счета и обед из трех блюд.

Самолюбие Михаила страдало. Страдала его романтическая душа, жаждавшая маскарадов, подмостков, игры, хлопков. Больше всего страдали руки, привыкшие к необузданным жестам и вынужденные теперь на бесчувственных костяшках проверять точность поставок или размеры чужих комиссионных. Конечно, так живут многие, так живут миллионы, такая жизнь, по всей вероятности, вернейшая порука правильного развития человеческого общества. В архитектурные замыслы природы не входит скука или даже отчаяние моллюска. Десятки ежедневных самоубийств не могут потрясти громадного организма. Все это так. Но следует подумать об особых обстоятельствах, придававших скуке Михаила столь исключительный, даже социально опасный характер. Конечно, нет ничего увеселяющего душу в конторах лондонского Сити. Если «ундервуды» и сменили описанные Диккенсом элегично поскрипывавшие перышки, то этим ограничивается перемена: те же

туманы, та же пыль, та же чудовищная добросовестная (как и все, что выделяется на гордом острове) скука. Но любой клерк приучен к этому кровью десяти поколений клерков, молоком жены и дочери клерка, воздухом, едой, играми, языком, абсолютно всем. Не переживший ничего постороннего в жизни, кроме сентиментальных фильмов, нокаута любимого боксера и несварения желудка от слишком удачного пудинга, он воспринимает скуку Сити как свою стихию. Нельзя же возмущаться воздухом за то, что он лишен острых запахов или яркой окраски. Другое дело Михаил. Восставать, воевать, кичиться орденами, мечтать о мировой переделке, с легкостью, будто это лютики, срывать и швырять червонцы, реветь от восторга при виде солнца, жить щедрой на все высоты и низины жизнью, чтобы потом попасть за залитый чернилами, обсиженный мухами конторский столик, - нет, это даже флегматику показалось бы чрезмерным испытанием. При порывистости же нашего героя быстро укрупнявшаяся скука ежечасно грозила взрывом. Задержка произошла от физического и душевного ослабления, порожденного неделями страха. Только задержка. Взрыв был неминуем.

Рассказчику приходится всегда настаивать на искре, спичке, окурке, ибо люди любят наглядность и плохо верят в горючесть тех или иных складов. Спичкой на этот раз явилась небольшая демонстрация комсомольцев, двигавшаяся по Садовой, сама по себе никак не примечательная, обычная демонстрация с опубликованным в газетной хронике маршрутом и одобренными лозунгами.

Представляется несущественным, демонстрировали ли комсомольцы против «пауков - лондонских банкиров» или в честь третьего просветительного фронта, скорей всего они демонстрировали потому, что были комсомольцами, как гром гремит потому, что он гром, а не солнце и не дождь. Михаил, возвращаясь со службы, в синеватом свете зимнего переходного часа столкнулся с этой весьма будничной демонстрацией. Остальное доделали лица, повадки, смех, шепот, голоса демонстрантов.

Мы не впервые видим, сколь сильное впечатление производили на нашего героя комсомольцы, это пугало честных профессоров, ревнителей порядка и моралистов из эмиграции. Старая партийная интеллигенция была ему глубоко чуждой, как были чужды не только все люди, жившие в зрелом возрасте до войны и до революции,

невольно вобравшие в себя теплоту и нервозность прошлого века, но даже изданные тогда книги, выстроенные тогда дома. Он боялся их ригоризма, скромных жестов и близоруких глаз, аскетической морали, неумения веселиться, наследственной честности и не вытравленных до конца традиций. Узнав раньше их, а потом книги, он с недоумением увидал, что ни материалистическое мировоззрение, ни революционный опыт не выжгли дотла толстовской этичности одних, чеховской тоски других (так что речи о революции звучали как знаменитое «мы увидим небо в алмазах»), наконец, присущего третьим надрыва героев Достоевского, писателя, который для нового поколения стал чужестранцем, директором паноптикума ужасов, перебивавшим из России в Германию, чтобы растравливать там души немецких интеллигентов, войной и картошкой доведенных до идеализма. «Старая гвардия» мало что говорила Михаилу. Зато комсомол был его родиной. Здесь каждое острое словечко, каждый жест являлись ему внятными. Михаил лелеял к комсомолу подлинную любовь. Мы разрешим себе добавить, что разделяем это чувство. Мы не знаем, что выйдет из этой молодежи - строители коммунизма или американизированные специалисты; но мы любим это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно, - на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет.

Увидев теперь на Садовой эти папахи и шапки, эти каракули улыбок, Михаил остановился. Он не смел присоединиться к ним. Он не мог и продолжать свой путь, проклятый путь от костяшек счетов к обеду из трех блюд, к нудным заигрываниям с веснушчатой мастерицей, ко сну без снов. Он понял, что продулся, продулся в прах, что этот проигрыш страшнее всех неудачных восстаний и всех рулеточных козней. Ведь на некоем зеленом сукне осталась его молодость, горячая и прекрасная, родственная смеху этих юношей, этой «братвы» (так он подумал - «братвы»). Ему же ничего не

оставили, кроме скуки, кроме битков или зраз, кроме одури Центропосторга, ничего, даже горя. Скука, прожорливая, тощая, острозубая скука, исподтишка обслюнявила, пережевала, проплотила все: и воспоминания, и дерзость, и тоску. Остается одно, понятное всем проигравшимся: смерть.

Так была поднесена к резервам прошедших месяцев крохотная спичка. Демонстранты могли идти дальше по пушистому кольцу Садовых. Михаил мог стоять, обсыпаемый снегом, как будто желавшим сострадательно затушевать нестерпимую четкость его отчаяния. Все было сделано и решено. Хоть и с запозданием, но до его существа дошло небольшое постановление, казавшееся прежде радостью и теперь расшифрованное. Оно означало смерть. И больше мысли Михаила не могли оторваться от этого постановления, как от приговора, прислушиваясь к звучанию слогов, ползая по неразборчивым извилинам подписей, припоминая роковые даты. Он уже не стоял на углу Садовой. Как обычно, волнение заставило его ноги быстро, не сгибаясь, выводить по прямым улицам торопливые шаги. Не думая конкретно о самоубийстве, он нес его в себе, настолько он тяготился своим здоровьем, ходом ног, дыханием, настолько обрадовался бы каждой вздорной идиотской случайности, которая бы стерла его, Михаила, как резинка досадную кляксу.

Отъединение навалилось на Михаила, отверженность лепрозория, стыд сифилитика, замечающего, что от него брезгливо отодвигаются, пустота. Как описать нам, рожденным в ином веке, привыкшим к сладости уединения, к гордости неразделенных помыслов, вот это сиротство человека, отрешенного от своей среды? То, что мнилось еще недавно доблестным, хоть и горестным, уделом, новое поколение расценивает как вырванные палачом ноздри или как провалившийся нос. По безапелляционности, по исключительности этого нельзя сравнивать даже с горем любовника, жадными руками обнимающего холодную подушку, ищущего следов отошедших форм, выемок, теплоты, или же стоящего у закрытых ворот под освещенным окном, традиционного любовника, Пьеро в плаще из габардина, на залитом ацетиленом лице которого уже проступает смерть. Нет, это чувство и гуще, и темнее. Оно лишает не радости, но воздуха, и далеко назад должны мы оглянуться, чтобы в наивных и старательных писаниях средневековых монахов найти ему нечто родственное.

Только там, среди желтизны восковых свечей, пергамента лиц, среди духоты и плотности воздуха, среди живой его черноты, мы найдем подлинный ужас, срам, отчаяние, задыхания, которые переживал ныне, бродя по снегам советской Москвы, наш жестоко наказанный герой. И как бы ни был различен социальный и идеологический характер сопоставляемых нами веков, мы все же не уступим этого сравнения, мы скажем, что и для психолога, и для неизменно младенческого человеческого сердца мука является той же мукой, зовут ли ее «отлучением от единой и апостольской» или, короче, жестче, «партчисткой».

Отчаяние являлось огромной формой, быстро наполнявшейся различными мыслями. Прежде всего эти мысли были ревнивыми и злобными. Михаил перечислял свои заслуги перед партией, переживал свою ей преданность. Он отдал все, решительно все! Разве он любил кого-нибудь, кроме нее? Хорошо, пусть он загляделся, оступился, в рассеянности на минуту забыл о ней. Его следовало окликнуть, дружески напомнив ему: «Ты - Лыков, ты - коммунист». Вместо этого его попросту вычистили, не раздумывая, как будто его ум, руки, сердце не в счет, как будто он сухая ветка на дереве или куча мусора во дворе. Злые, жестокие люди! Думая так, Михаил, конечно, не вспоминал о длительности своей «рассеянности», о марках, об овчине, о «Лиссабоне» и казино. Он опускал первый вызов. Месяцы преступлений сливались в один туманный, бредовый денек, невесомый, призрачный рядом с четким шрифтом предшествующих лет, с кровавой чернью Перекопа, со вшами на привалах, с грохотом, рыком, титанической суетой любой атаки, с голодом и мучительной дробью терминов, цифр, часов в вузе, честностью прежнего Михаила. Ревнуя, он помышлял о мести. Он искал в тишине безлюдных улочек этой окраины, как и в своей памяти, примет новой любовницы, не для любви, для ущерба, для ущемления отвергшей его партии. Направо дорога для него была закрыта, не только внешне: дни в Киеве все же даром не прошли. Даже в беспамятстве мысли его не кидались туда, они шарахались от одного приближения к прошлому, к презрительным господам из «кружка», даже к запаху пустых флаконов и философских книжек на столике Ольги. Но, вспомнив глухое урчание своего желудка перед первыми витринами гастрономических магазинов, перед этими подснежниками нэповской

весны, глухое урчание рабочих окраин, слезы после ночи в «Лиссабоне», чьи-то шепоты и проклятья, лиловые туманные листки (на гектографе), огромное недоумение, болезненно расширившее столько наивных зрачков, вспомнив это, он как будто обрадовался. Затормозив свой бег, он попытался придать мыслям четкость некоторого плана. Он войдет в один из нелегальных «кружков», он будет бороться с компартией слева, требуя восстановления Октября, обличая вождей, этих злых и лицемерных вождей, которые, отпустив стране Кронштадт, разрешили и «Лиссабоны», и казино, а Михаилу не захотели простить пустой обмолвки.

Однако не прошло и десяти минут, как бег возобновился, а решение войти в группу «Рабочей силы» утонуло среди глушивших и звуки и страсти сугробов. Произошло это не вследствие страха перед мыслимой расплатой, нет, поэтизированной смерти Михаил никогда не боялся. Но на одну минуту столь редко посещавшая его трезвость, сознание пропорций, ощущение реальности осветили взбудораженную голову. Конечно, это не было результатом логических выкладок: бегая в бешенстве, ища сочувствия у пустырей, грозясь редким фонариком, где тут было до выкладок, до счетов и мер. Озарение было внезапным, стихийным. В нем играли главные роли тишина снега, усталость ног и теплый оранжевый пар, пропитанный отсветами огней, исходивший от города. Михаил неожиданно почувствовал свою малость, беспомощность, ничтожество. Он дрожал, как зажженная спичка, теряясь и погибая среди множества, среди плотного, близкого, темного множества, окружавшего его. Так, наперекор балладам из хрестоматии, наперекор и нашим отроческим снам, восстание частицы против целого в Москве двадцать третьего года не только не мнилось романтическим, требующим кисти, резца, гекзаметров, но попросту граничило с клиникой, с бромом или душами. Ну хорошо, допустим, что его пальто и сойдет за плащ, а плеск далеких огней всех этих наркоматов, трестов, главков покажется океаном. Но сердце? Но пот в морозный вечер? Но готовые выскочить наружу слезы? Несчастное сердце, сердце современника героической эпопеи, песчинка, пигмей: вот подул ветер, отнес его в сторону — на что оно способно? Оно ведь не может даже отсчитывать секунды, сокращаться и шириться, чистить кровь, оно ничего не может. Но ей-

ей (не вы ли тому свидетели?), оно же, теплое, человеческое, отчаянное, создает пафос, историю.

Так наконец Михаил дошел до раскаяния. Мы не скрыли, что этому способствовали страх, ощущение своего бессилия. Можно сказать, что, дубася, нещадно дубася, довели его до животного покаяния, до униженности, ползания, лизания сапог нашкодившего барбоса. Зато покаяние было полным. Впервые оно объединило годы и поступки Михаила в одно, что зовем мыс птичьего полета «жизнью такого-то». Оно шло от кота госпожи Шандау до недавних замыслов войти в подпольную организацию, вмещая и молочник, и даже невместимую голубизну неких женских глаз. Ощущение своего ничтожества было осмыслено, определено: мелкий, жалкий, гаденький человек. Так думал Михаил. Он походил на верующего, который бежит среди ночи к духовнику, на бритого фанатика иных лет, ощущающего в жестокости власяницы, в чрезмерной горячности щек тот запах серы и бесцельной муки, которым пропитан ад. Унижаясь, он не только не умирал, но, напротив, заполнялся некоторой жизнеспособностью, жаждой искупления, рядом новых для него чувств. В этом была вся традиционная правда раскаяния, хорошо обследованная мировой литературой. И нам ничуть не кажется удивительным, что этот бег, вначале бесцельный, привел его к определенному дому, к известному подъезду, в комнату такую-то. Того требовало сердце.

Таким образом, были достойно завершены все нелепости нашего героя, составляющие содержание настоящей главы. Начав с трусливого молчания, которым он ответил на приглашение райкома явиться тогда-то, Михаил кончил лихорадочным стуком в дверь, неурочным визитом к одному из членов контрольной комиссии, к видному работнику, визитом абсурдным. Трезво рассуждая, он топил себя. Но что же делать? Трезвости в нем не было. Все эти поступки являлись по-своему логичными, необходимыми. Товарищ Тверцов увидел назойливые и нежные руки, раньше голоса ворвавшиеся в щель приоткрытой двери.

В небольшой комнатке 1-го Дома Советов произошло это недлительное, но страшное объяснение. Товарищ Тверцов редко бывал дома. Комната принимала лишь его занятия и сон, то есть цифры отчетов, духоту пересиливаемой усталости и быстрое чистое

замирание большого тела, без сновидений, жизнь, скорей схематическую, условную, только теплотой дыхания и животным запахом белья отличавшуюся от листов бумаги или от фотографий. Менее всего эта комната, голая вплоть до отсутствия в ней портретов на стенке или какой-нибудь индивидуальной вещицы, хотя бы своей чернильницы, была подготовлена к подобной сцене, полной даже внешней выразительности. Лицо Тверцова являло жесткость и подобранность костей, не обросших мясом, чертеж идей и чувств. За двадцать лет подполья, тюрем и ссылок глаза его сгустились, они отдавали тяжелым блеском безусловной преданности, веры. Если прибавить высокий рост, длину и заостренность конечностей, то получится не частое среди славян перевоплощение моделей Эль Греко.

Вот к этому фанатизму принесли рыжий чуб, неугомонные руки, бредовая голова. Здесь произошла исповедь, полная и беспощадная, так что тщетно пытался Тверцов устранить некоторые детали, касавшиеся Ольги. Впрочем, он не настаивал. Как ни тяжело ему было слушать, он понимал, что пришедшему необходимо говорить (необходимо вроде срочной операции). И он выслушал все. Он оказался на высоте положения. Рассказ не возмутил и не разжалобил его. Он нашел нужные слова. Таких людей, как Тверцов, многие не раз обличали за их схематичность, ачеловечность. Обличения, конечно, справедливые. Тверцов в роли мужа, отца, любовника может вызвать лишь сострадательную улыбку. Что понимал он в искусстве или психологии? Но оставим это и признаем, что бывают у таких людей патетические минуты озарения, вполне человеческой снисходительности, благороднейших чувств. Их отрешенность от общих страстей дает им возможность нелицеприятия, мудрого диагноза. Отвечая Михаилу, Тверцов был суров, крайне суров, но не вследствие бесчувственности. Он видел, что за суровостью и пришел к нему этот беспутный фантазер. Он напомнил ему о попоранном долге. Он подтвердил справедливость постигшей кары. Но здесь же, как опытный духовник, он указал Михаилу со всей мыслимой точностью дорогу раскаяния, очищения. Когда Михаил поведением своим загладит прошлое, партия снова примет его. Все это было сделано с такой умелостью, с таким чувством меры, с такими нудными поддакиваниями и угрюмыми

паузами, что диву даешься, будто Тверцов всю свою жизнь штудировал не политическую экономию, а богословские трактаты. Беседа длилась менее часа, но Михаил вышел из этой комнаты ободренным, очищенным, ликующим. Еще никак не помышляя о практическом применении преподанных ему назиданий, он верил в свое исправление, он готов был сейчас же начать трудную жизнь, чем труднее, тем лучше, ломовую жизнь, радуясь ее поту, бессловесности, короткому сну. Его руки чинно висели по швам. Он хотел кому-нибудь улыбнуться, но на улице было пусто, и, помимо снега, он нашел только сонного милиционера. Что же, он улыбнулся ему, наш наивный герой, Михаил, нет, Мишка. Милиционер, однако, недоверчиво взглянув на него, окруженный ночью и снегом, тоскливо зевнул.

А Тверцов лег спать. Беседа с Михаилом настолько утомила его, что он не смог работать. Но и уснуть он не смог. Приподнятость, созданная положением, исчезла. Вспоминая теперь сбивчивые фразы исповеди, он испытывал брезгливость и ужас. Вместе с пиджаком спали и другие, нажитые годами, приметы, хотя бы железный фанатизм. На кровати ворочался не суровый духовник, а обыкновенный человек, близорукий и малокровный. Даже лицо, распутившись, лишилось сходства с портретами Эль Греко, напоминая теперь скорее мягкостью и беспомощностью наших отечественных донкихотов (из бывших дворян). Он невольно вспоминал свою юность, уютную, несмотря на тюрьмы и гонения. Разве не было в студенческих кружках тех лет тургеневской белизны? Разговоры порой походили на крахмальные занавески прибранных комнаток. Тверцов вспомнил и покойную жену, тоже большевичку, их идейную близость, целомудрие скупых ласк, совместную работу. Как все это не походило на рассказ Михаила! А карты, кутежи? Кому же, кроме белоподкладочников, могли тогда прийти в голову подобные забавы? Странное время! Оно должно быть прекрасным. И все же оно странное, даже страшное. Кто идет на смену Тверцову, Тверцовым?.. Бессонница длилась. Непонятное томление большого, сильного, умного человека услышала эта комната, тихая, деловая, за стенами которой, не допущенная внутрь, густела ночь, с ее непосильной темнотой, с немотой снега, неизвестная, еще никем не названная ночь.

Исповедь на другой лад. Герой недоволен родиной

Государство не монастырь и не исправительная колония. Михаилу, конечно, в ту ночь повезло. Но больше ни на Тверцова, ни на подобных Тверцову он не нападал. Таким образом, исповедь осталась без продолжения, если не считать некоторых вполне искренних поисков подходящей работы да, пожалуй, известной скромности, сохраняемой в течение двух-трех ближайших недель. Остальное?.. Но ведь ломовой пот, о котором он мечтал, выйдя от Тверцова, был великолепным алмазным потом, сиянием, романтикой. Его не выдавали на бирже труда. Там пот сбивался на портянки, свидетельствовал о нудности и тяготе. Раскаяние, правда, длилось, как и мечты об искуплении. Но раскаяние было громким, эффектным, парадным, способным на улыбку милиционеру, на публичное унижение, на героическую смерть, только не на скромненькое чиновничье перышко с его мышинным попискиванием. Притом наш герой был уверен в своем исправлении. Ночное блуждание по сугробам и часу Тверцова он засчитывал себе за многие годы. Нужно ли подтверждать мелочным прилежанием героизм минуты, когда он, любя партию, не побоялся отступить от себя? Какой тупой контролер сможет, послонявив пальцы, сосчитать теплые, вертлявые человеческие дни? Формальность! Михаилу нужен не карцер, не отсиживание, но живая, вдохновляющая работа. Вновь в его голове подымались душные наименования далеких городов, пряность географии, невзыскательная экзотика.

Неудивительно, что из всех наркоматов, отделов, подотделов, трестов, союзов и прочих учреждений, от которых тщетно пытается разгрузиться наша столица, Михаил облюбовал Наркоминдел, с его парадным лифтом, автомобилями у подъездов, с соблазнительным обликом влетающих и вылетающих дипкурьеров, которые, как перелетные птицы, вечно волнуют поэтов и просто непоседливых людей. Прочитав в «Правде» о курсах красных дипломатов, Михаил стал мечтать пробраться туда, ликвидировав вычистку. Он принюхивался, осматривался, проводил дни в обследовании мест и в

завязывании скромных знакомств. Дело оказалось, однако, значительно более сложным, нежели он предполагал. Не одно помещение успели отремонтировать за истекший год. Люди тоже стали серьезней, суше, осмотрительней. Прошмыгнуть, заговорив секретаршу, или влезть с нахрапу к наркому было теперь немислимо. Всюду, интересуясь прошлым, вытаскивали проклятую вычистку. Михаил попробовал было нагло сослаться на Тверцова. Что же, эти недоверчивые сердца потребовали подтверждения. Михаил дошел до подъезда Дома Советов, готовый уже подняться к своему недавнему духовнику и вместо лирических глубин попросить у него на этот раз поручительства. Но, вспомнив глаза Тверцова с их холодным огнем, он потолкался в подъезде и вышел на улицу: струсил.

Он предпочел возобновить прежние окольные рекогносцировки. Они-то привели нашего героя в кабинет товарища Кроля, куда без доклада вход запрещался. Огрызок красного карандаша, лежащий на столе, обладал многими магическими свойствами, и, заметив его, зеленоватые призрачные щеки Михаила гармонично зардели. Скрыть от Кроля историю с вычисткой он не смог. Пришлось в оправдание изложить всю свою биографию, то есть вновь заняться исповедью, как будто это его профессия. Но, сравнивая этот его рассказ с услышанным Тверцовым, мы видим не только различность фактов, а и несовместимость стилей. Это были произведения двух враждующих авторов. У Тверцова Михаил усердствовал в самооголении, здесь же он умело маскировал все свои природные дефекты то идеологическими отталкиваниями, то романтическими уклонами. Он не скрывал грехов, но грехи эти он подавал столь аппетитно, с таким гарниром, с такими поэтическими наименованиями, что, казалось, никакой постник не смог бы попрекнуть за них застенчивого краснеющего юношу. На что Тверцов был неприступен, и тот, может быть, услышав такую версию этой жизни, пожалел бы много испытавшего, несмотря на нежный возраст, товарища. Право же, красный карандаш, по всем расчетам Михаила, мог участливо склониться и выронить бесценное «принять». И что же?.. В самом возвышенном, в самом трогательном месте рассказ Михаила был прерван неожиданным грубым, обескураживающим хохотом.

Да, товарищ Кроль от смеха даже вытер пестрым платком свой испещренный красными метками лоб. Чтобы стало понятным столь

странное для ответственного работника поведение, следует объяснить, кто он, этот товарищ Кроль. На кого напал наш герой в поисках красного карандашика? Мы бы так его определили: несколько анахроническая фигура, ожившее воспоминание Первого Интернационала в эпоху трестов, этих государственных кулебяк, запоздавшие специи для закуски, для солений, для маринадов: уксус, перец, горчица, заставившие не один лоб морщиться, завсегдаятай венских или берлинских кофеен, где над пеной смятых газет высятся пенсне, пепел изжеванной сигареты, брызги слюны и сарказм, конечно, первосортный, всеевропейский. Было время, когда Кроль вдруг оказался в России своим, человеком на месте. Его усмешка тогда чувствовалась и в едкости гари, и в остроте оттепелей, и в первых декретах, и в нотах Чичерина, полемизировавшего с «цивилизованной Антантой», и в веселых глазенках любого школьника, разоблачившего учителя. Время то прошло. Острословие товарища Кроля, вновь сгустившись, заняло небольшой кабинетик, куда нахально и проник Михаил. Прodelки продолжались: то на дипломатическом банкете он заговаривал с англичанином об Индии (хоть Индия не соя, на что крепок желудок бритта, и тот не может переварить нечто подобное), то в идиллическое интервью об экспорте зерна он подкидывал горсточку кайеннского перца, принуждая многих злиться, откашливаться, даже сморкаться. Впрочем, все это было безобидным озорством, чудачеством.

Теперь, мы полагаем, ясно, что в ответ на высокопатетические рассуждения Михаила мог последовать лишь смех, этот оглушающий смех, по неожиданности и громкости схожий с лаем большого простуженного пса. Особенно развеселили Кроля намеки на Ольгу, то есть упоминание о некоей положенной на алтарь революции нежной привязанности. Ни дрожь голоса, ни румянец, ни главный козырь, знаменитый пигмент глаз, неизменно выручавший нашего героя, не произвели на Кроля никакого впечатления. Он отнесся к этим приметам как к нехитрым трюкам местечкового фокусника, как к цвету лица венских красоток, который измеряется не их возрастом, но исключительно маркой пудры. Это было, конечно, несколько примитивным способом воспринимать мир. Но иногда лучше бывает снаивничать, нежели перемудрить. Выражаясь вульгарно, он Михаила «раскусил», раскусил немедленно, после первых же слов о «жажде

работать». Досыта насмеявшись, он даже залюбовался этим прохвостом: эстетические восприятия не были ему чужды. Ханжество юноши, возвышаясь над средним уровнем, требовало любования. Кроль так и выразился, откровенно:

- Жаль, что вам здесь простора нет. В Америку бы... Там бы вы такую панаму развели...

Михаил растерялся. Не поняв смеха, он решил обойти его, как латинскую поговорку в газете. Последнее восклицание было, однако, еще загадочней смеха. Добродушие голоса и одобрительность слов как будто указывали на удачу: здесь наконец-то его поняли! Но «панамы»? Как это понять? И может ли коммунист, не иронизируя, в чем-нибудь предпочесть Америку Советской России? Значит, это издевка. Не только откажет, но выгонит, пожалуй, сообщит в Гепеу. Что же делать? Михаил рад был бы уйти, пропасть, отменить все им сказанное. Но это было труднее, чем войти. А Кроль продолжал свои непонятные философствования:

- И насчет Одессы вы наврали... Я вас сразу понял... Нахапали. Талантливый вы человек, очень талантливый. Теперь вы, следовательно, в дипломаты метите?..

- Я вам сказал. Я ищу трудной работы. Я хочу отдать все свои силы.

- Так-с. А по-моему, вам бы вернее всего втереться во Внешторг. И за границу...

Михаил был уничтожен. Только его смятением и взволнованностью можно объяснить, что на явно провокационные наставления Кроля он кротко, по-детски ответил:

- Что же, если нужно, я и во Внешторг готов.

- Готовы? Вот это великолепно. Только словят вас. Увидите, что словят. Ну, будет, посмеялись, теперь ступайте.

Михаил встал, сел, въедаясь глазами то в хитрое обезьянье лицо Кроля, то в его руку, по-прежнему далекую от карандаша. Наконец он решился спросить:

- Куда? Во Внешторг?

- Я уж не знаю. Куда хотите. Я бы вас направил к одному знакомому писателю, чтобы он с вами побеседовал. Замечательный роман может выйти. Да зарежет, пожалуй, главлит. Ну, до свиданья: мне некогда.

Рука Кроля наконец снялась с места. Но она не взяла карандашика, она и не потянулась к руке Михаила. Деловито она указала на дверь. Так кончилась вторая исповедь. Так кончился и период раскаяния, ибо, выйдя на Кузнецкий, оправившись несколько от первого стыда, Михаил почувствовал всю живучесть воскресшей злобы. На этот раз она не ширилась, не вела его к обобщению, не нашептывала о подпольных организациях. Нарядная публика и витрины возвращали его к прежним замыслам. Бромберг, овчины, Вогау - он снова жил этими внятыми образами. Но нужных дверей не значилось. С чего начать? К кому кинуться? Кроль его выставил. Что же, можно примириться со стороной моральной, можно самому плюнуть на всю их хваленую чистоплотность. Однако остается факт: с Наркоминделом не выгорело. Позорно, что такой ум, такие руки, такое сердце, да, сердце Михаила, горячее, ревнивое, золотое, остаются без применения!

Он дошел до Сретенки. Мороз крепчал, и перспектива идти по светлым пустым бульварам, застывая и задыхаясь, испугала его. Тяжело дыша и нездоровым светом освещая синь снега, подполз засахаренный трамвай. Михаил вошел, подталкиваемый другими людьми, несгибающимися, мертвенными, похожими на мороженые туши. Какая нищета была в этом, в плотности застывающего дыхания, в густоте запахов, в сиплом выкрике кондукторши, у которой изморозь выела ресницы: «Граждане, уплотнитесь!» В этом ударении «граждане» - какая фантастика векового юродства! Или только казалось это взволнованному нелюбезной беседой герою? Он вглядывался в лица с изъятием мыслей, он как бы изучал согласованность зевоты, массовость движений, которыми пассажиры утирали оттепель носов, эту плянцевитость указательных пальцев в коже или же в шерсти, сонливость, замедленное движение статьи из «Известий» по головам, шей, жирных или постных, по желудкам, медлительность грызущего лед трамвая, медлительность породы, ледяное небытие.

Он ощущал всем своим существом ужас климата. Если б он родился в Италии или хотя бы в Германии! Тот же снег там редкость, выпадет - быстро свезут за город как нечистоты. Асфальт. Шины и отсветы фонарей. Там бы его не отталкивали, не боялись бы его поспешности, горячности, разгона рук. Все дело в климате. Для

других стран это абстракция, слово из учебника географии. Там погода, хорошая или плохая, и все. Здесь же климат. Он важнее, патетичнее идей, строя, законов. Здесь он - тяжесть дыхания и мощь, гранитная всепокрывающая мощь вшивых шкур на вялом, начесанном, заспанном теле. Овчины. Почему овчины? Дышкин, алло! Дышкин - нарыв, Михаил - случайность. А овчины навек...

Почему он родился в этой страшной стране? Кроль неплохо сказал: почему он не американец? Брать только весом, пудами, заваливая чуть ли не полушарие той же овчиной. Трамвай полз, как нансеновский «Фрам» среди льдов и смерти. Это не жизнь. Это из «библиотеки для юношества», лекция с туманными картинками. Редко глаза наталкивались на извозчика, на это диковинное существо, на чудовище, обмотанное рыжим тряпьем, под которым булькала ругань и холодеющий чай, на припудренную холодом морду полярной красавицы убойной клячи, или на берлогу пивной, выдыхавшую клуб пара, отрыжку шарманки и двух весельчаков, готовых не то подраться, не то заплакать.

Михаил понял, что он ненавидит Россию, ненавидит тупо, зло, с одним желанием отхлестать ее недоуменную физиономию вожами, сломать ей нос, бить обледеневшими копытами ее тучные груди, этот дар многих каш: гречневой, пшенной, ячневой и прочих, эти валдайские возвышенности, бить их, топтать, не столько уничтожить (как без нее прожить?), сколько унижить. Чувство это традиционное, и, описывая его, мы соблюдаем полное беспристрастие. Кто же из наших соотечественников хоть однажды не испытывал подобного отчаяния? Кто оберег себя от приступов этой злобы, весьма родственной злобе на самого себя? Ее связывали с политическими протестами против различных режимов или со страхом перед сжиманием ртути в градуснике, с сетованиями на скудость истории, на позорность удельных хамов, на блудливое ерзание четырех толстозадых императриц, с сивушным ароматцем бунтов, с чем угодно, в зависимости от характера и обстоятельств, но рождалась она всегда из тех же глубин самообличения, из той же трудности принадлежать к огромному и темному множеству, из нелегкой доли служить пробиркой, где свободолюбие, скажем даже, бешенство европейского хищника смешивается с мудрейшей, с тишайшей кровищей барана,

быть школой, где монгола учат шаркать ножкой и плясание на животе врага сопровождать параграфами конституций.

Особенно остро дано ее почувствовать новому поколению, начавшему дышать, думать, действовать в революционные годы, когда монголы вырезывали у монголов скулы, чтобы походить на европейских товарищей (а европейцы, кстати скажем, высоко расценивая именно скулы, примеривали их поверх набриллиантиненных усиков и пенсне), когда снег если и не свозили за город, то покрывали кубистическими холстинами, когда рождались замыслы переокрасить в одну ночь всю Свердловскую площадь или сделать этак в один год страну высокограмотной, устроить на площадях, обходя мороз, тулупы и харканье, карнавальные забавы, - словом, когда Россия примеряла немало платьев и травести. В этом чувстве страха перед косностью материала был и подлинный трагизм слишком горячих энтузиастов, была в нем и мелкая досадливость резвых юношей, осаживаемых не только бдительным оком властей, но и климатом, нравами, этнографией. За что Михаил, покачиваясь в проходе трамвая, ненавидел Россию? Она его вязала. Он ненавидел послушливость, терпение, сугубую тишину зимы. Даже революцию здесь ухитрились перегнуть в смирение, в дисциплину, в парады среди дыма декабрьских утр, в сосульки бесчисленных ячеек. Взяли огонь, и что же, он обливает мертвым светом, этим коллодием, снег площадей, не прорезая толщу овчин, он бесстрастно сверкает электрическими лозунгами. Замороженный огонь! Из ненависти Михаила шло презрение. Он брезгливо вздрагивал от прикосновений этих скрипучих тел. Он весь горит. Он - человек, герой, поэт, романтик, среди скифов! Нет, проще, среди баранов! Трагедия Наполеона!

Да, Михаил, отнюдь не иронизируя (он и вообще, как русский человек, был мало склонен к иронии), всерьез чувствовал себя Наполеоном. Он ведь не мог поглядеть на себя со стороны. Он не мог оценить своего сходства, потрясающего тождества со столь презираемыми им попутчиками. Рыжий чуб отсутствовал, проплоченный меховой шапкой. Все же остальное, то есть полушубок, грубость дыхания, промерзлость ног, являлось частицей трамвая «А», всей Москвы. Что касается мыслей, бестолково барахтавшихся на поверхности его обледеневшей головы, как рыбы у проруби, то и они вряд ли носили столь исключительный характер. Кто знает, сколько

Наполеонов ежедневно ездили в трамвае «А» или шли по улицам, от холода притопывая и хлопая деревянными ручищами? В тихие, как бы неживые ночи они примеряли если не плащ, то какое-то забавное тряпье из героического реквизита, и над тулупами пылали призрачные звезды северной болезненной романтики.

Герой находит достойную его героиню

Несколько недель спустя, с душой значительно более уравновешенной, Михаил шел в Полуэктов переулок к некоему Глотову на вечеринку. Кроме выпивки, танцев и прочих аттракционов, к которым наш герой был далеко не равнодушен, Глотов обещал познакомить его с одной дамой, знающей ходы в Донторг, а Вогау недавно поручил Михаилу дельце, связанное (хоть и деликатно) именно с этим учреждением. Сам Глотов служил в инотделе, Михаил с ним познакомился в период мечтаний о красной дипломатии. Но, войдя в натопленную комнату, полную непонятных звуков, световых пятен, запахов, Михаил сразу забыл о деловой стороне визита. Он попал в мир экрана, у которого были объем, реальность жизни. Это было шикарнее «Лиссабона», отличаясь интимностью, замкнутостью, притягательностью простого номера квартиры вместо оскорбительной вывески, это было и важнее, нежели обладание дочерью бывшего владельца спичечной фабрики. («Бывшего!» - вспоминая теперь Ольгу, Михаил презрительно морщился: много ли стоят рассказы о бывших путешествиях?) Здесь его принимали просто, как равного. Он сразу стал живой частью волшебного мира. Он даже не мог говорить, он только улыбался, задевая чрезмерно впечатлительными руками чужие руки, плечи дам, бутылки. Впрочем, общество, собиравшееся у Глотова, отличалось терпимостью, широтой суждений и любовью к неожиданным жестам. Это была весьма своеобразная полусветская-полуартистическая богема Москвы двадцать третьего года, и поведение Михаила никого не шокировало.

Кроме того, все были заняты делом. Молодежь, включая Глотова, танцевала с трогательной старательностью, которая, несмотря на новизну па, придавала этим танцам стиль дворянской усадьбы тридцатых годов прошлого века. Ездившие в командировки привозили новое откровение Европы: фокстрот. Все знали - есть нечто, мания, безумие, чудеснейшее безумие «дряхлого Запада». Знали даже названия. Иные видели и фотографии в заграничных иллюстрированных журналах. Но только редкие счастливицы обладали секретом самого фокстрота, ибо па, в отличие от идей, не передаются

ни газетами, ни письмами, ни молвой. Некий ученый секретарь Наркомпроса, ездивший в Лейпциг за школьными пособиями, по дороге остановился в Берлине и, преодолев застенчивость, несмотря на свой почтенный возраст, записался в танцкласс. Зато он стал Моисеем, пусть косноязычным, плешивым, плюгавым, однако принесшим в Москву скрижали завета. Кичась и ломаясь, он заставлял дам долго улещивать и упрасивать его, прежде нежели встать, вытянуть голову и начать. Таких Моисеев было немного: семь или восемь на всю Москву. Вечера, на которых они присутствовали, превращались в экстатические уроки, в проповеди, сопровождаемые необходимой тряской. Отсталые, носившие под пиджаком, как запах нафталина, прежний идейный дух, всячески протестовали: политики ополчались на явно буржуазный характер забавы, моралисты - на опасность некоторых прикосновений, наконец, эстеты - на механические, безобразные, бесстильные, не в пример народным, па. Им отвечали: американизм, здоровый спорт, новая урбанистическая эстетика и т. д. Им отвечали не столько словами, сколько нетерпеливым подрагиванием и переходом к делу, то есть к старательному изучению фокстрота. Как чума, занесенная двумя-тремя матросами, эпидемия фокстрота, несмотря на осуждение, ширилась. Избранные обладали патефонами, и тот или иной модный мотив («Бананы» или «Титина») просачивались сквозь границы, как контрабандные ликеры. На счастье прочих, неизбранных, но музыкальных натур один агиттеатр показывал публично фокстроты как демонстрацию гниения, позорного гниения якобы культурных наций. Аншлаги свидетельствовали о любознательности и прилежании москвичей.

У Глотова не было ни одного Моисея, но сам Глотов мог сойти за такового. Как-то в инотделе он словил дипкурьера, только что приехавшего из Лондона, и заставил его здесь же, в коридоре, продемонстрировать несколько элементарных па. Глотов показывал. Ученики проявляли изрядные способности, и к моменту прихода Михаила все уже напоминало «разлагающуюся Европу» Вот только в костюмах чувствовался местный экзотизм. Правда, дамы щеголяли модными талиями (примерно на коленях) и декольтированными плечами. Но кавалеры были в чем попало: кто в толстовке, кто в вязаной кофте. Причем по случаю жестокого мороза, многие явились в

валенках, что придавало грациозным па некоторую отечественную тяжеловесность. Впрочем, все были довольны, и только один из мужей, несмотря на стойкость мировоззрения грешивший чувством собственности, глядя на свою супругу, подхваченную молодым киноактером, ворчал: он не верил Глотову - наверно, полагается, чтобы между кавалером и дамой сохранялось некоторое расстояние, хотя бы в три сантиметра! Его, однако, обозвали «консерватором». Оставалось искать утешения в вине.

Пили главным образом нетанцующие: слишком принципиальные, страдавшие физическими недостатками или деловые люди, пришедшие сюда, как Михаил, не для забавы. Ведь общество было чрезвычайно пестрым: ревнивый муж, то есть сотрудник МОНО, цирковая наездница, киноактеры, театральный рецензент «Известий», художник, изготавливающий рекламы для табачных трестов, коммунист из Моссельпрома (не педант), агент МУРа, студенты-гигеицы, три спекулянта с Ильинки, инженер Октябрьской сети железных дорог, заведующий гостиницей «Красное подворье», подруга члена коллегии Наркомздрава, просто девицы, директор Центроцемента и с пяток других неопределенных субъектов. В соседнюю комнату, где жил писатель Плоткин, уходили отдыхать или побеседовать, а в кухню - по крайне важным делам: целоваться после фокстрота или заканчивать особо секретные сделки. В кухне было темно, и только по звукам можно было определить, что там происходит: спекулянт обдывает гражданина из Моссельпрома насчет партии подтяжек или киноактер усугубляет муки ревнивого сотрудника МОНО.

Михаил не сразу огляделся. Долго он бродил от танцующих к бутылкам, в кухню (один, без цели), к Плоткину, бродил как пьяный, хотя выпил всего стакан мадеры - для приличия. Он был до крайности взволнован. Если бы так жить! Если бы эта ночь могла продлиться, стать буднями, чтобы глядеть на странные прыжки, на припудренные плечи, на этикетки вин, долго глядеть, до смерти! Восторг был столь велик, что Михаилу не хотелось большего: ни пить, ни танцевать, ни врезаться сухими от экстаза губами в матовость плеч. Только бескорыстно ощущать, что это правда, не фильм, что он, Михаил Яковлевич Лыков, здесь присутствует.

Вероятно, состояние продлилось бы до утра, если бы Глов не напомнил ему о реальности иного мира, находившегося за дверью

сказочной квартиры, где, кроме ночи и снега, были Вогау, Донторг, вагон американской бумазеи. Хозяин, даже фокстротируя, не забывал о святом гостеприимстве. Он твердо помнил, кто и за чем пришел. Это на его совести - мука сотрудника МОНО. Он также свел подругу члена коллегии с поэтом: нажать на Госиздат. Голова Глотова была нафарширована, вперемешку с увлекательными мотивами фокстротов, альтруистическими мыслями о благе множества людей. Прижавшись к цирковой наезднице и втайне подумав о часе, когда гости разойдутся, а наездница (Плоткину на зависть) останется, он вспомнил: рыжий ищет ходов в Донторг. Дружественно обняв Михаила, он шепнул:

- Сонечка-то наша запоздала. Но вы не беспокойтесь, она обязательно придет. Я ведь для нее инженера приготовил: бесплатный билет. Вы пока потанцуйте...

Михаил поблагодарил, но от фокстрота отказался. Он не стеснялся, но обращение Глотова сразу перевело его мысли на иной путь. Он отделился от веселящихся, задумался, его руки, выступая вперед, теперь только иллюстрировали различные арифметические операции. Они искали не плечо, а бумазею. Этой даме следует предложить не более пятнадцати процентов. Поторговаться. А Вогау сказать, что меньше, чем за двадцать пять, не соглашалась. Тогда, кроме десяти официальных, десять этих, - двадцать. Выйдет около восьмидесяти червонцев. Недурственно! Вот только толковая ли баба? Может, Глов врет? Представитель Донторга сухарь. К такому не подойдешь. А сразу предложить проценты опасно. Ведь он коммунист. Нужно с нею взять серьезный тон. О процентах вскользь. Налегать на качество бумазеи и на необходимость укоротить бумажную волокиту.

Михаил был настолько поглощен этими мыслями, что пропустил ряд происшествий, взволновавших прочих гостей: внезапный увоз сотрудником МОНО своей супруги (пока не поздно), падение, отнюдь не фигуральное, толстейшей подруги члена коллегии, вследствие образцово навощенного паркета и крепости малаги, наконец, появление новой гостыи, черненькой смазливой барышни, весьма затейливо одетой, встреченной общим восторженным щебетом: «Сонечка! Сонечка!» Он вздрогнул от неожиданности, когда Глов подвел к нему девицу, фамильярно приговаривая:

- А вот и мы... А вот и мы пришли...

Девушка, которая не могла быть никем иным, как Сонечкой, той самой, у которой ходы в Донторг, села рядом с Михаилом, вынула из сумки крохотное зеркальце, пудреницу, пуховку и, с ужимками холеной мартышки, стала сосредоточенно пудриться. Но Михаил молчал. Тогда в недоумении она спросила:

- Итак? В чем дело?

Но и это не прервало молчания нашего героя. Напротив, с каждой секундой немота его становилась плотнее, весомей, безысходней. «В чем дело?» Разве мог он ответить на этот вопрос? Конечно же, не в Донторге. Дело в болезни, в сумасшествии, в катастрофе. Как мы сказали, Михаил был вполне настроен для делового разговора о бумаге. Он думал только о процентах. Он даже не заметил прихода Сонечки. Но вот случилось нечто непредвиденное, странное, скажем даже, страшное. Трудно это объяснить. Конечно, Михаил ждал объяснения с какой-нибудь нэпманшей, у которой от жадности вырываются наружу зубы гиены, а глазки тонут среди текучей желтизны залежавшегося жира. Но разве не бывает хорошеньких девиц? Мало ли он их видел? Наконец, мало ли испробовал? Ведь это не Мишка из прогимназии, взбесившийся при виде круглых форм солдатки. Правда, он был человеком горячим, игроком, задирой, всем кем угодно, но не бабником. Его любовные похождения напоминали классные работы на три с минусом, скорее этикет, обязанность, трудовая повинность, нежели страсть. В чем же дело? Сонечка была ли столь необычайной?

Мы затрудняемся ответить на эти вопросы, мы, право, предпочли бы промолчать, воспользовавшись примером онемевшего Михаила.

Мы вспоминаем черные глазки, стриженные волосы, курносость, бойкость чуть приоткрытых и сильно покрашенных губок, приятную припухлость оголенных рук, общий облик развязной парижанки или, если угодно, пажа эпохи Ренессанса, приобщенного к фокстроту и к тайнам Донторга, мы повторяем: да, конечно, хорошенькая, слов нет. Но не в этом суть. Как бы мы ни любили отеческой любовью нашего героя (пожалуй, никакой любви не заслуживающего), мы не можем разделять всех его безумств. Нам остается вместо лирических восторгов перед Сонечкой, которая, оставив пуховку, перешла теперь к карминному карандашику, деловито отметить, что в три четверти

двенадцатого, находясь у Глотова на вечеринке, Михаил потерял голову, впервые почувствовав весь разор, всю болезненность, безрассудность, даже гибельность обыкновенной человеческой любви. Как часто бывает, эта любовь родилась внезапно, без предварительных трогательных бесед, без общения умов и справок о социальном положении. Она в две-три минуты трезвого и делового спекулянтника, который подсчитывал проценты, заменила глупым школьником, наивнейшим вздыхателем, достойным улыбки сострадания. Достойным и восхищения, ибо рядом с Сонечкой сидел не мелкий делец из Центропосторга, но Ромео. От волнения его глаза еще потемнели, они казались глубочайшими дырами на очень белом, известковом лице. Дыхания не было. Интервалы между двумя ударами пораженного заразой сердца казались заполненными смертью. Он страдал. Еще ничего не сознавая, не успев даже подумать, что с ним, он все же был счастлив. Он ни за что не уступил бы этого страдания. Ноги его дрожали. Он явно переступал в иной, высший мир.

Сонечке его молчание надоело. Не задумываясь над причинами, презирая вообще всякие непонятные чувства, она заговорила:

- Что же вы молчите? Испугались, что я чересчур молоденькая? Не бойтесь. Это не мешает. Это даже в делах полезно. А я могу быть очень деловой. Меня пол-Москвы знает. Я могла бы заседать в Деловом клубе, только скучно: все доклады, а танцуют мало. Знаете, еще год тому назад меня так представляли: «Сонечка, дочка профессора Петрякова, знаете, тот знаменитый, с радио...» Ну вот, а теперь о папе говорят: «Отец той самой Сонечки...» Честное слово! К делу...

И Сонечка вынула из сумки уже не пудреницу, но крохотное самопишущее перо и блокнот.

- Я завтра увижу представителя Донторга. Что вы им предлагаете?

Михаил все еще молчал. Сонечка, ее рука, даже перо настаивали.

Но он не помнил о бумазее. Он ни о чем не помнил. Он дал волю сердцу. Резко вскочив с места, он наклонился к девушке и угрюмо, отчаянно прошептал:

- Я от вас с ума сошел. Хочу тебя! Не понимаешь?..

Сонечка не удивилась, только в раздражении переместила свои сильно подрисованные брови:

- Нахал! И притом мальчишка!

После чего ушла танцевать с инженером. А Михаил продолжал стоять в углу. Он не решался взглянуть на нее. Он хотел уйти, но не мог. Он даже не испытывал обиды. Несмотря на свое самолюбие, он не думал об унижении, о том, что Сонечка, может быть, уже рассказала инженеру про его поведение, что на него начинают с любопытством поглядывать. Все это было безразличным. Он ждал приговора: жизни или смерти. Увидит ли еще ее? Подойдет ли она к нему? Простит ли? Он поступил с ней грубо, по-хамски, как с девкой в пивной. Она же с головы до этого маленького перышка вся нежность, вся хрупкость. Если судьба над ним смиростивится, если Сонечка его простит, он будет с ней кротчайшим, он забудет не только о таких словах - о самом чувстве. Он не хочет ее. Не смеет хотеть. Он просит только о праве изредка встречаться, видеть эти губы, следить за их насмешкой, задыхаясь, глупея, погибая. Ведь это счастье!..

Сонечка, покончив в кухне с вопросом о бесплатном билете, занялась другими делами: пофлиртowała с агентом МУРа, предоставив ему несколько раз присосаться большими резиновыми губами к ее нервно подрагивавшему плечу, уделила четверть часа серьезной беседе с одним из спекулянтов о закупке (якобы для Госбанка) необходимых какому-то приезжому поляку долларов. Наконец, она решила заняться Михаилом. Как будто ничего между ними не произошло, игриво улыбаясь, она подошла к своему недисциплинированному почитателю.

- Опомнились? Вот это хорошо. Теперь займемся делом.

Михаил понял, что любовь требует от него большего, нежели обычные жертвы, большего даже, нежели тривиальная смерть, что он должен говорить о проклятых цифрах, вместо нежности и боли вытащить на свет чудовищную бумагею. Он не смел возражать, отказываться, он не смел и молчать: ведь это раздражило бы Сонечку. Он заговорил. Сентиментальность теперь не в почете. Блюстители узаконенного строя жизни, некоей общественной моды, деспотичной, как и всякая мода, заявляют, что материалистическое миросозерцание, а также устав Лиги времени, противоречат анахроническому чувству. Мы позволим себе с ними не согласиться и заметить, что ни привязанность к цветам, ни заболевания, хотя бы корью, не зависят от программы и резолюций. На что уж Михаил был деловит, а вот и с

ним случилось... Каждое слово, будь то «вагон», «расписка», «себестоимость», «проценты» - причиняло ему муку. Он исполнял сладчайшую арию, предназначенную для тенора, но вместо любви пел о бумазее. Это должно было растрогать всех. Кажется, даже вагон, обыкновенный, вполне бесчувственный вагон, в котором лежала бумазея, и тот сострадательно вздрогнул бы, заскрипел бы, услышав тембр голоса, эти слезы, с трудом сдерживаемые и превращаемые в деловые термины. Но Сонечка была правоверней самих блюстителей нового стиля. Занимаясь делами, она не признавала никаких чувств. Ее плечико, подрагивая при прикосновении губ агента МУРа, повиновалось не влечению и не брезгливости, но только сухим велениям рассудка. Оно просто выполняло задание: Сонечке агент был нужен. Это, конечно, не означает, что она не знала прочих чувств. Нет, она умела и танцевать фокстрот, и отдаваться, точнее, брать приятных ей любовников, крепких, широкоплечих, напоминающих героев американских фильмов, пахнущих тройным одеколоном. Но это вне дел, после дел. Сейчас же, договариваясь о Донторге, она не вслушивалась в интонации Михаила. Ее интересовали исключительно цифры. Поэтому, когда Михаил, доведя свой подвиг до конца, изложив всю сущность дела, робко добавил: «Вы меня простили?» - она лишь рассеянно взглянула на его наивно торчащий чуб.

- Вздор! Но проценты маленькие. Мне не стоит ради этого возиться. Минимум тридцать, или я отказываюсь.

Михаил поспешил согласиться. Он, конечно, не думал о том, что работает впустую. Он даже не подумал о том, что скажет ему Вогау. Если она откажется от бумазеи, он ее никогда больше не увидит. Потребуй она все сто, он бы и то согласился. Цифры для него теперь так же мало значили, как для нее взволнованность дыхания, грузность пауз, весь доисторический, косноязычный язык любви.

Сонечка довольно усмехнулась, за тридцать процентов подарив Михаилу высокое наслаждение узреть ее мельчайшие, как бусинки ожерелья, зубки, записала в блокнот цифры и номера, потом ушла. Было уже поздно. Приближался для Глотова столь желанный час, когда он сможет остаться вдвоем с наездницей, которую многие неделикатно спрашивали: «Нам, кажется, по дороге?» - неизменно получая в ответ: «Нет, я еще немного посижу». Михаил в душе надеялся, что Сонечка выйдет одна. Ведь она пришла без спутников.

Но не тут-то было! Она громко заявила, что едет с инженером. Конечно, билет в вагоне особого назначения чего-нибудь да стоил. Притом плечи у инженера были широкие. Вполне возможно, что он натирался одеколоном. Но уходя, Сонечка вдруг сказала Михаилу:

- Да, я ведь забыла вас спросить...

Она увлекла его в темную кухоньку. Она была уже в шубе, и Михаил явственно чувствовал милый звериный запах меха. Несмотря на загадочность увода, на темноту и близость Сонечки, на всю свою страсть, он сдержался. Он послушливо ждал какого-нибудь нового вопроса о бумазее. Последовавшее окончательно сбilo его с толку:

- Вам сколько лет?

Он преглупо ответил:

- Не помню.

Это было правдой. Он больше ни о чем не помнил. Тогда Сонечка снова презрительно фыркнула:

- Мальчишка! Завтра в Донторге все устрою. Пока.

И, говоря это, она теплыми сухими губами прижалась к губам Михаила. Когда же губы нашего героя поняли, что это значит, когда они, безумствуя, хотели ответить, Сонечки уже не было. В передней, смеясь, она шептала инженеру:

- Ну, не сердитесь! Я уже готова!..

Михаил шел по снежному пустому переулку. Он стонал и бредил. Слова его ничего не выражали, как те слова о бумазее, хотя теперь они были словами горя и ласки. Какое бессилие в словах! Они похожи на тепличные розы, с трудом выгоняемые садовником, на те розы, которые подносят дамам в ночных кабаках, где нет ни любования, ни простой жалости, где запах, созданный с таким трудом, даже не чувствуется среди табачного дыма и пота, где короткие мокрые пальцы мимоходом давят лепестки, как крошки хлеба, как женское тело, как всю нашу жизнь. Бедные человеческие слова! Мы ведь хорошо знаем их нищету, их беспомощность. Стоит ли годами бредить, забывая освоей жизни, о весеннем утре, о смехе подруги, стоит ли болеть всеми напастями наших героев, идти по этому переулку рядом с Михаилом, немея от его скорби, стоит ли писать, по многу раз перечеркивая фразы, маниакально ловя в крикливой тишине отсутствующие слова и проверяя их страдальческой гимнастикой губ, стоит ли быть писателем, автором книги о Михаиле, других книг,

чтобы в ответ получать исконное молчание читателей и несколько рецензий, написанных руками, вполне родственными тем, что скатывают лепестки роз в шарики? Нет, не будем преувеличивать значения слов, не будем вслушиваться в жалобы Михаила. С признательностью упомянем лишь о подлинной сострадательности снега. Как промокательная бумага чернила, он жадно впитывает в себя звуки. Он восстанавливает потревоженную тишину. А это немалое облегчение для одиноких чудаков, хорошо знающих и напряженность горя, и трагические лабиринты московских переулков.

Не то бескрылый, не то крылатый

Когда человеческие чувства находятся в зените, они охотней всего прибегают к молчанию. Эту истину узнал Михаил, и молчание было ему во сто раз легче, нежели все слова, будь то о любви или о бумаге. Соблюдим же должную паузу. На следующий день герой и героиня должны встретиться, чтобы обсудить ответ Донторга. Продлим эту ночь, огрызок ночи, блуждание Михаила и бесчувственный смешок далекой от него Сонечки, уехавшей с инженером. Пауза в романе, однако, трудная вещь, она не может быть белой страницей. Белые страницы ведь быстро переворачиваются, много быстрее, чем проходят бессонные ночи. Поэтому предпочтем возвратиться на время к некоторым, нами покинутым, персонажам, тем более что жизни их неразрывно связаны с жизнью Михаила Лыкова.

Прошло восемь месяцев с того дня, когда Артем, колеблясь между нежностью и безразличием, ухаживал за братом, потрясенным внезапной кончиной Ксении Никифоровны. Описание жизни нашего героя за этот период заняло более восьми глав. Сколько событий! Он успел и поспекулировать, и покаяться. Он успел познать природу и любовь, дрожь азарта и дрожь страха. Он многое успел. Какой же тихой и невыразительной кажется по сравнению с этими главами жизнь Артема! Та же комната, в которую въехали еще два рабфаковца, те же лекции, только более усложненные, те же собрания с новыми вариациями дискуссий. Но жизнь - не театр. Ее волнения и страсти не всегда выражаются в быстроте действия или в необузданности жестов. Гениальнейшие мысли рождаются порой в незначительных, стриженных машинкой головах, а биение сердца не чувствуется под однообразием жилетов. Скупой север не знает ни ботанического мотовства, ни колесниц карнавала, ни живописности ежеминутных безобидных скандалов, что не мешает, конечно, страстям испепелять и северные сердца. Шхеры? Да, шхеры унылы и скудны. Но ведь и каросский мрамор, нагретый до тридцати градусов по Цельсию, не перестает быть камнем. Ах, эти слезы Михаила! Они так горячи. Почему же, глядя на них, никто не плачет, все только угрюмо морщатся?

За эти восемь месяцев Артем успел пережить высокую болезнь, подлинную трагедию, которая одна могла бы составить содержание прекрасной и трудной книги, тем паче что вместе с Артемом ее пережили тысячи других Артемов, наше юношество, наша надежда, этот спешенный, брошенный в аудитории и опешивший перед медлительностью времени, сумасшедший разведочный пикет. Традиционные болезни, которыми награждают обыкновенно авторы своих героев, изучены до мельчайших проявлений, будь то сомнения в божестве, несчастная страсть или губительное тщеславие. Не ими болел Артем. Одно определение этой болезни прозвучит психологическим неологизмом, непривыкшие глаза споткнутся о него. Однако, не смущаясь, скажем: Артем был болен надеждами и неудачами германской революции. Если газета здесь врывается в роман, заменяя лирические пейзажи брожением в Руре или хитроумным обходом, в виде установки золотой зарплаты, не мы в этом виноваты. Кто же не разворачивал в течение последних десяти лет газетных листов с той дрожью волнения, упований, страха, которые прежде допускались только при распечатывании любовных записок или неоплаченных счетов? Пусть Артем был крив на один глаз, пусть он был однодумом, однолюбом, зато это «одно» он видел, знал, любил.

Трагедия, пережитая рабочим классом Германии, известна всем. Это исконная трагедия проигранной битвы, со всеми ее деталями - от троянского коня (в деревянном нутре которого на этот раз сидели почтенные воротилы тяжелой индустрии) до абстрагированного героизма гамбургских подростков. Но вряд ли так называемая «широкая публика» не только далекой Европы, а и России, догадывается о том, с какой мукой ноябрьские неудачи Саксонии или Тюрингии воспринимались комсомольцами, вузовцами, всей боевой молодежью нашей страны. На жидкие залпы стычек в Моабите отвечали болезненные содрогания десятков тысяч сердец. Сколько здесь было воспаленных глаз, отчаянных споров, бессонных ночей! Связанность судеб русской революции с мировой не осталась газетной фразой, она вошла в кровь, в кости этих людей. Германская революция стала их делом, их собственной жизнью. От исхода борьбы, которая велась в Дрездене или в Эрфурте, зависела живучесть нэпа, война или мир, личная судьба каждого комсомольца. И так как политические

страсти не менее других срачиваются с подсознательными движениями организма, мы вправе сказать, что Артем даже физиологически воспринимал противоречивые, разрозненные, как перестрелка, телеграммы, заполнявшие тогда первые страницы газет. Будет или не будет? Комната, лица товарищей, лекции, химические формулы ежедневно менялись в зависимости оттого, врывался ли северный Берлин в западные затоны, заставляя жалюзи опускаться и биржевые курсы дрожать, или, напротив, жуирская толпа этих парадных артерий праздновала новую победу хорошо вышколенного рейхсвера. Но, как мы уже сказали, трагедия переживалась Артемом молча, неприметно, с должной стыдливостью чувств, с дисциплинированностью поступков. Будь на его месте Михаил, он, наверное, отметил бы первые известия о близости германской революции ликованием, требованием немедленной ликвидации нэпа, пожалуй, чего доброго, бегством в Берлин, а неудачи быстро привели бы его, хоть и другой, идейной дорогой, туда же, куда он пришел, не интересуясь германской революцией, то есть к незавидной карьере мелкого нэпмана. Другое дело Артем. Он не знал, что с ним будет завтра, но он твердо знал: будет то, чего потребует партия.

Таким образом, за восемь месяцев многое пережив и многому научившись, он не переменялся, оставался все тем же Артемом, прекрасным в жизни, хоть и скучным на страницах романа, от которого читатели всегда требуют исключительности, не желая примириться с величием «одного из многих».

В январский вечер мы видим Артема, как и двух его сожителей, склоненным над книгами. Приход чужой женщины, спросившей, где здесь живет Лыков, немало озадачил их. К Артему приходила лишь одна неказистая вузовка, с которой он занимался совместно немецким языком. Как это ни странно, лирическая наружность Артема, мягкость глаз, шелковистость кудрей, предвещавшие ему жизнь, полную девических ласк, до сих пор не увлекли ни одной женщины. Вероятно, в этом он сам был повинен, каждым словом, каждым жестом напоминая, что его голова занята отнюдь не любовными помыслами. Несколькими, притом кратковременными, часовыми связями с женщинами, ни имен, ни даже лиц которых он не запомнил, романтическая сторона его жизни ограничивалась. Кто же мог прийти

к нему поздно вечером? Миловидное лицо, голубые глаза, женственность движений усугубляли смущение.

- Здесь живет Михаил Лыков?

Ах, вот что, Михаил!.. Если Артем не знал этой гостьи, мы-то с нею хорошо знакомы. Мы только недоумеваем, почему вздумалось Ольге приехать в Москву? Ведь менее всего присущ ей действенный авантюризм. Плакать же можно и в Харькове. Тем более что давно уже, после достопамятного поцелуя руки, осознав до конца подлость Михаила, она решила порвать с ним. Что могла сулить ей новая встреча с нашим героем, кроме очередных унижений? Да, но ведь не одни здравые мысли руководят поступками людей. Нужно учесть и тоскливость кухоньки со светильником, и несдержанность женского сердца, и тяжесть одиночества, и темную животную грусть по теплу, пусть скупой, пусть на коленях выклянченной, ласки. В один из особенно тоскливых вечеров победило безрассудство, спешка укладывания жалкого скарба в роскошный, оставшийся еще от прежних, «спичечных», времен, кожаный чемодан и лихорадочное подталкивание замухрышки «Ванько», безучастного как к расписанию поездов, так и к чувствам Ольги.

Артем с жалостью оглядывал посетительницу. Она как бы составляла часть непонятого, подпольного, страшного мира, связанного с братом, мира глупых стихов, кабацкого дурмана, языка повесившейся Хоботовой, наконец, темных проделок, слухи о которых успели дойти до Артема. Невольно покровительственная нежность, хранившаяся в его сердце для недостойного брата, распространилась на эти голубые глаза, измученные ожиданием. Он выказал подлинную участливость. Не допытываясь, для чего понадобился Ольге Михаил, с горечью думая, что и здесь дело не обошлось без обворожительных карих глазенок, он обещал помочь разыскать его. (Адреса он не знал, так как Михаил, после вычистки, прекратил с братом всякие сношения.) Ольга хотела уйти. На вопрос Артема, куда она направляется, последовало сконфуженное молчание. Она и сама не знала, куда ей идти. В Москве у нее не было ни родных, ни друзей. Впервые она поняла все безрассудство своего поступка. Она готова была направиться обратно на Курский вокзал, купить билет до Харькова и в омуте вагона утопить отчаяние.

Артем, однако, не пустил ее. Строго и вместе с тем ласково он заявил, что она должна переночевать здесь, с ними. Он уступит ей свою кровать, а сам устроится на полу. Целомудренно погасив свет, три товарища разделись, легли и быстро уснули. Ольга не спала. Ее ночь напоминала назойливостью образов, непонятностью ассоциаций, резкой физиологичностью мыслей ночь тифозного. Зачем она приехала?.. Кинет на кровать... Торчат пружины, и больно... «Люблю мужчин я рыжих... «Какая гадость!.. Песенки Майоля... Поцелует руку... Устрицы - говорят, что это вкусно. Плевков с мокротой... Утром уехать... Орел, Курск, Белгород... У этого мягкие волосы, если их тронуть - заплачешь... Умереть бы!.. Заказ - срочно, через час умереть...

Она, конечно, не умерла, но под самое утро забылась. Рабфаковцы встали, тихо оделись, ушли. Артем ждал, когда проснется эта странная гостья. При дневном свете тепличная белизна ее щек, не тронутых даже жаром сновидений, казалась ему особенно трогательной. Заметив, что Ольга начинает шевелиться, он вышел в коридор, сопровождаемый ироническими взорами всей каплунской семейки. Пробуждение Ольги было нелегким. Если сон является частью небытия, бесчувственным отходом, уклонением от часов, то возвращение к жизни способно вызвать и восторженное ржание и ужас: снова!.. Вкус к смерти, ночью осознанный Ольгой, не удовлетворился тремя или четырьмя часами забытья. Что же ей оставалось? Веревка? Сажени, отделяющие окно от мостовой? Но даже для этого требовалась воля. А ее не было. Казалось трудным шевельнуть рукой. Когда Артем вернулся, полагая, что туалет Ольги закончен, она по-прежнему лежала, бессмысленно хороня свои глаза в широчайшей физиономии висевшего над кроватью Зиновьева.

- Вы больны?

- Нет.

Артем недоумевал. Он чувствовал отчаяние, тяжесть, безжизненность этой женщины, но не знал, как их побороть. Напрягаясь, ибо мысль о брате была ему сейчас сугубо неприятной, он решил утешить Ольгу предложением немедленно начать розыски Михаила. Последовало вторичное «нет», окончательно сбившее его с толку. Он не мог понять, что происходит в голове Ольги. Впрочем, если бы он даже ознакомился с ее мыслями, он все равно ничего не

понял бы. Ольга и та не понимала себя. Что ей делать? Поезд, Харьков, «Ванько»? Для этого возвращения в уже скинутое, немилое форменное платье у нее не было ни сил, ни прежнего истерического упрямства. Вчера она знала, зачем приехала. Она готова была ползать на коленях, юлить и пугливо жаться, как старая паршивая дворняжка, лишь бы увидеть над собой сумасшедшие руки Михаила, проделывающие привычные пируэты порока и злобствований. Со вчерашнего вечера как будто ничего не изменилось. Она не узнала ничего нового о своем возлюбленном. Почему же сейчас мысль встать, побежать по улицам, разыскать в какой-то комнате Михаила и обжечься губами о его пламенную вихрастость казалась ей отвратительной? Слабостью ли это было? Силой ли? Кто знает? Между вечером и утром лежала ночь с ее разрозненными абсурдными мыслями, с убедительностью образов, с тошнотой от устриц, с подлостью выпирающей пружины, с рукой, навек обещанной «рыцарским лобзанием». Любовь пасовала, терялась. То, что, может быть, и являлось гражданской общечеловеческой силой, сознанием своего достоинства, наконец, не в пример оголтелому приезду, просто разумностью, все же было минутным креном любви, ее затмением, ущербом, немощью.

Так, молча, они находились друг против друга, разные, чужие, равно недоуменные. Снисходительность, ласковость глаз Артема трогали Ольгу почти до слез. Не избалованная Михаилом, она была особенно падка на простую человеческую участливость. Одна из коротких мыслей, ночью заставлявших ее биться в лихорадке, мысль самая легкая, почти житейская ожила теперь: какие у него мягкие волосы!.. Вероятно, в этом немалую роль играло противопоставление, страсть к другим, жестчайшим волосам, животный страх перед ними. Не задумываясь, поймет ли ее Артем, она слабо, болезненно попросила его сесть рядом и, высвободив из-под одеяла безжизненную кисть, начала бережно гладить действительно мягкие волосы. Она, конечно же, не догадывалась, сколь значительным окажется для ее судьбы этот непритязательный жест, в котором сочетались наивность ребенка с экспансивностью покинутой любовницы.

Простота являлась основной чертой организма, называвшегося Артемом Лыковым. Если его мысли покорялись известной

дисциплине, то в физической жизни он был непосредствен и прост, как первобытный человек. Курьезнейшее сочетание, типичное для целого поколения: марксизма, американизма, расписания жизни по графам, лозунгов с десятком элементарных эмоций прапрародителей. Если для предшественников сердцевина чувств, хотя бы любви, была скрыта наслоениями веков, психологическими, этическими, эстетическими наростами, то теперь многие, оборвав лепестки, получили наглядную школьную схему: пестик, тычинки, завязь, - схему, вполне достаточную для продолжения рода, однако лишенную и цвета и запаха. Стихи о любви казались Артему написанными на чужом и притом мертвом языке, на какой-то сердечной латыни. Он реагировал на определенные возбуждающие моменты точно, безошибочно, не зная отклонений. Видя женщину за работой, он не мог почувствовать к ней никакого влечения. Она являлась для него тогда товарищем, и только. Раздевать мысленно, то есть лишать женщину (не говоря уж о платье) покрывающих пол мыслей, жестов, маскировки, он не мог. Зато вид оголенности, буквальной или переносной, будь то купающаяся в речке молодуха или вечером, после чаепития, нежно улыбающаяся вузовка, действовал на него неизменно, как кислота на лакмусовую бумагу. Эта непонятная женщина, ласкающая его волосы, с близостью ее теплого от дремоты плеча, со всей темной и сонной бессмысленностью зрачков, пробудила в молодом Артеме вполне ясные чувства.

Ольга не сопротивлялась. Она испытывала безразличие, механичность передвигаемой вещи, может быть, даже известную сладость самоуничтожения, приближения, вследствие своей подчиненности и пассивности, к прерванному утренним пробуждением забытию. Целомудренность примитивных ласк Артема предохраняла ее от преждевременного опоминания, от обиды или страха. Что касается Артема, то, оглушенный коротким и жестоким приступом страсти, он был далек от раздумий, оценок, выводов. Он даже не мог заметить безответности близкого тела, своим жаром он как бы нагревал его, создавая иллюзию разделенных чувств.

Так прошли эти четверть часа, в старину именовавшиеся «любовью», теперь окрещенные одной писательницей «бескрылым Эросом», а в общежитии называемые «халтурой»; Каплуны за стенкой пили кофе со сливками. Часовая стрелка напомнила: в десять лекция.

Наконец настала та минута, когда необходимо что-либо сказать или, по крайней мере, приоткрыв глаза, взглянуть друг на друга, тяжелая минута резюме, оправданий, объяснений, обещаний, минута традиционных страховок и ликвидации. Взглянула первой Ольга, и взгляд ее мог бы ошеломить любого, как будто ничего не произошло в течение этой четверти часа, глаза ее были залиты все тем же недоумением. Более того, рукой она по-прежнему гладила кудри теперь лежавшего рядом с ней Артема.

Он знал: нужно встать, пора на лекции. Но он боялся обидеть хрупкость, беспомощность застывшей на его голове руки. Он чувствовал, что голубая недоуменность близких глаз ждет каких-то иных жестов, может быть, слов. Осторожно высвободив свою голову, он со всей мыслимой мягкостью произнес:

- Я сегодня на лекции не пойду. Надо ведь вас устроить...

Ольга пропустила смысл этих слов, но нежность голоса дошла до нее. Разрядив настороженность ожидания, она позволила долго, всю ночь, все утро стучавшимся в глаза слезам выйти наружу. Артема слезы эти напугали. Он не знал, что ему делать, то пробуя закутать потеплее Ольгу, то поднося ей стакан воды.

- Что же вы, товарищ? Ведь ничего плохого здесь нет... Дело простое...

Последние два слова проникли в бесформенное сознание Ольги. Они заставили ее, интеллигентку, начиненную дostoевщиной и «кризисами культуры», от неожиданности улыбнуться. Нет, здесь не было темнот ночей с Михаилом. «Лекции» здесь звучали не злой издевкой, не надрывом, а естественным, будничным занятием. Жизнь представлялась решительно, запросто, не стесняясь ни своего кухонного запаха, ни угрей на носу. Оставалось либо помпезно умереть «по заказу», либо подчиниться. Ольга выбрала последнее. Полчаса спустя она пила чай с ситным хлебом, потом говорила с Артемом о занятиях химией, о событиях в Германии. К вечеру он устроил ее в комнате той вузовки, с которой изучал немецкий язык.

Шли дни. Считая неудобным, после происшедшего, заговаривать о Михаиле, Артем делал вид, будто Ольга приехала в Москву просто - работать, может быть, учиться чему-нибудь, хотя бы стенографии. Ольга сама была признательна за эту деликатность. Нет, она не забыла своего первого, подлинного любовника. Она и не разлюбила его.

Наоборот, только теперь, познав иное, более чистое и человеческое, обладая шкалой для сопоставлений, она поняла, насколько органично, жизненно, неистребимо ее чувство к нашему рыжему герою. Но мысли о встрече с Михаилом больше не оживляли ее. Она знала, что ему нет до нее никакого дела, он давно нашел десяток других, живых и теплых, манекенов. И все же ее связь с Артемом, навязанная судьбой, казалась ей преступлением против Михаила. Как могла она теперь отдать на суд его опечаленных, даже оскорбленных глаз целованное другим плечо, то плечо, у которого однажды наш герой плакал неподдельными слезами жалости и умиления? Вспоминая эти слезы и не думая об обидах других, сухих, бесслезных, душных до задыхания ночей, Ольга чувствовала себя разоренной, нищей, недостойной даже грубого отталкивания любимой руки.

Она нашла при помощи Артема заработок. Она наладила жизнь, создав известный распорядок, заполненность часов, быт, который помогает человеку вынести любое горе. Чувства свои она тщательно скрывала, и Артем, не склонный к психологическим наблюдениям, думал, что она довольна жизнью, как он, как его товарищи, как все живые и активные люди. Вот только бы в Германии!.. Остальное приложится. Как-то Ольга пришла к нему. Было это вечером. Они беседовали о разном, о посетителях харьковской столовой, о стихах Маяковского, даже о театрах Парижа. Ольга сидела на кровати Артема, на той самой, где провела памятную ночь. Ряд быстрых ассоциаций, дополненных слабой улыбкой Ольги, заполнил Артема. Он ощутил несколько толчков сердца и, не ломаясь, запросто сказал своим сожителем:

- Ребята, выйдите-ка погулять. Мне вот нужно с товарищем наедине поговорить.

Неделю спустя повторилось то же самое. Связь приняла аккуратный характер. Артем был счастлив. Он привязался к теплоте определенного тела, оценил радость привычности, некоторую повторность жестов, лишенных неприятных развязок его прежних случайных встреч. Трудно определить состояние Ольги. Вернее всего его назвать длившимся стой ночи забытьем, омертвением, сведением жизни к цепи простых житейских отправлений, среди которых значились и ласки Артема, воспринимаемые ею тупо, но без безразличности, родственные службе или дождю. Она даже забыла о

том, что известные телесные сочетания могут требовать каких-то чувств «Дело простое»... Вся романтика была оставлена на долю одиноких часов, когда Ольга думала о Михаиле. Она как бы вторично, заново влюблялась в нашего отсутствовавшего героя, страшась его вспоминать, чтобы не повторить безрассудства харьковского отъезда, которое теперь могло бы стать для нее смертью. Весь цинизм, вся грубость Михаила, освещаемые тоской, оправдываемые вежливой чувственностью ее нового любовника, становились грустными, даже прекрасными, как стихи Лермонтова. Разве мог Артем так плакать, так буйствовать, так метаться из угла в угол? Артем работал. Артем ждал революции в Германии. Артем здраво беседовал с ней и столь же здраво, крепко, честно, всерьез обнимал ее.

Как-то один из сотоварищей, не желая в условленный вечер выйти на подневольную прогулку, проворчал:

- И чего ты с этой буржуйкой путаешься? Мало, что ли, девчонок?

Артем не на шутку обиделся. Он понял вдруг, что привязался к Ольге, что одно приравнение ее к прежним его встречам оскорбляет хоть и не сентиментальное, однако далеко не бесчувственное сердце. Сурово осадив товарища, он не забыл этой минуты. Полночи он не спал, впервые обдумывая создавшееся положение, ища естественного оформления, нужных слов и достойных жестов. Порыв требовал известной традиционной обрядности, все эти костенеющие привычки ласк, встреч, близости настаивали на философском или хотя бы на житейском, то есть паспортном, утверждении. Конечно, прежде всего он стал искать в памяти указаний извне, соответствующих директив или резолюций. С ужасом он заметил, что никаких партийных директив в этом вопросе нет, что он, таким образом, оставлен на самого себя, должен решать сам. Это могло довести до бессонницы даже невпечатлительного Артема.

Страшный пробел! Ясно, что религия - опиум для народа. Ясно, пожалуй, что некоторые писатели из так называемых «попутчиков» если не опиум, то столовое вино. Все это написано, одно на стенах, другое на страницах толстых журналов. Мы первые, вместе с Артемом, готовы приветствовать эту ясность и быстроту классификации, хоть и немало страдаем от нее. Мы понимаем, что гораздо важнее разгрузить мозги многих Артемов от мыслей,

непроизводительно отнимающих время, чем шадить индивидуальные особенности десятка-другого литераторов. Все это так. Но сейчас от Артема требовалось иное: как ему быть с этой женщиной? Он перебирал различные более или менее авторитетные суждения. Некий товарищ в журнале «У станка» заверял, что любовь - явно буржуазный пережиток, достойный феодалов, вроде покойного А.С. Пушкина. Другой, однако, притом много более авторитетный, не стыдясь, откровенно любил и Пушкина, и свою супругу. Третий доказывал, что все дело в потомстве и что вопрос о любви следует обследовать спецнами из Наркомздрава. Артем, принимая во внимание восемь рублей и квартирный кризис, не мог с этим согласиться. Он также не удовлетворился мнением товарища, склонного к футуризму, уверявшего, что пассаистическую любовь следует заменить «красным спортом» и «механическими телодвижениями». Трудность этого чисто эстетического задания отталкивала его. Наконец статьи уже упомянутой нами писательницы тоже не устраивали растерянного юношу. Как он ни старался, ему так и не удалось определить, «крылатый» или «бескрылый» Эрос осенял его встречи с Ольгой. Личные наблюдения не способствовали ясности. Действительно, скажем со всей откровенностью, никакой программы в данной области не существовало. Иные, презирая инстинкты собственничества и институт брака, предавались, по мере сил и возможности, так называемой «свободной любви». Другие, изучив биографию Карла Маркса, утверждали, что свободная любовь является симптомом разложения буржуазии и что честный марксист обязан быть верен своей не менее честной половине. Нам известны общежития, где для предотвращения прочных и, следовательно, обременительных чувств каждый чуть ли не ежемесячно менял партнершу. Но нам также известен забавнейший казус, приключившийся, правда в провинциальном захолустье, с одним коммунистом, который был исключен из парторганизации только за то, что развелся с третьей женой. Мы утешаем себя мыслью, что это соломоново решение было продиктовано не догматической привязанностью к браку, но вполне трезвыми соображениями: человек, в течение двух лет три раза сходявшийся и расходившийся, слишком много думает о своей личной жизни, манкируя общественными обязанностями. Последнее было бы понятно и

Артему, который упрекал себя за то, что голова его занята столь неподобающими мыслями. «Проще!» - подумал он. И тогда действительно простейшее решение далось ему. Если советское государство установило запись браков, значит, оно за брак, и нечего выдумывать какие-то «механические телодвижения». Кроме того, став мужем и женой, они, может быть, добьются ордера на отдельную комнату, что и приятней и удобней, нежели путь с Якиманки до Покровки или выпроваживание товарищей на мороз. Дойдя до этого, Артем безмятежно уснул. Утром он направился к Ольге и безо всяких предисловий объявил ей:

- Знаешь что, нужно оформить. Если ты свободна, мы сейчас в загс сходим...

Ольга подчинилась этому, как подчинялась она ласкам Артема. Будничным ускоренным шагом направились они в учреждение, где барышня с кудряшками трогательно прижимала промокательную бумагу к различным событиям человеческой жизни. Были хвосты и на брак и на развод. В обоих ни улыбки, ни слезы не выдавали чувств. Воздух разрезала лишь зевота, эпическая зевота всех канцелярий мира. Ей были равно подвержены и брачующиеся, и разводящиеся, и барышня с кудряшками. Когда Ольга и Артем наконец дошли до стола, снабженные документами и взаимными согласиями, Артем, голова которого была уже занята мыслями об очередном докладе в партклубе, вдруг вздрогнул:

- Да, я ведь забыл спросить: как тебя зовут? Ольга Галина, а отчество?..

Проделав все формальности, они разошлись, каждый по своим делам. Дня три спустя они встретились. Все было традиционным, и товарищи Артема предусмотрительно отсутствовали. Но тоска Ольги в этот вечер никак не хотела смириться, она прорывалась то в беспричинных слезах, то в резких жестах отталкивания мягких до приторности волос Артема, то в страдальческой напряженности глаз, обычно убираемых прочь. Артему было больно видеть это. Он тщетно пытался утешить Ольгу обычной ласковостью, дойдя даже до несвойственного ему лирического абстрагирования и глухо проворчав:

- Ну, чего ты? Ведь я же... как это? Ну, словом, люблю тебя...

Ничего не помогало. Несомненно, в этот вечер перед голубизной глаз Ольги светились меланхоличные и наглые зрачки Михаила, своим

жаром, пафосом, сугубой подлостью твердя о мыслимости подлинной, сладкой и темной любви, разоблачая ласковость, трезвость, душевную незаинтересованность ее записанного в загсе мужа. Но, как часто это бывает, Ольга не говорила о главном, ее томившем. Волнение выражалось во множестве несущественных упреков, в споре о каком-то неправильно понятом слове, в мелких придирках, в необъяснимости слез. «Проще!» - говорил себе Артем, на которого навалилась истерическая неразбериха женской тоски.

- Ну зачем тебе твоя химия? — неожиданно, с явным раздражением спросила Ольга.

- Пригодится. Вредителей буду убивать. Сусликов. - Подумав, он добавил: - А нужно будет людей, буду и людей убивать...

Но, не слушая его, кусая подушку, чтобы не крикнуть, Ольга ей, этой жесткой студенческой подушке, никогда не знавшей ни едкости слез, ни горячности бессонного дыхания, шептала:

- Мишка!.. Мишка!..

Новая разновидность ангела

Мы предлагаем принять поведение Артема Лыкова за образцовое. Он не был ни сухарем, ни вымышленным человеком-машиной, созданным необузданной фантазией утописта. Он умел вовремя любить, быть нежным и участливым, он умел даже страдать от слез Ольги. Но все эти чувства резонно отодвигались им на задний план. Не в пример подозрительным героям других наших книг, как то: Николаю Курбову или Андрею Лобову, прельстившему Жанну Ней, справедливо осужденным критиками, он знал место любви и предавался ей лишь в часы, свободные от работы, не пытаясь мистикой прикрывать физиологические эмоции. Встретил, одобрил, сошелся и, уважая существующий распорядок, запротоколировал все в загсе. Как это просто и мудро в своей простоте! Как недоступно нашему герою, проявившему свои чувства к Сонечке хамоватой выходкой и запоздалым раскаянием среди снегов Полуэктова переулка!

Вместо естественной связи, вместо монументального хвоста в загсе его ждали еще многие выходки, покаяния, бессонные ночи, бездельные дни, грубая, лишенная какой-либо формы, любовь. На этот раз Михаил не ошибся: он был действительно влюблен. Вопросы амбиции не играли никакой роли. Конечно, Сонечка ему импонировала шиком, разнообразием и элегантностью туалетов, запахом духов, самостоятельностью, независимой деловитостью маленького блокнота, где часы любовных свиданий чередовались с цифрами сделок. Но все же не в этом лежала суть дела. Какое-то колесико зацепилось. После многих иных страстей пришла эта. Остальное, то есть напряженность, исключительность чувства, вытекало из природы Михаила. Кто же не любит поехать за город, подышать свежим воздухом, но ведь не всякому придет в голову после первого живительного плотка озона возомнить себя муравьем. Как прав был покойный папаша, опасаясь за своего младшего сына! Именно таких водили, водят и будут водить по Львовской в Лукьяновку с парашами, ибо здесь талантливость, лавровые веночки, тосты на юбилеях, но и тюрьма, да, тюрьма здесь же, она рядом (по-

современному «изолятор») - тюрьма или стенка. Вместо нормального флирта Сонечке пришлось наскочить на нечто дикое, чрезвычайно неудобное, устарелое, на любовь если и не с большой буквы, то в кавычках, на страсти и героев дешевого романа, кричащего в киоске красочной обложкой. Когда Михаил в условленный час явился к ней за ответом Донторга, она успела позабыть о некоторых дополнительных обстоятельствах минувшей ночи: о наглости рыжего маклера и о поцелуе в кухоньке. Мало ли наглости на свете? Мало ли таких взбалмошных, ни к чему не обязывающих поцелуев? Мало ли, наконец, маклеров, хотя бы и рыжих? Она приготовила удовлетворительный ответ: бумазю, разумеется, взяли. На свои коммиссионные она собиралась заказать норковую муфту и красные плетеные туфельки для фокстротирования. Она была в хорошем настроении. Вид Михаила, явно неудовлетворенного ее словами, вызвал в ней недоумение, даже досаду.

- В чем дело? Все устроено. В среду вы получите бумагу.

Михаил молча вышел. Он решил не говорить о своих чувствах. Их величина, а также скудость слов диктовали молчание. Пусть Сонечка думает, что он недоволен процентами. Михаил ведь знает, в чем дело. Он знает, как прекрасна, поэтична, как достойна умиления и даже прославления его скорбь. Не понятый миром, он ходил взад и вперед по Тверскому бульвару. Взглянув на заснеженный памятник Пушкину, он почувствовал, что слова все же необходимы, хотя бы тайные, обращенные к бронзе и к снегу, слова, разумеется, особенные, необычайные. «Сонечка, ты - любовь» или «ты - звезда» показались ему столь пошлыми, что он от смущения закрыл глаза. Ничего лучше он выдумать не мог, но, на счастье, вспомнил разрозненные строчки сочиненных им некогда стихов и стал тихо их повторять. Бессвязность слов великолепно передавала страсть, лежащую за пределами разума. Он наполнял слова горячестью дыхания, настоящей, почти телесной, болью, и, вылетая на волю, становясь хрупчайшими клубами пара, они были воистину прекрасны, достойны больного поэта из «кружка», достойны даже бронзовой статуи, эти слова любви.

Но вскоре Михаил устал от бессмысленности объяснения впустую. Прошел уже час, и запасы героизма иссякали. Руки, сердце, все в нем требовало действия, возмущаясь бесплодностью шагов и непрактичностью декламаций. Предрешая вопрос о дальнейшем его

поведении, походка из меланхолической сразу стала деловой. Он свернул на Малую Никитскую, где жила Сонечка. Он сначала напугал, потом рассмешил ее обвалом объяснения с его различными стилистическими пластами, где детские непритязательные слова подлинного чувства терялись среди поэтических «пастушек» и даже «звезды Кассиопеи», среди «примата личности», «констатирования» и прочих отслоений последующих интеллектуальных лет. Сонечка смеялась весело, заразительно, в смехе ее участвовали и шапочка стриженных волос, и супрематическая вышивка на животе, и кончик туфельки. Но, будучи женщиной деловой, она быстро переборола естественную веселость: нужно решить, что делать с этим вакхическим маклером, ловким, по всей видимости, в перепродаже бумагеи и другого, но весьма наивным в сердечных спекуляциях? В жизни Сонечки имелись две графы, вмещавшие ее обширные связи. Целоваться и прочее приходилось часто, но по мотивам самым различным. Агент МУРа, представитель Донторга (тот, что не задумываясь приобрел знаменитую бумагею), Кравчик из Внешторга и многие другие значились в первой, чисто материалистической графе. Любитель-статистик, какой-нибудь обозреватель из «Экономической жизни», со скуки занявшись этой графой, смог бы легко перевести поцелуи Сонечки, ее часы и ночи на подписи, рекомендации, более того, на цифры червонцев. Сонечка любила независимость, платья от театральных портных (фотографии которых потом попадали даже в «Красную ниву»), пышные кутежи. Кроме того, несмотря на свои двадцать три года, она была уже достаточно опытна, чтобы не бояться нескольких лишних любовников. Когда возмущенный отец, благороднейший и бескорыстнейший профессор Петряков, случайно узнав об одной из подобных сделок, в сердцах обозвал свою дочь «проституткой», Сонечка пренебрежительно зевнула:

- Устарело, папа. Просто я теперь на хозрасчете.

Заботы о деньгах, однако, не исчерпывали ее богатой натуры. Боксер Шурка Жаров, контрабандно, под видом красной физкультуры, проламывающий любителям носы, не обладал ни червонцами, ни полезными связями. Но сколько раз Сонечка, направляясь после театра в его бедненькую комнатку на Самотеке, возвращалась домой лишь утром, с лицом явно тронутым тушью бессонной ночи и с умилением

перед великолепием жизни. Что же, у Шурки Жарова были широкие плечи. У него было немало других интимных достоинств. С ним Сонечка отдыхала после Кравчика, после этого слюнявого карлика, который, вынь у него бумажник, смог бы поместиться в обыкновенном ночном столике. Шурка Жаров был бесполезен, но ведь он значился в другой, во второй графе - он содержался для души Сонечки.

Новый знакомый, рассмешивший Сонечку своим лексиконом, необычайным смешением ультрасовременного словаря с помпезностью провинциального стихотворца, забавный чудак, шептавший, что он теперь «экспериментально на Тверском бульваре познал роковой свет Артемиды» (которую, очевидно, путал с Афродитой), никак не подходил ни для первой, ни для второй графы. Он был беден и дальше передней трестов не вхож. Деловая Сонечка могла им воспользоваться только для мелких комбинаций. Платить поцелуями было не за что. Что касается Сонечки «духовной», то он не пришелся ей по вкусу. Особенно ее отталкивала окраска: зеленоватость щек и вызывающий цвет шевелюры. Не всякой нравятся рыжие мужчины. Словом, ни с Шуркой Жаровым, ни даже с дублером Шурки, инженером Сахаровым, Михаил равняться не мог. Вторичный его приход, конфузливая дерзость признаний, наконец, истеричность рук, которые, пока губы бубнили нечто об Артемиде, раза три порывались смять новое платье Сонечки, - все это подсказывало радикальнейшее решение: выгнать. И все же Сонечка его не выгнала. Здесь было смешение и деловых соображений, и капризности молоденькой женщины. Михаил мог пригодиться: такие пронырливые провинциалы быстро выходят в люди. Для дебюта история с бумазеей проделана неплохо. С другой стороны, богомольное почитание, страстность глаз, даже выходки рук приятно щекотали тщеславие Сонечки. Ничего подобного до Михаила она не знала. Шурка, при всех своих достоинствах, страдал лаконизмом, предельной для него любезностью являлось похлопывание Сонечки по спине, сопровождаемое ворчанием: «Ты того!..» А этот рыжий дошел до Кассиопеи. Итак, Михаил не был изгнан. Правда, ничего из просимого он не получил. Его руки были с позором удалены, признания осмеяны. Все же одно присутствие Сонечки вдохновляло и поддерживало его. Засидевшийся до чьего-то настойчивого звонка и наконец (не без

кокетства) выпровоженный, он унес тепло надежды, бодрость и решимость взять эту крепость длительной осадой.

Считая, что он выполняет хитроумный стратегический план, Михаил стал попросту вернейшим, хоть минутами строптивым, рабом Сонечки. С помощью его она обделала несколько рискованных делишек. Как-то незаметно Центропосторг превратился в ее штаб. Запротестовавший было Вогау получил немедленно в подарок две ночи и числился теперь «добрым другом» Сонечки. Михаил, однако, несмотря на всю свою преданность, не добился того, что так легко и просто далось Вогау. Он не мог добиться даже повторения поцелуя, перепавшего ему в первую ночь. Сонечка находила, что его «нельзя баловать». Зачем ей было утруждать себя обременительными объятиями, когда Михаил и без того служил за совесть? Кроме того, ощеренная, неудовлетворенная страсть Михаила нравилась ей, включая страх, когда порой, не выдержав своего послушничества, наш герой больно, до синяков сжимал ее пухленькие ручки.

Эта игра длилась долго без каких-либо существенных изменений. Дни Михаила напоминали горячку с чередованием романтической меланхолии, когда даже галстук или котлета казались ему призрачными элементами некоего потустороннего мира, и приступов бешенства, сжимаемых кулаков, солдатской ругани, летящих на пол флаконов или книжек. Он перепродавал чулки, подшипники, червонцы, трубочный табак с хладнокровием приговоренного к смерти. Его финансовые дела быстро поправились. Не только «Лиссабон», но и «Эрмитаж» теперь зазывал его к себе, чтобы в чаду «распошела» и кахетинского растворить архаизм неразделенной привязанности. Но крупные барыши он тратил на Сонечку, на ее платья, меха, духи. Столь деловитый в беседах с другими маклерами, с ней он становился карикатурно наивным. Что стоило ему, держа в одной руке оплаченный счетец за мантию, другой привлечь к себе стриженую головку этого взбалмошного пажа Ренессанса и шепнуть: «за это - то» или «за то - это», - словом, перевести на язык цифр сентиментальные повести своих одиноких ночей? Но он не делал этого. Он забрасывал свою богиню подарками, а после робко и в то же время нагло, как трусливый хищник, пытался обнять ее. Сонечка отгоняла его руки и, негодуя, требовала разрыва. Через час она, невзначай, говорила, как бы ей хотелось получить испанскую шаль.

Может быть, попросить инженера Сахарова?.. На следующий день происходило примирение, и Михаил смиренно целовал розовые пальчики, грациозно порхающие над смуглым шелком шали.

Как-то в недобрую минуту, когда Михаил от злости сухо плевался (в пересохшем рту слюны не было), он вбежал в комнату Сонечки с решением ликвидировать дело, безразлично как - червонцами или кулаками. Сонечка спала. Ее лицо, свободное от обычной косметики, поразило Михаила. Где же блокнот, Шурка Жаров, инженер, проценты? Перед ним лежала маленькая девочка, школьница, улыбающаяся какому-то сентиментальному сновидению: материнской ласке, гаданию по одуванчикам (облетит? не облетит?), может быть, первому вальсу. Умиляясь, Михаил вспомнил почему-то себя, маленького Мишку: какой он был невинный и розовый, когда Тема сажал его в детскую ванну! Все грозные намерения, разумеется, отпали. Он только нежно поцеловал ее ногу, белую, с легкой просинью жилок, выплядывавшую из-под дорогого кимоно (тоже подарок Михаила). Этот поцелуй был столь бескорыстен, столь легкий, столь далек и от первой и от второй графы, что, не разбудив Сонечку, заставил сердце нашего героя томительно екнуть, сделать вид, будто оно не может больше биться, это сердце гнусного субъекта, вместившее на минуту редкостную чистоту.

Другой раз решительность Михаила спасовала перед несколькими обстоятельствами. Он снова негодовал и снова плевался. Он уже ощущал приятность заломленных рук, унятого углом подушки крика, синяков, слез, достойной мести за два месяца. Не здороваясь с Сонечкой, он кинулся к ее недоступным плечам, но был осажен странным топотом. То, что он увидел, могло вывести из себя даже спокойного человека, а ведь Михаил и без того сходил с ума. Какой-то огромный детина, голый, повязанный лишь полотенцем, прыгал на одном месте через веревочку. Его физиономия была настолько идеально идиотична, что приветственная улыбка являлась лишь загадочным сокращением мускулов между сломанным носом и опухолью подбородка. Улыбнувшись, он со старательностью принялся за прерванное на секунду занятие. Сонечка даже раскраснелась от удовольствия: она-то хорошо понимала, что переживает Михаил. Но, делая вид, будто это ничего не значащая встреча, она зашебетала:

- Ах, вы ведь не знакомы! Это Шура Жаров, мой лучший друг. Я с ним, право же, отдыхаю душой...

«Лучший друг», бесстрастно глядя вдаль, продолжал свои непонятные прыжки. Сонечка, впрочем, сжалась и пояснила. Это упражнение для дыхания. Что произошло? Михаил, готовый уже броситься на боксера, струсил, да, откровенно, самым постыднейшим образом струсил. Его чуб как-то сразу завял, а руки бессознательно искали дверную ручку. Но тут-то и ждало его самое страшное испытание. Сонечка, желая хоть несколько расшевелить Шурку, занятого куда больше регулярностью дыхания, нежели прелестями своей любовницы, удержала Михаила и вторично, как тогда в кухоньке, его поцеловала. Поцелуй, столь желанный, который мог бы стать залогом триумфа, сигналом к финальному штурму, наконец просто блаженством, вызвал в Михаиле лишь дрожь страха. Он оттолкнул Сонечку и, ничего не чувствуя, кроме ужаса перед медленно передвигающимися бицепсами боксера, бросился бежать. Когда он опомнился, страх сменился столь же стихийным стыдом, и на следующий день язвительность Сонечки породила уже не бешенство, а только откровенный румянец. Все осталось по-прежнему. Прогресс касался не сентиментальной, но исключительно деловой жизни Михаила, перещеголявшею теперь изысками самого Вогау. Набожно помывшись (с патриархальной мочалкой), он впервые надел на свою волосатую грудь розовую шелковую рубашку. Хотя в чем-нибудь да Сонечка пошла ему впрок.

Дела наворачивались и покрупнее. В очаровательной головке, требовавшей кисти флорентийского живописца, зарождались самые рискованные планы. Как-то вечером, прервав лирическое бормотание Михаила, Сонечка шепотом (от сознания всей важности вопроса, ведь в комнате никого не было) сказала:

- Есть возможности в Наркомпочтеле. Командировка за границу. - Поедете вы. Кроме того, вам - половина. Другая - мне. Но дело сложное. Необходимо войти в доверие папы. Вы не знаете, какой это тупой человек! Радио, и только. Меня он считает воровкой и распутной. Честное слово! Вы должны начать к нему ходить, ругать меня за беспринципность, слушать, только непочтительней, как он шамкает о святости науки. Ну и так далее. Скучно? Зато если выгорит: Берлин - раз, двести червонцев минимум - два. А три? А три... Может

быть, и другое. Например, я к вам приеду вечером. А уеду... Ну, Лыков? Когда я уеду?.. Может быть... Я ничего не обещаю. Есть шансы. Пока обрабатывайте папу. Ах, он такой дурак!..

И Михаил, очарованными глазами глядя на Сонечку, не находя других достойных слов, глупо, по старинке воскликнул:

- Вы... вы ангел!

Профессор Петряков. Квартирный кризис. Неудачная любовь

- Я стар и слаб. Когда я поднимаюсь на пятый этаж, сердце уж бунит и замирает. Оно, кажется, репетирует близкую агонию. Но не в этом дело. Дело и не в лифте. Постарайтесь понять меня. Мы умираем. Мы сторели раньше положенного. От пафоса и еще от пшена. Скоро останетесь только вы, молодые. Не думайте, что я протестую. Но я дитя прошлого, девятнадцатого века: я верю в прогресс как бабы в угодников, то есть крепко и глупо. И вот из цепи вынули одно звено. Кто? Война? Революция? Этого я не знаю. Моя специальность физика, а не политика. Я только вижу, что происходит, и ворчу. Ворчать у себя на дому - это ведь не бог весть какой грех. Мне хочется, чтобы книги теперь не печатались на древесной бумаге, а вырезывались бы на камне, чтобы открытия, трактаты, стихи, даже газетное описание игры старушки Дузэ (помню - глядел и плакал) - чтобы все это спрятали в гигантский несгораемый шкаф. Я принял все. Я презираю эмигрантов, трусливых и блудливых зайцев, которые дрожат на бульварах Парижа в тигровых шкурах (и символ и мода - дочка говорила). Но пусть скорее устроят такой шкаф. Вы молоды, самонадеянны, сильны. Я готов любить вас. Но зачем вам философия, зачем вам стихи? Зачем? Скажите? Вам?.. Нет, даже не вам. Губерниям, волостям, деревне. Что скажут крестьяне, когда наконец догадаются, что можно заговорить? Им - математика? Да, конечно, четыре правила, сосчитать на базаре. Был такой крестьянский министр в Болгарии. Вы человек политический, наверное, знаете лучше меня. Ну вот, так он причислил зубную щетку к предметам роскоши и обложил ее высоким налогом. Что же, он прав. Все правы. Значит, в Болгарии нужно поскорее положить модель зубной щетки в несгораемый шкаф. Мне один из ваших сверстников сказал: «Телеграммы по беспроводке - это дело, а абстракцию вы, гражданин, откровенно говоря, бросьте». Я не обиделся. У меня одно оправдание: я человек старого закала, скоро умру. С новым я не боролся. Сразу в Октябре принял. Спец. И теперь принимаю - в душе - не только по-анкетному. А все-таки кольца этим не вставишь. Нас

тысячи, десятки тысяч, да куда тут... Горько, молодой человек, умирать так, зная, что и ты, и твои мысли и сердце ни к чему, что новые, вроде вас, посмеиваются, неодобрительно косятся, а главное, плюют, плюют на тебя, что вот эти формулы через сто лет будут трухой, а через двести их начнут заново выдумывать... Ну, к чему это, скажите, к чему?..

Закончив патетическую речь, профессор Петряков снял роговые очки, причем глаза его проявили всю свою беспомощность, и подозрительно высморкался. Его собеседник, сидевший в темном углу, совершенно неожиданно скопировал жест профессора. Он даже задел платком свои глаза. Видимо, несмотря на хаотичность речи, несмотря на свою молодость, он понял боль Петрякова, и он заслужил дружеское рукопожатие.

Читатели, по всей вероятности, недоумевают. Что может быть общего между возвышенной, хоть и наивной трагедией старого выкормыша гуманистов и нашим героем, даже в лучшие свои минуты смотревшим на науку как на винтовку, дающую все - от реквизиции до хмеля победы? Он должен был бы посмеяться над простофилей, а не вытирать шелковым платочком глаза. Да, конечно. Но ведь не первой была эта беседа. Уже две недели почтительно приучал к себе профессора сочувствием по поводу житейских неурядиц, жаждой знаний, трепетом перед наследием прошлого (включая труды самого Петрякова, висевшую в его кабинете репродукцию Паллады и даже роговые очки) наш далеко не бездарный комедиант. Он успел войти в свою новую роль, потерять ощущение рампы, перестать чувствовать и вяжущий кожу грим, и неправдоподобность тона. Если Дузэ могла, умирая на сцене, доходить до потери пульса, если Бальзак, отрываясь от рукописи, подбегал к зеркалу и охорашивался в ожидании визита трагической героини «Шагреновой кожи», то что же удивительного в платочке, вполне натурально поднесенном к глазам? Михаил вправду соболезнавал по поводу выпадения не совсем ему понятного «звена», разделял, насколько мог, скорбь ученого, тем паче что продолжающаяся неприступность Сонечки располагала его к печали. Наконец, эти беседы льстили его самолюбию, он становился чуть ли не поверенным ученого с громким европейским именем, почтительно повторяемым всеми, за исключением разве Сонечки. Это компенсировало его за любовную неудачу. Пусть вздорная женщина

находит прелесть в идиотских прыжках Жарова, зато с ним, с Михаилом, беседует профессор Петряков, который не пустил бы боксера за порог кабинета!

Петряков действительно ласково обходился с юным романтиком, можно даже сказать, привязался к нему. Он неумел распознавать людей: ведь это, как и многое иное, не являлось его специальностью. Сухие отчетливые дни и бредовая судорожная напряженность бессонных ночей шли только на одно - на изучение возможности направлять хаотичность электрических бурь, как снаряды, с безупречной точностью. Что будут при этом сообщать радиостанции: приказы об умерщвлении, дипломатические кляузы или благородные призывы любви, клич умирающих Роландов, слезы Ярославны, инструкций для комиссионеров: скупить, повысить, понизить акции, - это не занимало Петрякова. Его недаром звали узким спецом. Но кто знает, какие кипы невостремленной нежности находились в этом сердце, не выносящем больше крутых лестниц? Кого он видел в жизни? Других ученых, занятых формулами и книгами. Покойную жену, которая интересовалась благотворительными лотереями, хищениями кухарок и галстуками любовников. Но книги и формулы были у него самого. А жену он терпел как посланное судьбой неудобство, как терпел полотеров, мешающих раз в неделю работать, или мух с их эпической назойливостью. Больше у него никого не было. Сонечка? Да, конечно. Прежде ему казалось, что он ее любит, что она будет теплом, его связью с жизнью. Но теперь, думая о ней, он только жалко пришептывал: «Не удалась». Какой она была милой, когда прибежала девочкой в кабинет отца, чтобы рассказать ему о катанье с горок или попросить пятиалтынный на фисташковую халву! Как случилось все последующее? Этого Петряков не мог понять. Процесс превращения невинной девочки в накрашенную особу, способную ради денег сходиться с мужчинами, не читающую никаких книг, кроме «Гарзана», презирающую работы отца, занятую странными, может быть и противозаконными, делами, казался ему загадочным. Он ведь не знал, какими глазами глядела невинная девочка на ценные подношения, получаемые мамой от своих покровителей. Он не знал и годов искуса, когда, оставшаяся после смерти матери без присмотра, семнадцатилетняя Сонечка приобщалась к житейской мудрости, кокетничая напропалую, а

ночью, горько плача, спеша скорее потерять невинность, боясь мужских прикосновений, одновременно мечтая о героической любви и о модном коротком платье. Он не знал этого. Открытие, то есть визгливый выпад соседки Швейге: «За дочкой бы лучше смотрели! Какую сволочь она только к себе не водит», - застало его врасплох. Услыхав же пренебрежительное объяснение Сонечки о «хозрасчете», профессорское сердце замерло, как будто оно одолело сто этажей. Значит, и дочери у него нет, никого... Одиночество, и само по себе не легкое, для человека, перевалившего за шестьдесят, осложнялось двумя обстоятельствами: мыслями о явной бесплодности своей работы и тяжелыми нравами квартиры № 32. Первые были изложены Петряковым в его речи, обращенной к Михаилу, которую мы воспроизвели. Он не кривил душой, говоря, что принял революцию. Причем это не было простым приятием явления, а известным сочувствием. Но сведения его в этой области поражали примитивностью. Он твердо усвоил, что национализация заводов соответствует чувству естественной справедливости, и еще, что Луначарский весьма симпатичный и весьма культурный человек. Дальше дело не шло. Дальше он видел только хаос, невежественность того или другого вузовца, тупость переданного ему крохотного распоряжения и свою страшную отъединенность. Воспитанный на книгах, которые теперь изымались из общественных библиотек как вредоносные, он не мог понять ни этого изъятия, ни прочитанной где-то сентенции о классовой природе математики, ни пафоса единомыслия, ни воздуха, которым дышало новое поколение, воздуха, насыщенного махоркой и строительной известкой, цифрами, дисциплиной, бранью, суровым добродушием, воздуха пустырей, где наспех, запоем строится какой-нибудь новый Нью-Йорк, по-ньюйоркистее существующего. Ему казалось, что он в безвоздушном пространстве. И мудро ли, что он часто сбивался с тона, переходя от высоких опасений за будущее культуры к брюзгливым жалобам на отсутствие примитивного комфорта, соединяя то и другое в одно, вознося вопрос о квартире № 32 на неподобающие высоты?

Любой писатель, занятый своими героями, обитающими в нашей столице, вынужден учитывать значение квартирного кризиса, который является не только проблемой хозяйственного восстановления, но и психологическим фактором, зачастую определяющим чувствования и

поступки сотен тысяч людей. Стоит лишь сравнить спокойствие, уравновешенность жителей Ленинграда, где в любой квартире две-три комнаты заколочены как ненужные (для экономии топлива), с первичностью, даже озлобленностью москвичей, чтобы понять все значение квартирного кризиса. Может быть, Петряков, живи он в другом месте, не жаловался бы Михаилу на слепоту истории. Ведь квартира № 32, эта рядовая московская квартира, являлась поэтическим вымыслом жесточайшего человеконенавистника. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: «звонить три раза» или «стучать раз, но сильно», «два долгих звонка, один короткий». Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушиваясь, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах. Можно хранить стыд день, месяц, но не годы. Раздевались, не обращая внимания, - пусть проходят. Но иногда находила злоба, и тогда, запирая дверь, принуждали соседа топотать в морозной передней. Жили, вопреки поговорке, и в тесноте и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами. Каждый досконально знал жизнь другого, знал ее во всех деталях, знал белье соседа, его любовниц, его обеды, его долги и болезни. Поражение частицы заставляло содрогаться весь организм. Обыск у одного, понос у другого создавали бессонницу двадцати семи душ. Кухня была общей, и меню каждого оценивалось с точки зрения этики, эстетики, а также возможности вынужденного переселения в Нарым. Все двадцать семь искренне ненавидели друг друга. Швейге, наблюдая вялость уходящего утром от Сонечки Шурки Жарова, негодуяще шептала на кухне: «Она же его погубит, эта дрянь! Вы только посмотрите, он даже с лестницы сойти не может». Служащего Госбанка Данилова попрекали тем, что его жена изводит полфунта масла на обед: «Сразу видно, взяточник». Когда умер год тому назад муж Швейге, жена Данилова объяснила, что он умер от супружеской требовательности старой ведьмы. Коммуниста Чижевского долго побаивались, но, как только выяснилась принадлежность его к оппозиции, Швейге немедленно дошла до колкого замечания: «Кофейник нельзя в раковину выпораживать, засоряется, некультурно это...» История всех стычек могла бы составить увлекательный роман с выразительным названием «Квартира № 32», и нечего удивляться, если хоть в мудрой, но наивной

голове профессора Петрякова эта история часто заслоняла историю великой революции.

Его не любили, несмотря на кротчайший характер, не любили за уединенность, за нежелание снизойти до общих страстей. Поэтому, хоть он и не раз публично отрекался от дочери («Прошу не смешивать»), хоть он и довел свою щепетильность до того, что часто, подголаживая, отказывался взять у Сонечки даже кусочек хлеба («Я честный человек, а не альфонс и не сводник»), его все же травили именно поведением Сонечки, этим козырем всех кухонных пересудов. Его новые штиблеты встречались шепотом: «Ага! Барышня наработала». Данилов бормотал прямо ему в нос: «Такую давно посадили бы, да вот папаша нужен большевикам, поэтому и терпят...» Уехать профессор не мог. Выселить Сонечку тоже не было в его власти. Он только по ночам грузно ворочался и пил воду.

Михаил был, пожалуй, первым человеком за все эти годы, не заявившим снисходительно Петрякову, что тот устарел, и не попрекнувшим его Сонечкой, и Михаилу досталось множество ласковых интонаций, незнакомых ни слушателям профессора в вузе, ни жильцам квартиры № 32. Наш герой мог радоваться. Ведь среди лирической растроганности иных вечеров он не забывал и о своем основном задании: при помощи Петрякова получить лакомую командировку. Через месяц-два профессор должен был направиться в Берлин с двойной целью: проверить последние труды германских ученых, искавших, как и он, возможности регулировать направление электрических волн, а также приобрести усовершенствованные аппараты для новой радиостанции. Сопровождать Петрякова предполагал некто Ивалов из Наркомпочтеля («для политического выпрямления линии»). Но требовался третий - деловой человек. Вот на это место и метил Михаил. Его сближение с профессором уже достигло такой прочности, что он решился высказать ему свои надежды. Петряков отнесся сочувственно («Вот там, молодой человек, увидите, что такое культура...»). Оставалось, чтобы втереться в Наркомпочтель, заручиться некоторыми рекомендациями. Для этого Михаил рассчитывал на Артеминого товарища Бландова. Все шло как по писаному. Михаил мог бы радоваться. К тому же Сонечка, выводя нашего героя в люди, натолкнула его еще на одно добротное дело: она познакомила его с директором «Югвошелка» Шестаковым, который

был очарован плечиком Сонечки, этим, по его словам, «аппетитным кусочком Тициана». Деньги имелись. Предстоял Берлин с культурой, понимаемой Михаилом на свой лад, то есть с автомобилями, ресторанами и заграничными девочками. Чего же больше?

Но Сонечка... Душевные беседы - беседами, деньги - деньгами, сердце же Михаила продолжало оставаться сердцем глупого романтика, влюбленного молокососа. Здесь руки его не продвигались. Хоть вялого боксера сменил теперь Лукин, боевой статист из театра Мейерхольда, применявший на Сонечке все заветы биомеханики, Михаилу ничего не перепадало. На прямой вопрос, чем он хуже прыщавого и плюгавого Лукина, у которого не было даже пугавших нашего героя бицепсов Жарова, Сонечка усмехнулась:

- Не знаю. Прихоть организма. Хочется, и все тут... А с вами нет... Вот вы, например, рыжий...

Беспощадно разоблачая жизнь Михаила, мы вынуждены теперь упомянуть, как он робко вошел в парикмахерскую «бывших мастеров Леона», что на Петровке, и попытался приобрести там приворотный камень, то есть усовершенствованную краску для волос. Какое это расхолаживающее зрелище! Любовная трагедия легко могла перейти в сомнительный фарс, тем более опасный, что покрасить волосы дело десяти минут, а вернуть им природную окраску не так-то легко. Поэтому мы искренне благодарны судьбе (или, точнее, самонадеянности Михаила), в последнюю минуту удержавшей его от непоправимого шага. Нам ведь предстоит рассказать о многих подлинных страданиях неумного сумасброда, и перекрашенные волосы помешали бы должной серьезности тона. Рыжесть чуба навсегда неотъемлема от Михаила Лыкова. Итак, нам первым на радость, он не использовал приобретенную им в парикмахерской заграничную краску. Вертясь перед зеркалом, он вдруг улыбнулся, почувствовав, что он хорош, чертовски хорош, что именно пламенность шевелюры в сочетании с минералогической безжизненностью кожи придает ему загадочный и героический облик, что женщины должны лететь на него, как на лампу мошकारа. Он с презрением откинул жалкую банку. Он даже нежно погладил свой чуб, как бы благодаря его за живописную удачливость. Сонечка?.. Но это вопрос не цвета волос, а количества червонцев. Разве она не

обещала ему вознаграждения за берлинское предприятие? Ждать Михаил все же не хотел. Он решил потребовать аванса.

С этим он и направился к Сонечке. В комнате было полутемно. Сонечка попросила электричества не зажигать. Михаил не спорил, он и сам, готовясь к натиску, предпочитал отсутствие света, способного разоблачить его неуверенность, волнение, пожалуй, страх. Подсев поближе к Сонечке, он начал с поцелуя. Он был прежде всего удивлен: Сонечка не оттолкнула его, даже не обругала. Наоборот, она сама с явной охотой принялась его целовать. «Может быть, это от темноты, оттого что она не видит теперь моих волос?» - успел подумать наш герой, теряя способность трезво расценивать события. Вскочив, он поспешил скинуть пиджак. Он довел Сонечку до кровати. Там, однако, вместо предвкушаемого и заслуженного торжества его ждало вящее унижение. Он сначала нащупал, а потом разглядел мелкое личико Лукина, который лежал мирно, по-семейному, в ночной рубашке, и, видимо наслаждаясь происходящим, поджидал Сонечку, поджидал не зря, так как она немедленно легла рядом. Михаил повернул выключатель. Он был вправду страшен, так что Лукин, увидев красноту щек, вычерчиваемые руками дуги, натянул одеяло на голову. Сонечка же, убежденная в кротости вполне прирученного ею поклонника, улыбалась: она радовалась пикантной закуске перед пресностью обычных ночей. Развязки драм, последние итоги ярости всегда бывали неожиданными для самого Михаила, эти пятые акты не им сочиняемых пьес. Здесь могло быть все: слезы, побои, убийство. Если отсутствовал револьвер, то ведь на столе соблазнительно посвечивала медная ступка, в которой Сонечка толкла грецкие орехи. Слабейшие чувства не раз заставляли Михаила кидаться на людей. Наконец, плюгавость Лукина исключала страх. Ясно было, что одним ударом Михаил прикончит его. Содрать одеяло и найти испещренный красными бугорками лоб труда не составляло. Прерванные поцелуи требовали продолжения. Казалось, он должен убить соперника и взыскать вождеденный аванс, за которым он пришел. Однако гнусность инсценировки парализовала его чувства. Он не раздавил Лукина, он спешно увел свои руки от соблазнительной ступки, повинувшись чувству безразличности. Так обходят гусеницу, страшась ее раздавить. Даже губы Сонечки не притягивали его больше, они теперь сливались с прыщами Лукина, с

его ночной рубашкой не первой свежести. Изобразив сарказм шаблонного театрального хохота, Михаил крайне неправдоподобно воскликнул:

- Спокойной ночи!

И выбежал на лестницу. Там холод и пустота сразу отрезвили его. Погасив гнев и столь несвойственную ему брезгливость, они оставили в силе страсть. «Дурак! - кричал теперь сам себе Михаил. - Не все ли равно, кто рядом с ней? Там нашлось бы место и для тебя. Долой предрассудки!» Он бросился к двери, он стучал, звонил, не забывая при этом о сложной сигнализации, установленной в квартире № 32. Так как было уже поздно, ему открыли не сразу. Наконец раздался испуганный голос Швейге:

- Кто там?

Дрожь этого вопроса передалась и Михаилу, вдруг почувствовавшему себя вором, ночным грабителем, рвущимся не к губам Сонечки, а к милиции и к протоколу. Вместо ответа он предпочел кинуться вниз. Он столкнулся с профессором, который, задыхаясь от этажей и от философических сомнений, связанных с преимуществом культуры, вызванных в нем очередным заседанием научного общества, тяжело подымался вверх.

- Как дела, молодой человек? - дружественно спросил Петряков.

- Дрянь. Фактически погибаю.

Не понимая, да и не стараясь понять слов Михаила, занятый своими унылыми мыслями профессор все же сочувственно хмыкнул:

- Вот как...

- У меня, знаете, папаша был. Ваших лет. С манишкой, - уже вовсе бессмысленно пробормотал Михаил, потрясенный, после всего происшедшего, уютом, теплотой профессорского голоса.

Слово «папаша» дошло до Петрякова, оно что-то пробудило в нем, заставило прислониться к стенке, даже снять очки.

- Вы говорите, «папаша»? Да, это очень хорошо. Когда-то Сонечка милой такой была. Играла в серсо... А не удалась. Вышла прямо беспутной, как и все эти молодые... без чувств, деньги и деньги...

Странная была эта беседа на темной морозной лестнице, классическая беседа из старого русского романа. В голосе профессора уже слышалась не только теплота, но нежность, человеческая боль. Он

был пропитан шершавой влажностью готовых хлынуть слез. Но Михаил не дал им пролиться, облегчив хоть несколько стариковское одиночество. Забыв о всех требованиях тактики, забыв о налаживаемой день за днем командировке, он воскликнул:

- Не смейте так говорить о ней! Она абсолютно чистая! Она прекрасная! А вот мне каюк!..

Дверь и ночь проглотили его дальнейшие признания.

Работа, сопровождаемая лирикой

Одна минута может, конечно, разрушить сложное построение долгих месяцев, лет, веков. Но чем бы она ни была заполнена - гневом, самоотверженностью, подвигом, - все равно на следующее утро память о ней, этот звон убираемых бутылок, смятость постели или линялость флагов, чад расстрелянных ракет фейерверка или артиллерийской дуэли, сдается в архив, кладется в сентиментальную шкатулку, кидается профессиональным мусорщиком: историкам, психологам и поэтам. Начинается знаменитое становление, то есть комичное в своей торжественности напяливание честного костюма, обязательно состоящего из пиджака, жилета и брюк, на человека, возомнившего себя античным фавном или хотя бы экзальтированным босяком. О том, как это проделывается, сколько слез и недоброго смеха стоит, говорить нам не приходится: читатели это знают сами.

Михаил после ночных безумствований утром вернулся к деловой жизни. Он прежде всего пожалел о происшедшем на лестнице. Не оттолкнули ли его глупые слова о святости Сонечки щепетильного профессора? Сонечка тоже проснулась в дурном настроении. Что значил саркастический смех Михаила? Вдруг он бросит ее, не доведя до конца ни «Югвошелка», ни, главное, Берлина? Командировка требовала от обоих жертв, трезвого восстановления. Что же, Михаил поступил достаточно остроумно: принесся извинения за ночную невоздержанность, он окончательно завоевал сердце Петрякова чистотой, наивной ребячливостью своих чувств к Сонечке. Профессор только счел долгом прочесть отеческую нотацию:

- Жаль мне вас, молодой человек. Право же, она недостойна подобного отношения. Обещайте мне забыть о ней, вычеркните ее из памяти.

Михаил тотчас с готовностью ответил:

- Вычеркну!

Роль Сонечки была много проще. Стоило ей ласково потрепать неперекрашенный чуб и напомнить о том, что будет после Берлина, как Михаил уже позабыл о ночной рубашке Лукина. Все снова вошло в колею. Наш герой вел серьезные переговоры с Шестаковым о

принятии для окраски большой партии шелка, принадлежавшей некоему Зайцеву. Дело хоть и подвигалось медленно, но сулило солидный заработок. Что касается Наркомпочтеля, то остановка была только за партийной рекомендацией. Михаил решил приняться за Артема и, пробудив родственные чувства, добиться записочки к Бландову.

Он знал со слов одного товарища, что Артем переехал на Большую Якиманку и как будто женился. Все это, по существу, его никак не интересовало. Лиричность сердца, так безрассудно расходуемая теперь на Сонечку, при мыслях об Артеме отсутствовала. Занятия, даже женитьба скромного вузовца не могли занимать Михаила, поглощенного чуть ли не государственными делами. Идя к Артему, он с досадой подумал, что придется, приличия ради, вопрос о Бландове предварить скучными разговорами о том, как живет брату, что слышно о Германии, и тому подобными.

Вместо скуки, однако, его ожидало нечто иное, а именно неподдельное изумление: в указанной комнате он нашел Ольгу. Ее вид, это театральное напоминание о старательно забываемом прошлом, о проделках красноармейца и о клеенчатой тетрадке вузовца, прежде всего оскорбил Михаила. Зрелище показалось ему нарочитым, постановкой морализирующего режиссера. Отталкивая руками неприязненность воздуха, он как бы барахтался в дверях.

Ольга сидела на кровати. Увидев Михаила, она не вскочила, не вскрикнула. Легкий подъем плеч, наклон головы, эти едва заметные движения, напоминавшие смиренную агонию затравленного собакой зайца, одни говорили о ее состоянии. Молчание длилось долго. Наконец Михаил пришел в себя. Он решил обойти неприятную случайность, сделать вид, будто ее вовсе и нет.

- Ты здесь? Вот что... А где же Артем?

Ольга отвечала быстро, коротко, не задумываясь, как на допросе. Узнав, что это и есть жена Артема, Михаил не выдержал, расхохотался:

- Так! Здорово! Значит, по наследству? Что же, с Темки хватит. Он вообще подержанный товар любит. А у меня теперь такая особа... Шик! Дочь знаменитости. Красавица, ее вот один фотограф на Петровке даром снимали, для удовольствия, и еще карточки в витрине выставил. Можешь посмотреть. И любит же она меня...

Сам не зная зачем, Михаил с жаром принялся рассказывать о всех достоинствах Сонечки, он не только приукрашивал ее (что могло быть объяснено традиционной слепотой любви), но и сильно искажал характер отношений, перенося все чувства ветреной особы к Жарову, к Сахарову, к Лукину на себя. Эта ложь радована его, придавала ему бодрость и уверенность. Он даже забыл, кто перед ним. Он вдохновенно импровизировал. Немота, сутулость, слезы Ольги не доходили до него. Кончив же свою романтическую поэму, он другим, вполне деловым голосом заявил:

- Ну, будет. Я ведь к Артему по делу пришел. Когда он дома бывает?

Не дождавшись ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, Михаил наконец решил посмотреть: что же с Ольгой? А поглядев, не раздумывая, твердой походкой хозяина, вернувшегося после долгой отлучки в покинутый дом, Михаил подошел к Ольге, обнял ее и дал волю инерции движений. Минут десять спустя, приводя себя в порядок у крохотного зеркала, он задумался не на шутку, так что рука с хвостиком ярко-зеленого галстука, кокетливо подобранного под природные тона, застыла. Любопытство естествоиспытателя овладело им: зачем он, собственно говоря, все это проделал? О какой-либо страсти смешно было подумать. Серафическая голубизна глаз Ольги вызывала в нем досаду. Деловая настроенность требовала Бландова, а не бессмысленного в первобытной настойчивости чужого задыхания. В чем же дело? При чем тут Ольга? Рука с галстуком начинала походить на руку манекена. В конце концов он понял: жадность, эта добродетель авантюристов и романтиков, только жадность! Стол был накрыт, и хоть голода не было, хоть блюдо было не по вкусу, он снизошел, не прошел мимо. Ольга ведь казалась ему при любых обстоятельствах специально созданной для него, физиологическим резервом.

Эта догадка успокоила, но не обрадовала его. Явились опасения, так можно разозлить Артема и упустить Бландова. К тому же противно. Чувства Михаила успели рафинироваться. Он мечтал о Сонечке, только о Сонечке, совсем как в возвышенных книгах! Подобные объятия оставляли после себя тяжелый привкус обеда в дешевой столовке. Наконец, чего доброго, эта дура начнет проникновенно общаться, примет случайность, оплошность за

лирический рецидив. Раздраженно смяв зелененький галстук, Михаил несколько раз прошелся из угла в угол. Это успокоило его. Поступок сам по себе неплох, даже хорош, альтруистичен. Для него - одни неприятности. Но для Ольги - это радость, праздник. Что же, он порадовал эту, в общем, несчастную женщину. Насчет дальнейшего можно застраховать себя. Сказать просто, без китайских церемоний: баста! Да и с Артемом еще неизвестно что выйдет. Может, это к лучшему. Наверное, дурак влюблен в нее. Значит, если поговорить серьезно с Ольгой, она подготовит мужа. Последнее его развеселило. Он даже улыбнулся. Он даже назвал неподвижно лежащую Ольгу «миленькой». А после этого лирического предисловия перешел непосредственно к делу:

- Слушай, Ольга, у меня к тебе просьба. Поговори с Артемом. Я, видишь ли, прямо с голоду дохну. Неприятности, ерунда, кто-то напакостил. В итоге я буквально на улице. Два месяца службу искал. Вот теперь подвернулось в Наркомпочтеле. Все хорошо, но нужна рекомендация. Вот у Артема есть товарищ - Бландов. Ты уж по старой памяти выручи. Состряпай...

Ольга все так же неподвижно лежала. Лицо ее было закрыто руками. Отсутствие слов, отсутствие даже глаз, отсутствие ее оценки и объятий и просьбы томило нашего героя. Эту немоту можно было толковать по-разному. Вдруг неблагодарная женщина обиделась на него? Ведь ни одним словом, ни одним поцелуем она не высказала своих чувств. Что, если в ее голове теперь вырабатываются хитрейшие козни? Что, если она пожалуется Артему, загубит все дело?

Михаил испробовал все: кричал, ругал Ольгу «изменницей», даже «блудливой кошкой», упрекал ее и за измену ему, так ее в душе любившему, и за измену Артему, он повторял все нежные слова, какие только знал, от «деточки» до применяемой им обычно к Сонечке «богини». Все было напрасно. Немота сгущалась, становилась катастрофичной. Тогда Михаил прибег к последнему, радикальному средству:

- Что же, молчи, только я тебе одно скажу. Если ты с Артемом не поговоришь, мне конец: застрелюсь. Нет больше сил голодать. Я и револьвером запасся. Лучше уж сразу кончить...

Михаил добился своего: заглушенный подушкой, а также слабостью, раздался голос Ольги:

- Хорошо, я поговорю.

Тогда, деловито добавив, что ждет ее завтра с результатами, и для бодрости засунув два пальца в жилетный карман, он вышел. Он испытывал знакомое ему чувство удовлетворения после удачной, но нелегко давшейся сделки. Ольга для него теперь была бумазеей или шелком. Кто скажет, что он не честно зарабатывает свой хлеб?

Теперь мы позволим себе, расставшись с жизнерадостным героем, заглянуть в глаза Ольги, которых он так и не увидел, добиться от нее чего-либо более внятного, нежели молчание и добытое шантажом обещание посредничества. Описываемая нами женщина может во многих вызвать невольное раздражение. С пассивностью скорее мирятся в жизни, нежели в книгах. Вещность Ольги, передвигаемой другими, зависящей от любого случая, от любой прихоти, кажется неубедительной на страницах современного романа, где нужно жить, действовать, махать руками, топиться или топить других. В жизни, однако, подобных женщин немало. К ним привыкают, как к вещам. Их раздевают, иногда ласкают, иногда бранят. Они штопают носки, рожают детей, ходят на базар. Кроме того, они читают романы, мечтают о жизни иной и прекрасной, безнадежно любят, втихомолку плачут и умирают, только в порывистой теплоте материнских поцелуев передавая своим детям тоску тридцати или сорока положенных лет. Обыкновенные женщины! Ольга? Она как другие, не лучше, не хуже. Рядом с ней находился честный хороший человек, а она снова отдала свое тело и сердце нашему рыжему пакостнику. Что это? Глупость? Или неистребимое томление, жажда, пусть старомодная, но живая романтика, бегство от душевного уюта в классический притон, приятие дыбы, судьба многих и многих?

Она не ждала Михаила. Она не пошла бы к нему. Но все эти месяцы она ему принадлежала, как оставленный на хранение багаж. Когда же он случайно натолкнулся на нее, мог ли у нее быть выбор? Мысль об Артеме никак не останавливала ее. Следует сказать, что семейная жизнь этой пары не налаживалась. Брак принес лишь комнату на Якиманке, но не счастье. Комната являлась единственной связью. Столь ангелическая с Михаилом, Ольга оказалась способной на злобу, на сварливость, на повседневные пререкания и стычки, которые можно сравнить только с ноющим дуплом зуба. Это была,

пожалуй, месть за свою беспомощность, глупая и жалкая месть. Сколько раз Артем тихо уходил из комнаты, только чтобы не слышать больше бабских нелепых упреков. Он чувствовал себя сдавленным, вытесненным из своей собственной жизни бытовой фантастикой, нелепицей физиологического отталкивания, когда тело, беснуясь, покорно молчит, но в отместку заставляет язык выкидывать множество загадочных и тупых упреков. Он не поддавался. Бесшумность уходов или недоумение («Да что с тобой?») являлись его единственным участием в этих сценах. Сдержанность мужа только усугубляла раздражение Ольги. Иногда Артем решал порвать с ней, переехать к товарищу на Спиридоновку. Мысль о втором хвосте в загсе (о том, что на развод) заставляла его тогда меланхолично улыбаться. Но злобные выпады Ольги неизменно заканчивались слезами, и жалость, нежность, привязанность побеждали в Артеме все остальное. Он оставался. Он страдал, упрекая себя за недостойность этого страдания. Личная жизнь должна быть на заднем плане. Какой позор! Он, Артем, коммунист, может мучиться из-за каких-то бабьих чудачеств! Он шагал по улицам, судил себя, осуждал, осуждал за все, за радость того утра, за загс, за привязанность к этой женщине, за неумение наладить с ней честную рабочую жизнь. А подходя к домику, издали разбирая сквозь белесость снега теплую желтизну окошка, сливающуюся в его сознании с волосами Ольги, он терялся, чувствовал, что слабеет, плошает. «Проще. Только проще!» - повторял он сам себе.

Но этот прекраснейший дар, простота, столь легкая в книгах или в статьях компетентных товарищей, требовала в жизни героизма, большой любви и большой воли. Особенно тяжелы были последние недели. Отвращение Ольги к мужу дошло до Артема.

- Ты, может, кого-нибудь другого хочешь?

Не задумываясь, она солгала:

- Нет.

Она солгала не от страха и не от стыда. Ее чувства, болезненные и острые, не выносили дневного света. Для признания требовались экзальтация, исключительность одной минуты. На простой же вопрос, поставленный трезво, деловито, за ужином, вроде как: «Может быть, ты колбасы хочешь?», она могла ответить только ложью. Артему эти дела казались и вправду простыми, житейскими. То, что он страдает

именно из-за бессмысленности своего чувства, не доходило до его сознания. Мысли были ясными: другого - иди к другому, меня - оставайся, и хватит, нужно работать, а не беситься с жиру. Поэтому ответу Ольги он поверил. Отношение к своим ласкам он отнес за счет нервности жены и решил на время от них воздержаться. Он был молод, спал рядом с Ольгой, все это ему давалось нелегко. Приходилось порой и ночью мысленно повторять магическое: «Проще!»

Так они жили. Утром Артем ушел в вуз. Ольга чинила белье. Явился Михаил. Налаженное равновесие было опрокинуто одним движением руки нашего героя. Как бы ни были жестоки хвостовские рассказы Михаила о Сонечке, как бы ни были цинично конспективны его ласки, все это после пережитых месяцев, после ночей с нелюбимым мужем, показалось Ольге исходом, спасением, радостью, сказали бы мы, если бы не боялись вызвать смех читателей: «Хороша радость!» Да, хороша! Разбирайтесь сами в болоте, где всего вдоволь - и сентиментальных незабудок (для героев баллад), и откровенной вони, и тумана, столь увлекающего импрессионистических живописцев, и жаб, жирнящих, едва передвигающихся, наподобие дам, важных жаб, от которых, по поверию, остаются на руках противные бородавки, где вдоволь всего, в болоте, называемом для краткости, а также для непонятности «любовью», как назывались в средние века «Индией» все еще не открытые страны. Разбирайтесь, если вам охота. Мы же пасуем. Мы пасуем перед тихой и ласковой улыбкой, которой встретила Ольга в тот вечер мужа. Это не описка: улыбку, а не слезы застал Артем. Он сперва удивился, потом обрадовался. Не думая допытываться, чем эта улыбка вызвана, он и сам улыбнулся: Ольга успокоится, наладится совместная жизнь, учение, работа, борьба.

Ольга не сразу заговорила о Михаиле. Она долго и тщательно проверяла, достаточно ли прочна улыбка мужа. Зная, что просьба возмутит Артема, она старалась создать атмосферу беззлобности, уюта, некоторой душевной лени, в которой даже самое рискованное слово «Бландов», утратив резкость контура, станет терпимым. Ее поведение, выбор слов, паузы - все было обдуманым, и превращение сентиментальной мямли, тургеневской героини в ловкую особу, в героиню совсем иной литературы, в любовницу, занятую карьерой

своего дружка, сочетающую пыл адюльтера с трезвым расчетом, может быть объяснено лишь силой все той же «любви». «Застрелится!» - эта неотступная мысль делала из Ольги Сонечку, принуждала ее каждым жестом, каждой улыбочкой лгать, лгать гадко и зло человеку, в своей наивности равному ребенку. Она все сделала. И все оказалось тщетным. Как только дошло до Бландова, Артем насторожился. Он почувствовал, что это новая Мишкина проделка. Он уперся. Нет, ни за что! У него нет работы? Артем подыщет ему, но такую, чтобы не было простора его непоседливым рукам. «Мишка - пропащий» (это Артем сказал с горечью, нетвердо, как Петряков говорил о Сонечке: «Не удалась»). Брат? Конечно. Но можно ли говорить о чувствах? Кому какое дело до боли Темы, нянчившегося когда-то с маленьким Мишкой? Сюсюкать не приходится. Речь идет о работе, то есть о партии. Мишек нужно выкорчевывать. Сразу. А боль - это дело частное. Так думал, так и говорил Артем. Большого Ольга от него не добила. Ей пришлось замолчать. Ей пришлось лечь рядом с этим чужим и жестким человеком, который являлся судьбой, палачом ее рыжего идола. Артем спал. Ровность его дыхания оскорбляла Ольгу, она казалась ей ходом часов, живых часов в рубаше, отсчитывающих радости и муки людей, жизнь Михаила, жизнь Ольги: еще, еще. Как она скажет завтра о неудаче? Нужно прежде всего отобрать револьвер...

Некоторое чувство справедливости проявила судьба: далеко не веселый вечер провел и Михаил у своей Артемиды. От бодрости засунутых в карманы пальцев не осталось и следа. Шло обычное унижение, то есть кокетливые приготовления к визиту нового избранника, американского журналиста Саймсона: фабриковались губы и ресницы, обдуманно надвигался на лампу абажур, выбиралась пижама, наиболее гармонирующая с освещением. Присутствие раздраженного Михаила оживляло Сонечку. Она дурачилась. Она даже прогуливалась тушью по оранжевым бровям своего поклонника. Михаил выходил из себя. Он было попытался воздействовать на Сонечку реляцией о своем утреннем налете. Но, проявив подлинную широту взглядов, Сонечка добродушно посоветовала нашему герою:

- Вот вы и ступайте к ней. Пора. Сейчас Саймсон придет.

Звонок (два коротких, один долгий), не разрешив сомнений Михаила, заставил его, однако, покинуть малогостеприимный уголок.

Как и Ольга, он провел дурную ночь, пил из ручейника воду, плевался, злобно ворчал, шлепал босыми ногами по холодным половицам.

День для него начался с мысли о Бландове: выйдет? нет? В одиннадцать, как было условлено, явилась Ольга. Не здороваясь, он метнулся к ней:

- Ну?

В первый раз Ольге пришлось, хоть косвенно, за другого, отказать Михаилу. Она долгу колебалась. Нелегко ей было выговорить:

- Не хочет.

Руки Михаила упали как в обмороке. Расстроенный, он отошел к окошку. Кто же, если не Бландов? Темка - сволочь! Налечь на Петрякова...

Ольга, жадно следя за мельчайшими движениями рук Михаила, думала только об одном: помешать, спасти! Виновато подойдя к нему, она шепнула:

- Я, может быть, другое надумаю. Только обещай, что ты не умрешь...

Эти слова застали Михаила врасплох: он обмозговывал, как бы заставить профессора найти соответствующие рекомендации. «Умереть?» Михаил расхохотался. Он забыл о своей вчерашней угрозе. Мысль о смерти показалась ему исключительно глупой, как выходка клоуна.

- Нет, тетушка, мы еще поживем. От таких вещей люди не умирают.

Ольга гадала, что это: нервический смех самоубийцы или действительно перелом к жизни? А Михаил, глядя на нее, забыл о Петрякове. Почему вот эта здесь, рядом, готовая всегда и на все, эта, а не Сонечка? Где же смысл? А Сонечка пускает к себе паскудного американца, каждый вечер меняющего девочек, не его, нежного, симпатичного, преданного ей навек. Чепуха! Чьи-то дрянные выходки. Злоба нарастала. Он кинулся на Ольгу. Он мстил ей за ту, другую, с припухлыми, тщательно изготовленными, недоступными для него губками, этой бледной, чересчур натуральной, послушной, мстил за страх перед Шуркой Жаровым, за ворот ночной рубашки биомеханика, за бумажник Саймсона, беременный долларами, за широкие плечи и черные волосы многих других, за мороз и

одинокость лестницы проклятого дома на Малой Никитской. Наконец-то он отвел свою душу. Его больше не тормозили мысли о Бландове или об Артеме. Дело перешло на чистые чувства. Здесь он показал себя. Он превзошел все харьковские ночи. Он узнал скверную радость мучительства, все ее градации, от огромного желания, обладая, уничтожить, от страсти к пустоте, которую оставляет после себя кочевник, до подлых забав развратного старикашки. Все это сопровождалось таким напряжением, таким подлинным отчаянием, что бедной Ольге, не понимавшей цепи, которая вязала мускулы боксера и ее заламываемые руки, показалось даже, что Михаил ее любит. Иллюзия, впрочем, была недолгой. Удовлетворенный но неуспокоенный, Михаил ревел теперь от боли и злобы.

- Ты паскуда. Со всяким согласна. Темка или я - тебе все равно. А Сонечка, та святая...

Неуместности последнего выражения на устах Михаила, хоть и вычищенного из партии, но все же сдавшего экзамен по политграмоте, не почувствовали ни он сам, ни Ольга, как не чувствовали они противоестественности, враждебной отчужденности дневного рабочего света, обыкновенного света среды или четверга, когда миллионы трудятся, то есть поддерживают густым дыханием налаженный распорядок, а два, три или десять погибают.

Жизнеспособность гнили

Михаил налегал на Петрякова. Старик медлил: не то он вправду забывал, не то колебался. Несколько утешило Михаила удачное завершение первой сделки с Шестаковым. Кроме полученных червонцев, он учитывал и солидность предприятия. Это не случайный трюк, вроде бумазеи. Здесь можно осесть, пустить корни, сделать из окрашивания частного шелка на госфабриках высоко расцениваемую специальность. Берлин, однако, продолжал манить его и приятностью самой поездки, и возвращением. С Сонечкой ведь все обстояло по-прежнему. Пожалуй, разряжаемый свиданиями с Ольгой, он вел себя несколько спокойней, больше предвкушая грядущий триумф, нежели добивались непосредственных подачек. Ольга, таким образом, в конце концов оказалась ему полезной, даже без Бландова. Думая о ней, Михаил испытывал известную признательность. Он решил до отъезда держать ее при себе. Потом будет Сонечка, и заместительница станет излишней. Комбинация не шла вразрез с романтикой, оставаясь законной, даже моральной.

Расчеты были разрушены одним вечерним, не в назначенный час, посещением Ольги. Своевольность прихода, решительность, движений, наконец, первые же слова («Мне с тобой нужно поговорить») указывали, что это не обычное любовное свидание. Михаил приготовился к упрекам, к ревности, может быть, и к слезам.

- В чем дело? Чего ты пришла? Я занят.

- Прости. Четверть часа. Мне необходимо тебя предупредить. Во-первых, я к тебе больше приходить не буду. Во-вторых, мне придется обо всем рассказать Артему.

Михаил вскочил. Он готов был терпеть неизбежность своей боли, надменность Сонечки, одиночество. Все это были хоть и горькие, но возвышающие чувства. Слова Ольги сулили иное. Пусть не приходит. Черт с ней! Только не Артему!.. Вместо трагедии - тысяча неприятностей. Ни за что! Он ясно представил себе, как Темка взглянет на него. Он негодовал. По всей вероятности, он и трусил, хоть не признавал этого. Ведь он всегда побаивался брата. Вдруг Артем убьет его? Или излупит? Он кричал на Ольгу. Он запрещал ей. Он

грозил, что сейчас же убьет и ее и себя. Видя, что ничего на нее не действует, он даже прибег клирике: как можно интимное счастье делать общим достоянием? Но Ольга оставалась непреклонной: она должна сказать. Тогда в изнеможении Михаил свалился на кровать. Бледные щеки теребила конвульсия. Ольга села рядом. Нежность к этому сумасшедшему ребенку заставила ее наконец заговорить.

- Ты пойми меня. Я ведь тебя во всем слушалась. Но теперь нельзя иначе. Дело в том, что я...

Михаил поднял голову, он оживился, даже просветлел. Загадочность упорства уничтожала его. Теперь он понял, в чем дело. С конкретной бедой он умел бороться. Им овладела деловитость.

- Это чепуха. Ты бы так сразу сказала. Мы это в два счета устроим.

Он задумался. Ольга ждала вспышки гнева: она боялась признаться ему, боялась его на все способных рук. Кроме страха, в ней, правда, прозябала и глупая надежда: вдруг Михаил обрадуется, улыбнется, ласково погладит ее. Ведь бывает же это с другими. Стоит прочесть любой роман. Понятно, Михаил не такой, как все. Но кто знает? Если она скажет, он может ее убить, но может и приласкать, может одарить не ее, а эту новую жизнь любовью, может в одну минуту сделать Ольгу счастливой, самой счастливой на всем свете. И вот ни ярости, ни ласки. Озабоченный голос. Шаги из угла в угол, назойливые и сухие, как счет костяшек. О чем он думает?

- Пустяки. Просто ты Темке скажешь, что это его ребенок.

Вот о чем думал Михаил! Только зависимостью от него Ольги, приспособлением этой, скорее идеалистической, натуры к трезвой гнусности нашего героя можно объяснить последовавший ответ: не слезы, не более соответствующую положению пощечину или возмущенный уход, но ответ в тон:

- Нельзя. Повремени не выходит. Я ведь с ним теперь не живу...

На этот раз Михаил действительно разозлился. Поведение Ольги он нашел как бы нарочно рассчитанным на причинение ему, Михаилу, всяческих неудобств. Что за фантазия? Почему это она не живет? Как будто одно мешает другому! Пусть сегодня же бросит эти повадки. Тогда все остальное приложится. Две-три недели - пустяки. Артем не такой человек, чтобы с карандашом в руке высчитывать, когда он последний раз целовался. Словом, ерунда! Итак, он благословляет

Ольгу на тщательное выполнение супружеского долга. А через две недели она сможет порадовать мужа и результатами...

Ольга, однако, не разделяла легкомыслия Михаила. От предложенного выхода она решительно отказалась. Она и не искала другого, готовая принять всю надвигающуюся тяжесть на себя. Занятость чем-то новым давала ей известную устойчивость. Центр жизненной энергии, до сих пор находившийся извне, в руках или в чубе Михаила, переместился. Мысль о физической близости с Артемом теперь казалась ей особенно оскорбительной. Не найдя в Михаиле нужного, она готова была по-прежнему служить ему, как вещь, но непримиримость уже накапливалась. Глядя в ее глаза, легко было прощупать завязь зрелых чувств. Не все ей можно было теперь продиктовать. На этот неожиданный отпор и натолкнулся Михаил, совсем сбитый с толку кратким отказом Ольги. Тогда он преподнес ей новое, радикальнейшее решение. Изложил он его просто, без прикрас, употребив для этого страшное словечко, указывающее, что недавнее преступление, «смертный» грех, стали бытом, - словом, хорошо знакомым, по своей горькой колючести, и вузовкам, и работницам, и совбарышням (безразлично - от «крылатости» или «бескрылости» ночей, оплачиваемых их кровью, безразлично - и от промокашки загса), простенькое, чудовищное слово:

- Что ж, тогда «скребку».

Ольга ощерилась. Ее лицо, неизменно приветливое до хронической улыбки, приняло звериный оскал. Она готова была скорей умереть, нежели выдать свою, воистину окаянную, радость выносить дитя бредовых ночей, лишенных нежности и воздуха, дитя Михаила, может быть, с таким же чубом, с такими же хваткими руками душителя или самоубийцы. На приглашение Михаила ответило прежде всего ее тело, обычно мягкое, как тесто в руках кондитера, теперь подобранное, готовое к защите, к животной борьбе. Право, даже ногти ее как-то заострились, не говоря уж о глазах, легко перешедших от тургеневской элегичности к тусклому посвечиванию разъяренной кошки. Как будто Михаил являлся хирургом, то есть непосредственно врагом, похитителем. Нет, этого не будет! Ясно? Можно было у Ольги отнять книги или совесть, можно было вместо оперной или библиотечной любви преподнести ей сальные шуточки буяна или его же ремень, заставить уверовать в пафос хамства,

заставить лгать, гаденько лгать с расчетом, - все это было в пределах возможности. Человеческая душа послушливо сжималась или растягивалась, как резина, приучилась к строго нормированному дыханию, вмещала чужие миры, темные, жестокие, пещерные, сочетание незабвенных стишков капитана Лебядкина с ароматом освежеванной туши. Однако, с радостью заметим мы, и здесь имелись пределы, не условные, но глубоко органические пределы. Это выражение лица, твердость губ, отталкивающую сухость зрачков понял бы Артем. Не на такой ли отпор нарвалась Ольга, упрасывая мужа дать записочку к Бландову? Конечно, причины были разные: партия, революция, история, здесь же почти воображаемая плотность еще не осязаемого зародыша. Но мы радуемся самой непримиримости, возникновению отказа там, где, казалось бы, уже нет ни воли, ни сил, а только всепокрывающая инерция, тряска, прием и отдача бессмысленных толчков автобуса, в который свалены двадцать или тридцать человеческих жизней.

Михаил почувствовал перелом. Ему стало неудобно с этой женщиной, доселе безропотной. Он все же пытался переубедить ее. Он вооружился логикой. Ну что в этом плохого? Даже государство терпит. Все делают. Пусть Ольга спросит товаров. Плевое дело! Каждой приходилось. И не раз. Опасности никакой. Нужно решиться. Не рожать же ребенка без денег, даже без квартиры, еще одного злосчастного сопляка Мишку, с его играми на базаре, побегушками и прочими прелестями.

Ольга не спорила, но лицо ее, сохраняя все ту же подобранность, ясно говорило, что ни логика, ни красноречие не властны над ней. Доводы Михаила казались ей вздорными, ребяческими. Как будто она сама этого не знает! Шла невыгодная для Михаила игра. Карт он не видел и крыл не ту масть. Она ведь не рассказала ему, что два месяца тому назад сама прибегла к столь расхваливаемому им способу. Тогда ее ничто не остановило: ни страх, ни этика. Как тысячи, как десятки, сотни тысяч других, она, не задумываясь, погасила бессмысленность первого утра в Москве болью, калечением, уничтожением. Это было в порядке вещей. Это было жизнью. Рядом с ней кричали, плакали, бредил и другие, случайно сошедшиеся, порой не знающие даже имен своих любовников, хоть и презирающие предрассудки, но теплые древней кровью и бабскими слезами, честные жены, регулярно

идушие на эту работу, как мужья их ходят на службу, жертвы проходных комнат, мужского безразличия и косности природы, отстающей от передовых идей нашего века. Тогда... Но тогда ведь был Артем, чужой, нелюбимый, отталкивающий ее каждым поворотом грубых рабочих рук. Тогда было нечто навязанное, не любовное письмо, а безразличный счет. Такому и дорога в корзинку. Не то теперь. Михаил, патетически защищая свои интересы, не подозревал, что все дело в нем, что только чувство физической спайки, продлеваемой любви, преданности заставляет эту женщину быть столь непримиримой.

Наконец он устал говорить. Все было испробовано. Как и час тому назад, перед ним встали широкие плечи брата, суровость голоса, тяжесть обычно ласковых глаз. Скандал неминуем. При всей своей идейности Артем, наверное, в семейных делах весьма традиционен. Взять того же Михаила: да если бы Сонечка была его женой, разве он позволил бы!.. Он убил бы Артема. Не обращая больше внимания на Ольгу, Михаил всецело предался страху. Это напоминало памятные минуты, когда пришло приглашение из районной комиссии. Руки его юлили на коленях. Лицо выдавало ужас, попытку бежать, надежду, цепкость хватки, затихание и отдачу прошлой жизни, приступа последней судороги. Ольга видела это, и любовь ее требовала снисхождения, участия, уступки. Но наличие иного не допускало послабления, оно не допускало даже опасной ноты жалости, простой ласки, прикосновения к этому сырому от пота лбу.

Заметив, что Ольга надела шляпу и готовится уйти, Михаил как бы очнулся. Последние резервы жизнеспособности заставили его закричать:

- Он же убьет меня!..

Не слова - голос, подлинный звериный крик, заставляющий вздрогнуть даже привычного охотника, потряс Ольгу. Ее душу, ее тело делили теперь на две части, не гнушаясь кровью и мукой. Казалось, здесь должны присутствовать фартук мясника, клеенчатый фартук, испещренный коричневыми сгустками, и сальность ржавых подвесков. Оба требовали героизма, и оба были одним: все той же любовью, этой недоброкачественной выдумкой досужего черта, этим элементарным сокращением мускулов, любовью, обнимающей игривые куплеты в «Лиссабоне» и метания Ольги. Что же ей делать? Как спасти обоих?

Новым предательством, новой ложью, глупой, бесцельной ложью, гибелью своей, да, хотя бы этим, только бы спасти. Так родился внешне спокойный ответ, с его смещением подлости и подвига:

- Хорошо. Я попытаюсь обмануть Артема. Так или иначе, тебя я не назову.

Выздоровление Михаила было чудодейственным, оно совершилось в одно мгновение. Ольга уходила:

- Прощай.

Но Михаил удержал ее. Он был признателен. Он поцеловал ее в лоб. Это явилось лишь началом. Увлекаемый спазмами жизнерадостности, охватившими его после пережитого только что ужаса, он не выпустил Ольгу. Он не послушался ее отталкиваний. Заканчивая наспех финальные объятия, он с усмешкой пришептывал:

- Чего там!.. Семь бед - один ответ..

Потом он подобрал помятую шляпку Ольги, расправил ее и вежливо подал. Выжидая, пока Ольга уйдет, он невольно задумался. Это вытекало из законченности положения, а также из вынужденной бездейственности. Пережитая глава требовала какого-то резюме. Мелькали отдельные строки: несовершившееся покаяние в столовке, пудель «обломка», слезы на плече Ольги, записочка к Бландову, вопрос о датах, наконец - эта старая смятая шляпа. Тяжелая глава! Нелегко ее было перелистывать даже наспех, пропуская особенно темные места. Что это значит? Правда ли он так гадок? Но ведь он же любит Сонечку. Ради нее он и на смерть пойдет. Сонечка, однако, даже в его сознании не покрывала Ольги. Он испытывал не раскаяние, а недоумение. Он ведь любил себя, сильно любил, сильнее, чем Сонечку, и любовь к себе неизменно оправдывала все его поступки, если не оправдывала, то, давая снисхождение, сводила дело к обличению других, к обстоятельствам судьбы. А теперь он недоумевал: как эта история, начатая наивным восторгом перед светлостью, перед ученостью Ольги, освещенная редким даром слез умиления, привела к шантажу, к торгу, к последним; цинично вырванным ласкам? Как?.. Кого тут винить? Вопросы требовали времени. Его не было: рука Ольги уже лежала на дверной ручке. Тогда подоспел ответ, нечаянный, рожденный не сознанием, а, скорей всего, тошнотой, нытьем под ложечкой, спешный, короткий, энергичный. Подбежав к Ольге, Михаил быстро проговорил:

- Скажи, я ведь подлец, ужасный подлец, правда?

Не глядя на него, уже приоткрыв дверь, Ольга сказала:

- Нет. Только жалкий ты...

Жалкий? Михаил замер. Его как бы ударили. Нет, все что угодно, только не это! Скажи Ольга, что он действительно подлец, пришлось бы согласиться. Шантажист? Хапун? Негодяй? Все это, вероятно, правильно. Но жалкий?.. Он, Михаил, жалкий, то есть паршивый, дрянь, достойная брезливой жалости? Позвольте, это не так! Это ложь! Он жив. Он живет всех. Следовательно, он счастлив. Вы еще увидите его в Берлине, когда он будет кататься с немецкой примадонной и нюхать туберозы, когда он вернется, когда та, богиня, Сонечка, нежно попросит его: «Ну, поцелуй!» Сама она жалкая! Пигалица, к тому же раздавленная. Брюхатая мышь в мышеловке. Оскорбить его таким словом! Михаил выбежал на лестницу. Он крикнул вслед Ольге:

- Сама ты!..

Но голос его заблудился в пустом тумане площадок и переходов. Ольги уже не было. Несмотря на столь удачно ликвидированные неприятности, настроение Михаила было препротивнейшим. Он собирался идти к Сонечке, но не пошел. Он не знал, куда ему пойти. Остаться в комнате, где все казалось пропитанным обидной жалостью, отвратительной снисходительностью, он не мог. Он вышел, и гниль оттепели, разложение зимы, которая одна поддерживает некоторую дисциплину в природе и в душах, дыры лужиц, больничная влажность испорченного воздуха немедленно слились с копошением, удушьем, жизнью посмертной, то есть паразитической, самого Михаила.

Быстро сгнил наш герой! Трудно теперь найти в нем частицы, еще не тронутые процессом. Родился ли он с червоточиной? Или просто, рано созрев, среди библейского зноя тех нелегких лет, свалился? Его ли судить? Якова Лыкова? Общество? Это дело судейское. Мы судить не умеем. Мы готовы с ним брезливо отряхиваться, помахать руками, как бы ища в подъездах бесчувственных домов некую сострадательную самаритянку, несмотря на промозглость и холод потеть, мы готовы даже мычать, глупо, по-балаганному мычать. Ведь не всем и не всегда даются благодатные слезы.

Почувствовав наконец изнеможение, Михаил зашел в пивную, в маленькую вонючую пивную Смоленского рынка, где потность шей, аромат воблы, кислая муть пива и все звуки - сморкание (пальцами), вечная агония шарманки, икота, брань - говорили об устойчивости скуки. Здесь взыскующая душа Михаила очутилась в родственной ей атмосфере. Такие учреждения впитывают всех несчастливцев, душегубов или же пачкунов, людей, жадных до чужой судьбы, слюнтяев, романтических «котов», пьяных метафизиков, трогательную сволочь, которой немало в нашей столице. Другая здесь Москва, не та, что ходит на митинги и к Мейерхольду, не та, что поглощает бефстроганов в «Лиссабоне», не та, что с портфелями трусит по улицам и значится в фельетонах иностранных корреспондентов, другая, более традиционная, переменившая паспорта на трудовые книжки, жаждущая уже не «красненьких», а червонцев, но этим и ограничившая свои уступки новой жизни. Шарлатанство здесь доходит до чудотворчества, а в домостроевской грубости, среди тухлых сельдей и казанского мыла, любой мордобой принимает видимость сложнейшего психологического акта. Здесь что ни хам, что ни плаксивая шлюха - то Достоевский в переплете, уникамы, герои, кишашие, как снетки. Паршивая, растравленная, расчесанная душа подается и просто, и с закуской, с гарниром, под пиво или под самогон. Вошел Михаил - что же, одним больше, и только.

Спросил он экзотичное: бутылочку мадеры и пирожных. Очевидно, сладостью подсахаренного винца и жирною приторностью крема он надеялся несколько себя ублажить. Он знал, что с Ольгой поступил подло. Нехотение жить, подлинный страх - перед продолжением опостылевшего процесса, перед засыпаниями и пробуждениями, известными жестами, словами, даже перед комбинацией из бумаг, рукопожатий, свистков, чавкания вагонных колес, называемой «поездкой в Берлин», даже перед Сонечкой - охватывал его. Раскаяние, слабость, неврастения - можно определить это по-разному. Но бдительный медик сидел в Михаиле. Живучесть неизменно выручала его. Вместо того чтобы углублять подобные состояния, доведя их до розысков проруби, до налаживания петли, он старался сам себя утешить, если не разубедить, то хотя бы развлечь - пивной, мадерой, пирожными, разглядыванием журнала «Красный

перец», посвистыванием в лад шарманке: «Полюбила ты, шельма, меня!..» Все это им проделывалось столь добросовестно, что он успел даже подумать: «Шельма - это не Ольга, это Сонечка, она еще меня полюбит», - и этой своей мысли улыбнуться. От сладкого захотелось пить. Он спросил пива и, выпив единым духом бутылку, почувствовал, кроме щекотания в носу, некоторое смещение образов. Он хмелел. К нему подошел плюгавый субъект в бесцветном пальто, чрезвычайно напоминавшем дамский капот, и в лысой котиковой шапочке, виновато улыбаясь улыбкой напроказившего ребенка или кокетливой женщины, рассчитывающей на незаслуженный подарок.

- Разрешите присесть?

Михаил к непрошеному собутыльнику отнесся угрюмо.

- Садитесь. Стулья не мои. А разговаривать с вами я не стану.

- Благодарствую. Я вот только посижу. Вы, может, думаете, что я насчет пива или пирожных? Ни-ни. Посижу, и только, никакого вам от этого вреда не будет.

Наступило молчание. Искоса Михаил оглядел соседа. Небритая физиономия, глаза пивного цвета, бегающие, как два клопа по стенке, землистый воротничок - зауряднейший облик. Такие продают на Смоленском нюхательный с мятой или старые валики для фонографа. Ничего интересного. Молчание, однако, становилось грузным, выразительным. Трудно молчать, когда два человека, озлобленные, замученные тоской и зевотой, одинокие от злых игр ребячества до гроба, сталкиваются друг с другом вплотную, чуть ли не носами. (Собакам, тем легко - они обнюхивают.) Субъект попытался заговорить:

- Позвольте представиться: Иван Харитонович Галкин. Служил курьером в нарсуде Хамовнического района, но сокращен.

Михаил молчал. Через минуту Галкин возобновил наступление:

- Без патента, но продаю валенки. Продавал. С переменой сезона тоже, простите за оборот, сокращение. Скорей всего, околею. Говорят, что суть вопроса в «ножницах». Вот, как вы полагаете, гражданин, не имею честь знать имени-отчества?

Снова последовало злобное молчание Михаила. И снова Галкин, отдышавшись, начал:

- Удивительные курьезы бывают на свете... Вы, может быть, в газетах пишете, вид у вас такой пронизательный, вам небезынтересно

ознакомиться. Хотя бы факт с Машей. Можно сказать, на моей же постели соединилась с Шумовым. А все из-за манто. Обязательно, говорит, каракулевое. Так и ушла. Удивительно? Надобно вам разъяснить, что Машенька - это моя супруга. Как вы такое понимаете?..

Мало было Михаилу своих курьезов - Ольга, Сонечка, вычистка, тошнота? На него наваливали еще какую-то пакость: пивные глазки с их трогательным морганием, беспатентные валенки, каракулевое манто. К черту! Так он и вслух пробормотал:

- К черту!

Ничто не могло смутить Галкина. Видно, к курьезам он в жизни привык, а общение являлось для него необходимостью.

- Черт? Нет, это, гражданин, суеверие. От попов. По-моему, вся сущность в гипнотизме и в электричестве. Если бы ток пустить! А то жить - сил нет. В нарсуд какая только сволочь не приходит. Один, знаете, ребенку на голову сел, череп проломил, а говорит: «Я по недоразумению»... Я скажу вам прямо - я людей ненавижу. Вот вы в газетах, наверно, читали - извозчика одного судили: двадцать девять душ прикончил. А я его понимаю. Прямо сочувствую. Я бы котлету из человечины съел бы. Честное слово! И не с голоду, а от возмущения...

Говорил все это Галкин тихо, скромненько, добродушно посмеиваясь, как будто читал «Красный перец». Заметив же, что взбешенный Михаил отвернулся, он подхватил с тарелки пирожное и быстро засунул его в рот, но крем выполз, покрыл подбородок и воротничок жирной коричневой слизью. Галкин растерянно приговаривал:

- Вы меня простите, гражданин. Без намерения, исключительно пакость рук. При случае я возьму вам.

Но Михаил уже не слушал его. Он кричал:

- Что мне - двадцати копеек жалко? Противно, вот что! Сказали бы просто: хочу пирожное. Я бы дал. А может быть, и не дал. Не знаю. Но зачем вы ко мне с философией лезете? Какое мне дело до вас? Я сам повеситься могу. Кто меня понимает? Вот вы что-то насчет баб распространялись. Бабы просто дрянь. Им что нужно? Раз-два, под юбку - и только. А меня от этого тошнит. Пусть они с вами спят. Котлетку из человечины? К стенке вас следует! Я от голой мысли страдаю. Как бы это все взять в кулак, абсолютно все. И не бабу, а

совершенство. Я вас сейчас ударить могу. Чем я лучше вас? Да ничем. Разве что деньги есть. А я ведь коммунистом был. Бей меня. Слышишь, сукин сын, жарь по глазам! Ну!.. Раскачивайся!..

Испуганно Галкин приговаривал:

- Смягчитесь, гражданин. Это я после Машеньки: смущение души и еще я сегодня не ел, это конечно...

Михаил, вырвавшись на улицу, залпом глотая гниль оттепели, шептал:

- Хоть бы скорей меня накрыли!.. Раз-два. Миша, Мишенька, тю-тю! Весь вышел! Ничегошеньки от тебя не осталось.

Вопрос о рваче, о рвачестве

Они встретились на Пречистенском бульваре. Оба не ждали этой встречи и только от неожиданности, вконец растерявшись, вместо того чтобы броситься прочь, подали друг другу руки. Глаза же, столкнувшись, разошлись. Что могло последовать за этим вынужденным рукопожатием - быстрый уход, укоры, примирение? Михаил особенно волновался. Рука его сдуру въелась в рукав брата, что отнюдь не вытекало из желания продлить встречу. Он попросту трусил. Прошло уже два месяца с последнего посещения Ольги. Значит, Артем что-то знает. Вдруг Ольга не сдержала обещания? Как полагаться на бабу? Пошумела, поплакала и выложила все. Наконец, и Артем мог ей не поверить, подумать, прикинуть, почувствовать Мишкин дух. Тогда здесь же, среди беззаботно гуляющей публики произойдет катастрофа. Стыд какой! Михаил уже готов был расплатиться жизнью, погибнуть от побоев Темки, только не здесь, где-нибудь в стороне, в подворотне поглуше, потемнее.

Артем молчал. Ему тоже было не по себе. Жизнь, как будто на пари, занялась последнее время изводом этого терпеливейшего сердца. Простые явления распадались на множество частиц, требуя сложных, непредвиденных формул. Хорошо было переживать те из них, которые мучили всех, обсуждались на собраниях и, подобно эпидемии или погоде, превращались в универсальность воздуха. Бесплодность Рура, «ножницы», обнапление нэпа - он был статистом этих массовых трагедий, статистом исполнительным, рьяным, даже восторженным, но чей поворот плеча или наклон головы является не только выражением чувств, а и отдачей других однородных движений, статистом, знающим, что за ним зоркий, хоть воспаленный от бессонных ночей, глаз постановщика. Другое дело - маленькие, назойливые драмы из устарелого и, казалось бы, упраздненного репертуара, которые разыгрывались на Большой Якиманке и в сердце Артема. Откуда они взялись? Неужто он, новый, здоровый человек, подвержен им? Что за напасть? Стыдно было признаться товарищам. (Артем и не подозревал, что среди его товарищей вдоволь таких же, затравленных непонятностью страстей, цепкостью диковинных

сочетаний и огромным человеческим злом, наступающим даже людей коллективистического образа мыслей - одиночеством.). Он искал ответа в журналах или в книгах и не находил его. Писали о новой этике, скромно поясняя, что это дело будущее. А пока как быть? С той же Ольгой? Тщетные вопросы! Он ни разу не подумал, что любит Ольгу, хоть и любил ее. Стыдливость, а также пристрастие к жесткости терминов, присущее поколению, мешали ему дойти до этого слова. Да и не в словах суть. Насморк или чума - что меняют названия? Это неопределенное и неопределимое способно поразить современного человека, химика, члена РКП, как будто он первобытное существо, комок инстинктов в пещере. Он не хочет думать об этом. Он, прежде всего, не принадлежит себе. И все же он думал об этом. Он болел за Ольгу, за тусклость ее глаз, за унылость, за пронзительную немоту, которая была ему во сто крат горше зимних сцен. Что с нею? Ведь не в беременности дело. Она говорила, что рада этому. Но почему он не видит радости? Ей противен Артем? Но он ее не держит силой. Понять он так и не смог. Оставалось молча болеть. К этому прибавлялась тревога за брата. Родственные чувства тоже атавизм, но опять-таки Артем чувствовал бессилие перед собой. Как он ни убеждал себя: забудь о нем, это гнилая душонка, лебеда, которую нужно безжалостно выполоть, - мысли не могли разжигать всей плотности образа, печальных глазенок маленького Мишки, побитого сверстниками за кражу бабок, глазенок, отличных от тысячи других и почему-то особенно дорогих. Телесность, подсознательность чувств оскорбляли Артема: как папаша - брат, кум, свекор. Нечего сказать, занятие, достойное коммуниста! И все-таки он томился: что с ним? Помочь? Но как такому поможешь? Ему и руки подать нельзя - откусит. Вот Бландова хотел припутать... Отказ, потрясший Ольгу, звучал сухо, твердо, чуть ли не по-канцелярски. Сколько муки он стоил Артему, она и не подозревала. Братья не встречались, но жадно прислушивался Артем к любому слуху о Михаиле, нападая на все то же обескураживающее: «Кажется, спекулирует». Последние недели, впрочем, и слухов не было. Михаил сгинул, чтобы очутиться здесь, на бульваре, плупо сжимающим рукав Артема и прячущим свои глаза, блеклые от страха.

Хоть Михаил был хорошо, даже по-щегоольски одет, сыт, за минуту до встречи весел и беспечен, вид его, эта растерянность,

дрожь рук, отвислость нижней губы, сумасшедшее топотание на месте показали Артему приметам нужды или большого горя. Жалость пересилила остальное:

- Ты что же?.. Плохо живется?

Не знает! Михаил ожил. Он осмелился взглянуть на Артема. Увидав теплоту его глаз, ласково обволакиваемых ресницами, как лампа абажуром, он даже улыбнулся доброй приветливой улыбкой. Ведь это Тема, черт возьми! Как-никак брат. Не чужой. И доверчиво он ответил:

- Ужасно!

- А я слышал, будто ты спекулируешь. Значит, врал? Ольга говорила, что ты голодаешь. А костюм на тебе нэповский...

Михаил вздохнул:

- Разве в костюме дело? Я, Тема, от скуки погибаю. Делать мне нечего. Из партии меня выставили. А другого, как ни бьюсь, не могу выдумать. Хоть бы война была, что ли... Ты говоришь, «спекулирую». Ерунда! Та же служба. Купил - продал, вроде шурум-бурумщика. Если бы всю Сибирь, например, продать, это дело стоящее. А разве я такой человек, чтобы с шелком возиться? Скучно стало в Москве. Да и на всем свете. Знаю, ты пойдешь свое долбить: «восстанавливаем», «хозяйственный фронт». Ну и долби! Вместо бала - мыть посуду на кухне. И зачем нам только семнадцатый год показали? Растравили, а потом, милости просим, на работу. Что же, работаем. Кто честно, а кто не совсем. Ты - государству пользу, а я Сонечке (это у меня цыпка такая) чулочки. Какая разница? Только сил нет, так скучно... Кажется, зевни я - вся Москва полетит. Рукам моим тесно. Руки мои, Тема, рвутся...

Кажется, никогда в жизни Михаил не говорил так искренне, так просто, счастливо удерживаясь на должных высотах, спуски с которых нам хорошо известны, эти театральные самоунижения, или ложь, бахвальство, работа под не понятого толпой героя. В эту минуту он был свободен от всяких корыстных помыслов, обычно придававших даже его покаению характер дипломатического акта. Он ничего не ждал от Артема: дело обошлось без скандала, и на том спасибо. Он и не думал замечать следов: брат достаточно знал все его интонации, мимику, язык тех же рвущихся к делу рук, чтобы не поверить объяснениям вычистки злостными интригами. Словом, Михаил мог

себе позволить редкую роскошь правдивости, лишенной истерических выплесков. И спокойствие, простота его слов подействовали на Артема больше, нежели все традиционные фокусы. Он вдруг почувствовал, что биография Михаила не случай, не срыв, не проделки мальчишки, которого можно выправить ремнем, отлучением, суровостью, но нечто органическое, вязкое, большое, что здесь остаются лишь слезы дата «стенка», к которой ведут осужденных. Привычный апломб нотаций, добродушная строгость старшего оставили его. В последовавшем ответе Артема унылое раздумье впервые перевесило прозелитизм, пафос обличения или уверенность напутствий.

- Руки, говоришь, у тебя рвутся? Такие руки рубить следует. Как все это вышло?.. Брат... В Киеве молодцом был... Недавно еще числился партийным. А теперь... «Скучаю»... Ты думаешь, я не понимаю, чем это пахнет? Прежде держали вас в ежовых рукавицах, и все шло хорошо. Никто даже не знал, из какого ты теста сделан. А вот пришла эта самая проклятая передышка, замешкались на Западе, отпустили чуть вожжи, вот вы и разошлись. «Скучно!»... «Ах, изнываю! Дайте мне октябрьские баррикады!» А между прочим, руки у тебя работают. Денежки, оказывается, скуке не мешают. Руки-то твои рвутся не куда-нибудь, а к червонцам. Это ведь не случайно. Это - явление. Да ты знаешь, кто ты? Ты - рвач.

Артем был обрадован удачно найденным словом, обрадован тем, что под темноту его чувств, под бессмысленность и мелкость личной боли был подведен теперь твердый фундамент социального обобщения. В вопросе неудачном брате принимал, таким образом, общественный характер, впадал в трудную проблему совмещения пролетарской диктатуры и нэпа. Слезы превращались в тезисы. Артем облегченно вздохнул. Но и Михаилу определение понравилось. В нем не было ни лжеромантического, рампового освещения, искажающего черты лица, ни грубости, пыхтения, животика и тупой отрыжки, как в «хапуне»...

- Верно! Рвач. Хоть раз ты себя умником показал. Именно рвач. Только знаешь, что я тебе скажу? Все мы - рвачи. Такое уж наше поколение, рваческое. В Октябре хотели звезды с неба сорвать, разное там «счастье человечества». А не вышло, пришлось и на червонцы согласиться. Главное, чтобы не сидеть на месте, чтобы рвать, налево,

направо. Берегите карманы! А те, что в вузах потеют, они что же, не рвачи? Такие же. Я сам сколько книг истрепал, на ученую карьеру метил. Те же червонцы. Только медленнее, значит, глупее. В комсомоле - не рвачи? Самые первоклассные. Схватит «Азбуку коммунизма», кое-как осилит - и уже кандидат в вожди. Орет: «Долой старую гвардию! Нам место!» И прав. Долой! Они хоть и спали на Марксе, вместо подушки, самые что ни на есть идеалисты. Интеллигенция гнилая! Поковыряй такого, там тебе и совесть, и честность, и прочее, а движения нет. Не спорю, конечно, герои, полжизни в тюрьмах просидели. Только не по времени. Памятник им надо поставить и в дома отдыха. А на смену нас, рвачей. Вот, говорят, писатели прежде прямо монахами жили. Сидит у себя, скрипит перышком, с голоду пухнет. А наша-то братва? Сочинил стишок и заливается: «Я пролетарский Александр Сергеевич. Мне, такому-сякому гению, пять командировок для вдохновенности!» Правильно - век у нас рваческий. Торговать? Что же, я за прилавок стану, преть с аршином? Утром купил за сто, к вечеру за пятьсот продал. Я в «Лиссабоне» всех девочек перепробовал. Вот как! Герой нашего времени, что называется, Михаил Лыков, он же сознательный рвач!

Здесь уже философическое спокойствие оставило Михаила. Он был полон лирических восторгов. Он объяснялся в любви и себе, и своему времени. Он был оправдан, понят, увековечен, превращаясь в главу истории, в камень монумента, в чистоту символа, и он торжествовал. Артема слова его возмутили кощунственным сочетанием комсомола и «Лиссабона», хитрой помесью правильных замечаний и лживых обобщений, наглой хромотой, старческими и в то же время ребяческими ужимками, зачатками золотушной идеологии, впервые осознающей себя новой советской буржуазии, которую неизвестно даже как рассматривать: преступные это элементы, нарушающие декреты, или враждебный класс?

- Врешь! Может быть, мы и рвачи, да не такие. Если мы учимся до сумасшествия, если работаем до чахотки, так не ради твоих червонцев. Мы этот американизм хваленый только как средство берем. У нас идеал есть, и как ты ни пыжься, ты этого не вычеркнешь. Тресты - трестами, а когда «Интернационал» поют, у меня все вон рвется. Я в тот же трест, как на баррикады, пойду. Я...

Но Михаил его больше не слушал. Рассеянно он пробормотал:

- Что же, «Интернационал» и я люблю. Песня хорошая...

Он был занят другим. Гордо изложив свое кредо, он вернулся к житейским размышлениям. Спорить с Темкой он считал унижительным. Что тот поймет? Тоска для него мелкобуржуазный пережиток. Не философствовать с баранами, стричь их следует. Так всплыл Бландов. Тема ведь ничего не знает об Ольге. Его можно растрогать, разжалобить, и тогда командировка окажется в кармане. Михаил заговорил. Он не спорил. Он внимательно выслушал длительные рассуждения Артема о необходимости сочетать деловитость с революционным пылом. Он даже поддакивал ему. Потом он осторожно перевел разговор на другие, более лирические темы - о Киеве, о папаше, о детстве. Он знал, как взять это с виду неприступное сердце. Умело прикидываясь младшим, слабейшим, он апеллировал к Теме как к защите, как к матери. И по смущенной доброте глаз Артема, по улыбке, вызываемой напоминаниями о детских проказах, по размяклости щек, становившихся в такие минуты чрезвычайно похожими на щеки папаши, Михаил видел, что не зря старается. Он заставил Артема забыть начало беседы, разность пород, нахальную иллюстрацию в виде ушка платочка, франтовато выглядывавшего из кармана Михаила, он заставил его дойти до дружеского похлопывания:

- Так-то, Мишка! Старое вспомнили...

Тогда он решился. Старательно осмотревшись, нет ли кого поблизости, он быстро вспомнил...

- Тема, устрой с Бландовым. Мне это абсолютно необходимо. Гарантирую полную безопасность. Да записочку! Хочешь, я поделюсь... Двадцать процентов.

Артем приподнялся и, не успев даже подумать, что случилось, повинувшись только жару, охватившему голову, мстя за минуту доверия, за прилипчивость унижительной жалости, за каждое слово об общем детстве, за спайку крови, за близость туловищ на этой зеленой скамье, он грузно, расправленной широко ладонью ударил щеку брата. Михаил жалко взвизгнул и бросился прочь. Через минуту, однако, он вернулся. Он не побоялся приблизиться к Артему. Страх, как, впрочем, и все остальные чувства, за исключение одной злобы, исчез. Он готов был умереть, лишь бы сделать больно Артему, тупому, грубому Артему, способному брать только силой: широтой плеч,

мощностью государственного аппарата, моралью, милицией. Что все мечтания, вся тоска, вся высокая порывистость Михаила рядом с этим кулаком? В Артеме он ненавидел здоровье, норму, добродетель, партию, государство, все человечество. Он вернулся, чтобы отомстить. Он был гнусен и смешон, прикрывая одной рукой красноту щеки, не то от стыда, не то от боли, а другой, ее указательным пальцем, как бы просверливая Артема. Он не кинулся на сгорбленный, тяжело дышащий от гнева и обиды массив. Он нашел иное, более действенное средство. Обратив в лживое хихиканье готовые выскочить из горла спазмы плача, он прокричал:

- А ты знаешь, я недавно твою Ольгу... Брюхо это я наработал!..

Сказав, он не убежал. Он стоял рядом, ожидая финала - решительного движения руки, которое завершит скуку, боль, злобу, столько-то лет хоть и живописной, но не стоящей сожаления жизни. Если бы Артем кинулся на него, он бы не защищался. Бросив эти слова, он знал, на что идет. Он и не пытался бы руками дополнить действие языка. Ужалив, он охотно отдавал свою жизнь. Он только длил это, как ему казалось, последнее наслаждение все тем же визгливым, отвратительным хихиканьем.

Но Артем не бросился на него, не ударил. Нет, молча глядя на ровную серость песка, он повернулся и пошел прочь. Гнев, спав, родил слабость, апатию, разреженность сердечных ударов и мыслей. Появились тошнота, гадливость. Что это?.. Откуда?.. Как мог он, Артем, залезть в такую мразь? Он жил, работал, боролся. Кажется, он не делал никому ничего дурного. А его исподтишка покрыли зарослью пошлости и подлости, интрижек, обманов, подвохов. Ольга... Разве он насильно взял ее? Разве он мешал ей уйти к другому, хотя бык этому?.. Почему же она лгала? Так вот что значили ее просьбы за Михаила! В сознании Артема голое плечо умывающейся Ольги сливалось теперь с графическим начертанием «20%». Он ежился от обиды и горя, как бы вбирая частицы тела в скорлупу одежды, дальше от света и от людей. Он шел не останавливаясь, шел по набережной, не понимая маршрута, одинокий, пуще всего боясь остановки, подгоняемый словами, ассоциациями, сумбурностью мыслей. Что будете ребенком? От такого!.. Следовало бы устранить. И все-таки жалко. Почему она солгала? Ей, наверное, страшно с Мишкой. С ним ведь всякому страшно. Как он хихикал! Страшно и одной. С Артемом

легче, уютнее. Бедная женщина! Слабость. Привычка жить только сердцем. Неумение мыслить. Одиночество, самое горькое, стеклянное, без товарищей, без партии, без теплоты и бодрости, которая дается «целью жизни». Ее дни - вот как это бегание по набережной. Куда?.. Зачем?..

Так чувства Артема стали складываться, оформляться. Он, сам сейчас одинокий и униженный, сумел ответить на обиду жалостью. Это происходило от полной бескорыстности, от той прекрасной неуклюжести, которая, редко давая сердцу исход в виде неожиданной, до слез, ласки, показывает, какая нежность, какая истинно человеческая любовь живет в будничных, якобы холодных, в так называемых «обыкновенных» людях, в этих каменщиках или шахтерах нашей жизни. Да, именно здесь, вдали от будничной одури, от поэтических натур, букетов, значительных недомолвок, намеков на самоубийство и откровений о «религиозной природе страсти», в серости, в скудности, в непритязательности коротких, после рабочего дня, вечеров, следует искать всепрощающих мужей и жертвенных отцов. Жалость и нежность к Ольге несколько успокоили Артема. Они позволили ему вспомнить наконец, кто он, отодвинуть все события этого нелегкого дня назад, на скромное, положенное им место, позволили прошептать любимое «проще», позволили даже купить у газетчика «Вечернюю Москву». Решение созрело: если Ольге лучше рядом с ним, с Артемом, что же, пусть остается. Он ей ничего не скажет. Кто знает, чего было больше в этом решении - заботливости об Ольге, снисходительности к ней или самосохранения, нежелания забираться дальше в темные страны, где, что ни шаг, то страсти, ложь, предательство? Он ничего не скажет. Он будет работать. Он будет жить. Остальное? Остальное приложится. Главное, проще! Он уже подходил к дому, и свет окошка, еще бледный, болезненный, среди общей белесоватости сумерек, никак не взволновал его. Глаза спокойно встретились с голубыми глазами Ольги, в то время как руки разворачивали «Вечернюю Москву». В Болгарии снова назревают серьезные события...

Не так легко было успокоиться нашему герою. Давно уже щека его приняла обычную окраску. Но успокоения не было. Если брать обычную человеческую меру, следует предположить, что Михаил переживал триумф или раскаяние, что мысли его гнались вслед за

угрюмым узлом сгорбленных плеч Артема, продлевая оскорбление, наслаждаясь пришибленностью этой походки, всей явной разбитостью брата или же, юля в ногах, изнывая от стыда и вымаливая немислимое прощение. Но мы должны констатировать, что мысли нашего героя были весьма далеки от указанного направления. Не об Артеме он думал, исключительно о себе. Несмотря на всю нелепость этого, он чувствовал себя не обидчиком, а обиженным, и он жалел себя, страстно, до задыхания, до слепоты, натываясь на прохожих, то и дело роняя на скамьи груз своего тела. Не за пощечину. Что доказал Артем - превосходство мускулов, и только. Шурка Жаров еще сильнее, тот может раздавить и Артема. Конечно, спорт хорошая штука. Но ум, но талант Михаила поважнее. Позор? Это предрассудки. Горение щеки и нудный зуд злобы длятся недолго. Мало ли оскорблений пережил он в жизни? Взять ту же знаменитую «душу» - кто только не следовал примеру Минны Карловны (наверное, уже давно перешедшей, вслед за Барсом, в мир потусторонний)! Патлатые фребелички, гражданин Кроль, певицы из «Лиссабона», все. А ночная рубашка Лукина? А это слово «жалкий» (пострашнее Темкиной лапы), кинутое на прощанье взбунтовавшейся овечкой? Что же, высокие мысли, сопровождаемые перебоями, тоской, известными телодвижениями, дабы сохранить, скользя, равновесие, скажем определеннее, сопровождаемые подлостью (ведь сам он недавно так определил себя), всегда наталкиваются на осуждение, на трудные барьеры в виде горделивых усмешек или даже оплеух. Нет, не за это жалел себя Михаил. Тем более что с Темкой он расквитался. Много легче запомнить неприятную скамью бульвара (вот уже не только щека, но и сердце о ней забыло), чем жить, сознавая, что жена, то есть твоя собственная, тобой облюбованная, тобой и подобранная на панели баба, врет, спит с другим и еще готовится поднести тебе подарочек сомнительного происхождения. Пока Михаил разгуливает по бульварам, на Якиманке, наверное, происходят достаточно курьезные сцены: Артем кричит, лупит Ольгу, грозит, плачет, молит: «Скажи, чей?» Михаил может успокоиться: двойной счет и за выходку на бульваре, и за нахальное резюме Ольги оплачен сполна. Но Михаил далеко не был спокоен. Он жалел себя, жалел за то, что ему вот ничуть, ни-ни, ни на копеечку не жалко Артема. «Выдумщик», проворчат читатели, одаряя этим малолестным эпитетом не то нашего героя, не то нас самих.

Может быть, они и правы. Искалеченная жалость. Точнее, не жалость, ужас перед безлюбовью комедиантских глаз, случайно выступивших из уличного зеркала, непонимание своей природы, этого огромного одиночества, идеальной пустоты. «Что со мной сделали? - растерянно думал он. - Ведь я любил Тему, любил вправду, по-хорошему, только его и любил. Куда это делось? Кто меня обокрал?» Думая, он шел по бульвару, с его весенним кишением франтиков, воробьев, проституток, папиросников, красноармейцев, мушек, первых беспорядочных огоньков, с жизнью толпы неорганизованной, лишенной делового хребта и поэтому мяклой, душной, готовой облапить, засосать. Ни одной высокой страсти, ни одного подвига окрест! Слостолюбивый зуд воображения, теплота соседних асфальтов, фосфор и до колена задираемые юбочки, ленивый вымысел шатающегося беллетриста, халтура, подряды, контракты, ерзанье, юление; благословляемая на все, согреваемая и прощаемая весной великая человеческая мелюзга. Михаил, ты можешь протянуть руку каждому. Ты можешь зайти в пивную. Можешь взять барышню. За тебя другие напишут соответствующие стихи. Мы напишем о тебе роман. Ну, а договор ты сам сумеешь составить. И вот здесь, среди потного кружения Тверского бульвара, среди мления расчлененных особей, представляющих скорее зады, бумажники, раздражение мозговых центров, нагрузку портфелей, ноли цифр, желудочные газы, запах духов «Орхидея», «Жиркости», нежели людей, среди этого хорошо смонтированного парадиза, Михаил вдруг увидел заплеванность комнатки, русую бороду «представителя астраханской армии», сгущенность пульсирования, ясность чувствований, строгость, плотность подходящей смерти. Как он любил тогда Тему! Каким простым, плевым делом являлось умереть за него! Тот ли Михаил Лыков был в номерах «Скутари»?.. Подмена? Годы? Или пришедшая, только иначе, ползком, с хитрецей, слизистая, гадкая, пресмыкающаяся смерть?

Так жалость к себе, обокраденному временем, нелюбящему брата, не любящему никого, важная жалость, кажется, единственное живое, среди Бландовых, червонцев и губ Сонечки, давила виски, валила с ног этого человека, фланера, гуляющего по бульвару, рядом с другими фланерами, тоже нарядными, развязными, но, по всей

вероятности, тоже не живыми. Разве даются даром такие годы? И не уместнее ли здесь сулема, чем перо романиста?

Заграничное образование. Язык себежских ворот

Фортуна улыбнулась. В кожаную книжечку с меняющимися листиками, только что приобретенную не без волнений (помилуйте, записная книжечка и та конструктивная), вносил Михаил названия магазинов по специальностям и особо примечательных значных мест. Нам, конечно, памятливы те времена, когда он мечтал о подпольной работе за границей: ячейки, шпики, тюрьмы, смерть. Что же, в старом вонючем остроге Моабита сидели десятка два коммунистов. Газеты сообщали о стачках и близком правительственном кризисе. Михаил, однако, был занят другим: значит, костюм у Адама, а сигары у Бэнеке? Великолепно! Обзорение в «Альгамбре»... Нужно только разумно распределить время, чтобы в две недели выполнить все прямые и косвенные обязанности, все закупки, от радиоаппаратов до чулок Сонечке по длинному списку, различных тонов: «табачные», «голова негра», «кротовые», «серые змеиные» и прочие. Сонечка за все отблагодарит. Жизнь же, если не углубляться, прекрасна. Обошлось без Бландова. Петряков - чудеснейший человек, сам все устроил. Если бы Михаил не был так стар, если б он мог еще любить, пожалуй, он полюбил бы этого старикашку. Впрочем, описка: Михаил способен любить, он ведь любит Сонечку. Двенадцать пар чулок всех тонов... Пока же следует испробовать заграничный товар, актерку поинтересней: как это выпадит при высокой культуре?.. Книжечка и та особенная, чего же можно ждать от женщины? Всего!

Остановились они все трое в гостинице «Дэнишер хоф», в дешевой, замызганной гостинице, где комнаты сдавались почасно. Никто другому не мешал. Каждый был занят своими делами. Профессор ходил к каким-то высокопочитаемым и высохшим от хронического недоедания коллегам, слушал доклады в научных обществах и закупал книги. В первой же книжной лавке, ещё не успев близорукими глазами обежать цветник обложек, он почувствовал сильное сердцебиение. Он даже смутил молодого приказчика, попросив стул и стакан воды. Может быть, он ошибался? Может быть, здесь, где столько желтых, серых и синих книжек, еще живо прошлое,

жив чудесный девятнадцатый век, с его важностью седых волос, сосредоточенностью аудиторий, тишиной лабораторий, с его гуманными идеями и честными нравами? Может быть, и не нужно никакого несгораемого шкафа? Но вскоре Петряков увидел другое, знакомое ему. Недалеко от гостиницы гром ил и булочную. Крики газетчиков, треск разворачиваемых биржевых листков, хруст пальцев, ажитация локтей, истеричность улицы твердили о новых навыках. А коллеги, эти худые и желтолицые старики, скромно волочившие, среди стиннесовских акций, фокстротов и забастовок, свои зачесанные плечи, древние стоячие воротнички с углами и веймарские идеи, в перерывах между двумя докладами жаловались Петрякову на скудность окладов, на дороговизну угля, на беспринципность и наглость молодежи, на одиночество. Это были слова Петрякова, только добросовестно переведенные на другой язык. И сердце больше не торопилось биться. Географическое расширение далеко не веселых наблюдений придавало отчаянию солидность. Он еще с жаром говорил о направлении электрических волн, но, оставаясь ночью один в комнате «Дэнишер хоф», невольно прислушиваясь к блудливому копошению за стенками сменявшихся парочек, он громко жалостливо зевал и поджидал последнюю свою надежду - смерть, которая, стирая века, идеи, души, восстанавливает великолепное равновесие без различных ко всему молекул.

Несколько иначе проводил дни и ночи Ивалов, тот, что должен был «выпрямлять политическую линию» старого профессора. «Выпрямление» это выразилось лишь в дружеском совете, поданном еще при переезде границы:

- Вы, профессор, там того, держите ухо востро. Главное, с эмигрантами ни-ни... А то, знаете, сфотографируют вас с каким-нибудь Даном, потом хлопот не оберешься...

Петряков только спросил:

- А кто это Дан? Ученый?

И, умиленный наивностью, Ивалов махнул рукой: ну что с такого взыщешь? В Берлине вместо «выпрямления» он занялся другим. В первый же вечер Михаил позвал его в кафе «Альказар» с джазом и танцами. Ивалов, вздохнув, согласился. («Нужно посмотреть, до чего дошла вырождающаяся Европа».) Сначала он сохранял саркастическую улыбку и даже высказался по поводу официанта,

недовольного чаевыми соседей: «Какая эксплуатация труда!» Танцы оскорбили его нравственное начало: «Пакость! Буржуазное свинство, и только!» Но, выпив (не без смакования) два бокала поддельного шампанского и осмотревшись, он стал выказывать явную взволнованность. Рядом с ним заседала проститутка, уже немолодая, следовательно, на глаз знатока (подобно старому вину), ценная, а для профана скорее уродливая, оперировавшая кармином губ и колыханием очень жирных плеч, густо припудренных. Вот эти губы, эти плечи и прикончили Ивалова. Он только конфузливо спросил Михаила:

- Как вы думаете, если к такой подсесть, ничего не будет?

Михаил презрительно поморщился:

- Вопрос валюты и предохранительных средств.

Тогда Ивалов, помявшись и разъяснив Михаилу, что это, мол, только так, не для чего-нибудь, а исключительно с целью информации, переселился к столику сорокалетней Эммочки или Эрночки. Труден лишь дебют. Больше Ивалов не советовался с Михаилом. Редко он навещал свою комнату в «Дэнишер хоф», днем скупая на падающие марки все: самопишущие перья, дамские кофточки, галстуки, портсигары, ботинки, презервативы, термосы, а ночью продолжая наблюдения над живописной гибелью буржуазной цивилизации. К попутчикам он явился часа за два до отъезда, без виз, но зато с солидными приобретениями в виде двух сундуков, некоторого количества немецких зазорных словечек и гонореи. Так кончилось «выпрямление линии». Честно повествуя о трудах Ивалова, мы отнюдь не хотим расширять его до «типа» командированного. Мы встречали за границей немало граждан, своим поведением, более нежели патетическими суждениями, доказывавших, что демократизм Советской России не ограничивается серпом и молотом на паспорте, инженеров, ездивших в третьем классе и наспех закусывавших в плохоньких кухмистерских. Но, увы, человеческий глаз, опуская скромность и честность, обязательно останавливается на развязной физиономии такого Ивалова, который ругает Европу сперва за работой, то есть в «Альказаре», а потом, отдыхая от трудов, на столбцах «Красной газеты».

Михаил не отставал от Ивалова, но «информацией» не прикрывался, напрямик заявляя смущенному Петрякову (за которым

больше не стоило ухаживать): «Я, видите ли, к девочкам». Ивалова он презирал за трусливость, за неожиданный стакан чая, который в «Альказаре» перебивал две бутылочки «сэкта», за идейность бородки, казавшейся на фоне плеч той же Эрны или Эммы чем-то национально умилительным, вроде левитановских березок. Ему не приходилось и философствовать о Европе. «Вычищенный», он, как разведенная жена, мало заботился о репутации. Девочки так девочки.

Смущенности он не испытывал никакой. Повези его, кажется, в Сенегал, он и там бы чувствовал себя на месте. Годы революции и гражданской войны лепили и таких людей: раз-два. Где уж тут было думать о некоторых мелких деталях? Уверенность жестов, слов, мыслей. Незнание языка мало его останавливало: он умел говорить руками, даже кричать, смягчая жесткость подобных объяснений зеленым пластырем долларов. При малейшем сопротивлении он начинал скандалить: «У нас в России!..» Он дошел до того, что обругал кельнера, ошибившегося в марке ликера, «идиотом»: «Разве у нас, в России, так подают?» Тень Якова Лыкова, вопреки традициям чувствительных романов, не предстала перед ним. Это, разумеется, не мешало ему с жадностью кидаться именно на то, чего он был лишен в России: на дешевку товаров, на коньяк, на шик кокоток, на груды женских бедер и задов, различно группируемых, то как политическое «обозрение», то в виде «танцев Востока». Он посещал ночные притоны, где среди семейных фотографий и ракушек с цветными видами Баден-Бадена таксоногие немочки, пахнувшие кислой капустой и потом, в панталончиках или без таковых, нудно исполняли «танец живота». Он посещал и светские «дансинги». Там он впервые понял сомнительность, второсортность Сонечки. Сколько богинь! И все они с такой несравненной грацией фокстротировали, что даже нетанцевавший Михаил и тот чувствовал (духовно) сладкое прикосновение к своим коленям дамских, теплых и эфирных. Да, это не Артемида с Малой Никитской! Открытие сильно огорчило нашего героя. Впрочем, он утешился мыслью, что в Москве и Сонечка товар. Кроме того, он же ее любит. Сонечка, милая Сонечка!.. Повторяя про себя лакомое имя, он, однако, времени не терял. Ведь в конструктивной книжечке значилось: «С актеркой». Он нашел требуемое: некую даму. Продлив наблюдения, даже наведя у швейцара соответствующие справки, он убедился - именно то, что нужно: не

привычное ей занятие, но исключение ради рыжести чуба и зелени долларов. Последовавшее, увы, разочаровало его. Отличие от Москвы выражалось лишь в румянах, платье, прическе, белье. Под руками и губами Михаила это различие постепенно деградировало, сходило на нет. В итоге он получил обыкновеннейшую особу, только с усложнением многого вследствие непонимания ею хорошего русского языка. Особа выключивала набавки, и это выводило Михаила из себя. Под утро он хоть набавил (боясь швейцара гостиницы), но зато избил, крепко, по-русски, с сердцем. Вещь оказалась недоброкачественной. Никаких высококультурных сантиментов, даже никаких трюков. За что же доллары?.. Померкший было образ Сонечки, реставрированный, сиял двойным светом.

Не следует думать, что этим ограничивались занятия Михаила. Нет, он находил время и для работы. Выбирал аппараты Петряков, но финансовые дела лежали на Михаиле. Он провел их блестяще. Осмотревшись и смекнув, он заменил первоначальный план, выработанный еще с Сонечкой и состоявший в подмене счетов, то есть в опаснейшем подлоге, другим, значительно более хитроумным и чистым. Биржевая горячка, хвосты у лавок менял, денежная дизентерия, наводившая на профессора уныние, для нашего героя явилась стимулом вдохновения, яблоком Ньютона. За аппараты расплачиваться нужно было марками, проделавшими в течение двух недель дистанцию, на которую даже Михаил положил два года своего нисхождения от героизма до подобных операций. Доллар с восьмисот марок вскочил до семнадцати тысяч. Расплачивался Михаил накануне отъезда. И разве можно назвать грубым словом «подлог» воздушнейшую недомолвку, пустое место в правом углу счета, где должна была значиться дата? Обошлось недорого: бухгалтеру, помощнику, еще кой-кому. Михаил роздал десяток-другой долларов, вложенных, для ограждения глупой щепетильности этих недорослей, в сигарные коробки (сигары не в счет - Михаил выбрал самые дешевые). Проставить нужные числа было младенческим делом. Тысяча восемьсот долларов, не считая суточных, явились гонораром за находчивость нашего подававшего надежды финансиста. К чулочкам Сонечки присоединилось многое иное: туфельки, сумочки, шелковые пижамы, туалетная вода и прочее, еще более интимное.

Научился ли чему-нибудь Михаил на Западе? Познал ли он другие восторги, кроме горячки универсальных магазинов или шикарных танцулек? Как будто, просмотрев его дни, следует на этот вопрос ответить отрицательно. Он видел не больше, чем провинциал, приехавший покутить и перемещающийся непосредственно из гостиницы в ресторан, а из ресторана в публичный дом. Научные открытия или рабочее движение его столько же мало интересовали, как такого туриста музеи. Он считал, что этого и в России достаточно. Однако заграница не прошла для него даром. Живя больше носом, нежели разумом, Михаил пополнял скудность впечатлений их остротой. Он многое понял. Увиденное наполнило его еще большей уверенностью в себе, как будто эти кафе, магазины, даже механические блокноты, не говоря уж об элегантных субъектах из бухгалтерии или о несправедливо побитой актрисе, подтверждали право его, Михаила, на существование, на процветание, на торжество. Интернационализм, еще недавно бывший лишь передовой идеей, достоянием немногих благородных мечтателей, стал в наши дни общедоступным. Если бы Артем приехал в Берлин, он пошел бы на протертые улицы Нордена, где среди перелицованных пиджаков и дешевого маргарина юные читатели «Роте Фане» бредят мировой бурей. Он нашел бы там тех же героев, в тюрьме изучающих грядущее столкновение нефтяных трестов, на воле сколачивающих крохотные ячейки, тех же храбрых и простодушных Артемов, ту же непримиримость и хрипоту споров. Он легко бы сговорился с этими чужестранцами, не зная общего языка, кроме мотива «Интернационала», имен Ленина или Либкнехта и грузного биения рабочего сердца. И как бы ни были численно тщедушны эти ячейки, эти полутайные сборища, эти листовки - они вызвали бы в Артеме удовлетворенную улыбку: «И здесь! Наше дело клеится. Наша сторона возьмет». Но в Берлин приехал не Артем - Михаил. Он увидел то, что ему нужно было увидеть. Жизнь - достаточно содержательная книга, даже наспех ее перелистывая, нетрудно набрать сотню-другую цитат на любой вкус. С отчаянием произносимые во время бессонницы слова профессора: «И здесь!» - в устах Михаила являлись самоутверждением. Там, у себя дома, он был только пионером, преследуемым новатором, первой ласточкой проблематичной весны. А здесь вся жизнь делалась такими и для таких. Как затравленный

сыщиками немецкий коммунист, приезжая в Москву, не может без волнения глядеть на красные флаги, украшающие правительственные здания, так Михаил упивался безнаказанностью спекуляции, торжеством деячества, солидностью и независимостью своих берлинских единоверцев. Это не были древние наследственные буржуа, с их предрассудками, мещанским этикетом, чванством, ограниченностью фантазии, телесным и душевным геморроем, буржуа-либералы, лечащие минеральной водой желудки и печень, обожающие сентиментальное искусство и семейный уют, буржуа, обреченные историей и способные вызвать в Михаиле лишь улыбку снисхождения: падаль! Проходя по улице, он как бы приветствовал четкостью тела, взлетами хватких рук новую породу, детей войны, бунтов, голода, нищеты, минутных богатств, инфляции, виз, ненависти, хамства, своих братьев рвачей. Что же, он был прав, как прав был и наивный профессор, как прав был и бодрый Артем: в сложном клубке, именуемом «современностью», каждый из них мог найти подходящую нить. Рвач нашел европейское рвачество. В политике очень левые или очень правые, но равно уважающие только силу, то есть оружие и войну, в жизни преданные спорту и фокстроту, ловкие в делах, презирающие все предрассудки и искусство, любящие здоровье, воспринимающие влюбленность как хороший аппетит, американизированные пуще самих американцев, эти романтические спекулянты и конструктивные Ромео незаметно заменили своих старших братьев, частью оставшихся у Вердена или в Галиции, частью преждевременно устаревших и беспощадно кудахчущих о свободе слова или о честной торговле. Их зовут на разных языках по-разному, но, работая над историей жизни Михаила Лыкова, мы надеемся сделать книгу, наравне с другими - немецкими, французскими, английскими - романами показывающую одну из разновидностей этой, еще литературой не оформленной, породы. Много раз описаны события и вещи, война и революция, самолеты и радиостанции, век переворотов и век машины. Не время ли заняться обитателями, теми, что совершают эти перевороты и пользуются этими машинами?

Итак, образование Михаила было завершено, достопримечательности осмотрены, покупки сделаны. Мы можем вместе с ним сесть в поезд, чтобы через рытвины латвийских и

литовских границ проехать в Москву, к Сонечке, поджидающей если не чуб, то чулки. Но перед этим следует рассказать об одной встрече нашего героя с соотечественниками, находящимися в бегах, которая покажет его с некоторой еще мало обследованной нами стороны.

Как-то в кафе на Курфюрстендам к Михаилу подсел весьма подержанный человек с глазами и напыми, и горестны ми, тоже рвач, только неудачливый, торговавший чем угодно - сначала в розницу Россией (преподнося польской разведке различные пикантные фактики), потом романовками, вывезенными из Крыма, соболями, аннулированными закладными, чаем, даже кустарными солонками, но всем равно неудачно. Он ненавидел большевиков исключительно за ценность их недоступных ему товаров, он худел и злился, вел переговоры со сменовеховцами и одновременно налаживал бюро экономического шпионажа. Михаил щегольнул перед ним своим обликом, описанием проезда в спальном вагоне, червонцами, щегольнул также некоторыми довольно циничными афоризмами, вызвавшими в сердце организатора бюро надежду: авось этот клюнет. Свидание было назначено на следующий вечер в отдельном кабинете, точнее, в стойле ресторана, куда немцы ходят, чтобы услащать тушеную говядину поцелуями. Кроме Ржевского (таков был один из далеко не литературных псевдонимов нового приятеля Михаила), присутствовали Голубев, бывший директор Промышленного банка, и редактор белой газеты Шнельдрек. Пришедших доводил до слюнок, конечно, не посредственный рейнвейн и не рагу из зайца, но рыжий прохвост, по словам Ржевского, способный и на откровенность и на откровения. За Михаилом ухаживали нарасхват, как за примадонной. Он же, проявляя редкую неблагодарность, лакал вино, улыбался и расхваливал Москву. Вот дом на Тверском бульваре отстроили. Здорово! Через год такая горячка пойдет, только держись. Метрополитен будет, и почище берлинского. Он даже не понимал, как ранят его слова три отзывчивых сердца. Голубев не знал, радоваться ему или нет. Дом выстроили. Биржа функционирует. Люди делают дела. Как будто следует радоваться: вместо принудительных работ и бесплатных билетов (последнее казалось Голубеву глубоко антиморальным) - некоторые зачатки культурной жизни. Да, конечно. Но не для него. Для этого рыжего, для других, молодых, бойких, не польстившихся на заграничный уют. (Кстати, хорош уют: Голубев

должен жить с семьей в двух комнатках мелкоразрядного пансиона и ездить в автобусе.) И Голубев ненавидел нэп. Он патетически рычал:

- Я понимаю рабочую оппозицию. Безумцы, но честные люди. Я им готов даже руку пожать. А нэп - это ведь черт знает что!..

Шнельдрек просто злился: какой дом? Вранье! Подкупили! А если выстроили, то гнилой. Или вниз крышей. Разве они могут строить! Голод. Нет голода? Басни! Золото Коминтерна. Вывозят последний каравай. Честные люди здесь, в Берлине. Или в Болгарии. А там - негодяи. Балерины и те приезжают подкупленные, для агитации. Ржевский снова напутал. Не подходит. И Шнельдрек собирался уже уходить. Он спешил: нужно написать еще одно «письмо из Москвы». Конечно, не о доме на Тверском бульваре. О голоде. Это вернее всего: испытанная масть. Но Ржевский его удерживал. Ржевский был спокойней всех. Во-первых, его политика интересовала «постольку-поскольку». Дадут в «Накануне» сто долларов, он будет разоблачать эмиграцию. Проблема исключительно цифровая. Дом построили? Неплохо. Может быть, и Ржевскому еще удастся пожить в этом домике. Червонцы стоят крепко - пять зеленых за штуку. Во-вторых, он помнил беседу в кафе. Рыжий субъект, может быть, коммунист, даже чекист, а может быть, нэпман. Во всяком случае, он любит деньги. А с человеком, который любит не абстрактные разговоры, но зелененькие или беленькие ассигнации, всегда можно столковаться. Здесь не «пролетарии всех стран», а «деньги на бочку и не валяй арапа». Так Ржевский и поступил, конечно, обходительно, деликатно, сообразуясь с тон» костью места, даже с букетом рейнвейна. Он перевел спор с советских порядков на близость общего признания де-юре и конференции по погашению взаимных обязательств. Голубев тесно связан с одной бельгийской компанией, работавшей в Донецком бассейне. Интересно получить бы некоторые сведения. А награда изрядная: три тысячи фунтов. Ради пустяков Ржевский никогда бы не побеспокоил такого занятого человека, как Михаил. Здесь все люди свои. Голубев непосредственно заинтересован. Ржевский рад услужить друзьям. Что касается Шнельдрека - тот литератор. Идеалистические побуждения. Но и он не чужд делам. Словом, работа на угле не остановится. Если, например, разнюхать о нефти, можно еще больше сорвать. Идет?

Ржевский приветливо светился. Голубев от волнения выпил залпом бутылку рейнвейна (платит не он - Шнельдрек). Даже редактор теперь сменил политический сарказм на благодушие, выражавшееся в катании шариков из мякиша, в приятной отрыжке после рагу и в улыбках, обнажавших гнилые клыки шакала. А Михаил...

Конечно, Михаил должен был согласиться. Что ему терять? Под вонючими овчинами и под легчайшим шелком давно погребена его совесть. А сумма изрядная, с тенденцией к повышению. Да и дело пустяковое. Собрать сведения - почти прогулка в лес за ягодами. Переправить пакетик? Но ведь Ржевский шептал нечто весьма успокоительное о симпатичном дипкурьере одного из лимитрофных государств. Толи переправляют. Наконец, приятный дух авантюризма должен был пробудить в нашем герое знакомые страсти. В фильме, именуемом его биографией, предлагали добавить завлекательный эпизод с гениальностью трюков, с прятанием, с условными телеграммами, с шифром записочек и с сургучными печатями дипломатической вализы. Конечно же, он должен был восторженно чокнуться со своей новой музой, с Ржевским, таившим под жидкими волосами, изобилующими грязью и перхотью, подлинное вдохновение.

Однако вместо этого он поднялся и, скорей задумчиво, нежели страстно, ударил Ржевского по лицу. Вероятно, и Шнельдреку, сидевшему рядом с Михаилом, пришлось бы плохо, но находчивый редактор, достаточно наспециализировавшийся по части бегов, опрокинув бутылку и отдавив неудачнику Ржевскому мозоли, метнулся к выходу. За ним последовал Голубев. Михаил стоял спокойный, даже необычно для него грузный, угрюмо поглядывая сквозь отдернутую беглецами занавеску на вооруженную бутылками стойку, и дальше на ацетиленовую ночь. Он походил в эту минуту не на скандалиста в средней руки кабаке, но на судью, глухо и важно прочитавшего: «По совокупности присуждается...» Темные чувства бродили в нем, не доходя еще до сознания. Смесь пафоса и презрения делали его глаза фарфоровыми, глазами библейского пророка, подкинутого в берлинский паноптикум. Оглядевшись наконец, он увидел Ржевского. Побитый импресарио столь печально кончившегося ужина не уходил. Нужно думать, затрещина была не из сильных: ведь

руки Михаила умели лучше рвать или душить, чем наказывать. Да и Ржевский был приучен к подобным казусам. Кто только не заносил на эти оливковые небритые щеки, как в жалобную книгу, негодующих чувств? Помогая Михаилу влезть в рукава пальто, незлопамятный Ржевский нежно пришептывал:

- В таком случае, может быть, вы устроите меня во Внешторге? Я ведь с накануневцами уже снюхался...

Вторичного удара не последовало, ответа также. Брезгливо отряхнув пальто, Михаил смешался с копошением электрических светляков и бензиновой духотой, образующими столичную ночь. Много спустя, уже лежа у себя в номере, он задумался: что произошло? Тотчас негодование ожило, и руки грубо сжали клок перины. Как видно, и в подлости много градаций. Пишется вор - так вор, в действительности все обстоит много сложнее. Михаил (не будем вдаваться в прошлое) только что украл у государства порядочный кусочек, свыше трехсот пятидесяти червонцев. Он хорошо помнил об этой цифре, приятно ширившей и бумажник и фантазию. Но это казалось ему чем-то семейным, мелкой пакостью, и только. Господа в ресторане предлагали не кражу, а измену. Никогда, повторял оскорбленный герой, Советской России он не предаст! За все проделки его поставят к стенке? Что же, в тот день ему не повезет. Зато повезет сотрудникам Гепеу. Просто. А изменников, караулящих под окном, где плохо лежит, следует бить. Не их ли он бил в Крыму? Веете же. Заносчивость накрытых шулеров, вместо физиономий поэтические гербы, а руки времени не теряют. В оба смотри! Иностранцев науськивают. Перед каждым немецким швейцаром лебезят: ах, мол, у вас порядок и прочее, наша-то сволочь накуролесила. Бить их! Михаил не мог уснуть, и весь остаток этой ночи прошел в сумбурных думах о России, в своеобразной патриотической лихорадке, посещающей сердца даже космополитических рвачей.

Он понял, что любит Россию, и в этом чувстве было вдоволь всего: благодарности, привязанности, отслоения юношеских снов, самолюбования. Вот та же Сонечка - разве она не лучше всех здешних дам? Презирая идеи, как воробей из пословицы мякину, он и теперь уважал роди ну за ее пуританский идеализм. Пусть читатели недоверчиво улыбнутся, решимся, скажем: он уважал Россию за то,

что там его накроют, поведут «к стенке». Да, да, и за это! За честность, за грубоватую сухость газет, полных «ножницами», где что ни строка - то цифра, за отсутствие декламации у ораторов, за всю взволнованность дыхания, которой не скроет наигранное делячество «хозяйственников». Повторяем, здесь было все, рядом с бескорыстностью пробивалась усмешка: еще люблю за то, что там раздолье, ничего не отстоялось, за то, что революция привела меня из каморки лакея в шикарные дансинги. За то, что я могу послать к черту хотя бы Голубева. За удачу: коротко и просто. (Так, удача народа, в отличие от других показавшего, что революцию можно делать не только с дипломатической целью, но и всерьез, сливалась в его представлении с удачей Михаила Лыкова, проставившего на счетах не вполне точные даты.) Чувство было отнюдь не чистым, оно отдавало патриотизмом нэпманов, которые после удачной сделки готовы иллюминировать дома, отремонтированные в честь Октября, но ведь каждый любит как может. Притом в силе этого чувства не приходилось сомневаться. Он пошел бы воевать за Советскую Россию, пошел бы на смерть. Чувство недостаточно чистоплотное? Может быть. Однако крепкое.

Установим: Михаил любил Россию. Мишка мог с радостью вспоминать обжигающую сухость снежков, отрыжку после пасхальных яиц, скользких пескарей в Днепре. Михаил Октября знал прежде всего захват дыхания, широту крика, выворачивающего челюсти, и широту чувств, хоть и приведших валюту к девальвации, а обывателей к пше, даже к отсутствию пши, но создавших вдохновеннейшую поэму о борьбе полудикого и невежественного народа за счастье человечества. Михаил последующей эпохи склонялся к буйству пивных, к необузданности азарта, к толстой коже кустарных бумажников и к не менее толстой коже их обладателей, к первичности накопления, ко всяческим прыжкам (вчера еще висели на трамваях, как птицы на дереве, а сегодня войди на ходу - рубль золотом, вчера семечки, наравне с Керенским вошедшие в историю, сегодня - у каждого подъезда урны и ни-ни), ко всем возможностям Америки, опозитизированной скифской душой. Смешение различных образов рождало хоть и пегую, далеко не породистую, но все же любовь. Он видел свое, видел то, что хотел: страну, где романтизм легко сбивается на подлость и где любая заваливающая подлость жаждет

романтического освещения, где мог родиться, жить, буйствовать и унижаться Михаил Яковлевич Лыков.

Ночь, отданная столь высоким раздумьям, была одной из последних в Берлине. Таким образом, ностальгии не было суждено окрепнуть. Вскоре юркий глаз Михаила уже увидел себежские ворота, обозначающие государственную границу СССР. Тогда взволнованность охватила нашего героя. Он как бы физически ощутил значительность минуты, реальность этого порога. Конечно, он не был одинок: его попутчики, русские или чужестранцы, испытывали тоже нечто однородное. Мы знаем это волнение. Образ ворот (трогательный в своей наивности, ибо только крестьянский, мужицкий народ, представляющий себе государство как двор, мог додуматься до поезда, въезжающего в деревянные ворота), этот образ жив в нас и теперь, когда далеко от отчизны, среди бабьего лета, среди первых ноябрьских туманов Парижа, составляя историю Михаила Лыкова, мы ежечасно возвращаемся сердцем и памятью к патетическим событиям и незабвенным местам. Мало ли в Европе других границ? Но как они докучливы и ничтожны, ничего не разделяя, напоминая о себе только таможенными чиновниками, перетряхивающими чемоданы, и обменом монет!.. Не то себежские ворота. Это вправду граница, раздел двух миров, граница скорее эпох, нежели пространств. Угрюмы и настороженны лица двух часовых. Один из них погибнет, и как может сердце - своего ли, врага ли, - глядя на невыразительный ландшафт нейтральной полосы, на латвийские галуны и на звезду красноармейца, на ребяческие ворота, не участить ударов? Но взволнованность Михаила шла не от радости, не от страха. Вторая душа, казалось, уже побежденная, ничем не проявлявшая себя после ночного визита к товарищу Тверцову, воскресла и возмутилась. Ворота гласили: «Привет, товарищ!» Могли ли они, радостно улыбавшиеся узникам Хорти или реэмигрантам, возвращающимся из не вполне медоносной Америки, приветствовать Михаила с его надеждами на «Югвошелк» и с багажом в виде украденных долларов? Для таких ли дел они раскрыты настежь? Михаил привстал. Он говорил себе: опомнись, остановись! Он глазами беседовал с кожаным шлемом: меня следует арестовать. Да, да, меня, именно меня. Он беседовал только глазами. Его юношеский порох был давно расстрелян и в подлинных боях гражданской войны,

и в мелких кабацких скандалах. Раскаянье уже ограничивалось тошнотой и ни к чему не обязывающими мыслями о смерти. Куда тут!.. Скептическая усмешка, вероятно, предназначалась все для того же безразлично высящегося шлема. Он начинал узнавать себя. Он жил полюсами: или - или. Подойти к шлему, протянуть деньги, расписаться под протоколом и неделю-другую, глядя сквозь решетку на квадрат белесого неба, ждать смерти. Не может? Что же, тогда «Югвошелк». Тогда еще несколько лет, а может быть, только недель нелепой, бестолочной, прекрасной жизни. Тогда Сонечка... Тогда фланирование по Кузнецкому в новом берлинском костюме. Тогда...

Стоит ли перечислять? Борщ со сметаной себежского буфета после границы показался Михаилу особенно вкусным.

Шелк. Шелк

Сонечка встретила его сразу нежным словом:

- Шелк!..

Причем относилось оно не к действительно шелковым, высшего сорта, белью или чулочкам, привезенным Михаилом в качестве подарков своей недоступной Артемиде, но к перспективам. Вместо благодарности за подарки, за всю удачно завершённую операцию, принесшую Сонечке сто семьдесят пять червонцев чистоганом, вместо ласкового щебетания, столь естественного после разлуки, он сразу должен был выслушать обстоятельный отчет о положении в «Югвошелке». Дело не терпело оттяжки. Московский представитель треста, известный уже Михаилу Шестаков, предлагал купить не товар, а нечто более лакомое: свою должность. Заполучив командировку в Ригу, он собирался (это, конечно, конфиденциально) назад не возвращаться. Жизнь в Москве его сильно утомила. Статьи в газетах, доказывавшие необходимость сократить зарвавшихся нэпманов, болезненно отражались на аппетите и сне. Ко всему камни в печени срочно требовали карлсбадских вод. Ему удалось переправить за границу пять тысконок долларов. Он шел на скромную, но спокойную жизнь: сказывались годы. Как полагается, он занимался, хоть и под сурдинку, ликвидацией имущества. Продавалась если не мебель (увидят - донесут), то ковры, столовое серебро, картины. Продавалось и менее обычное: должность. Шестакову в правлении треста всемерно доверяли и соглашались поставить заместителем (временным, ведь официально он должен через шесть недель вернуться) любого по его указанию. Оклад, правда, небольшой - двенадцать червонцев. Но разве в окладе дело? Прюделав сложные вычисления, Шестаков установил, что в среднем место приносит от двухсот пятидесяти до трехсот червонцев ежемесячно. Доходы значились по трем рубрикам: принятие частного шелка для окраски, продажа по якобы низким ценам (непосредственно спекулянтам), наконец, «стихийные бедствия»: то наводнение, то пожар, в отчетности ликвидирующие запасы, плюс естественная утечка товара. Место Шестаков уступал всего-навсего за

двести червонцев. Дешевка! Очевидно, кроме камней в печени, у него был и хороший нюх, настаивавший на незамедлительном отъезде. Он должен был уехать в субботу, а Михаил приехал в четверг. Бедная Сонечка немало наволновалась: разминутся. Изложив сущность дела, она стала настаивать, чтобы Михаил немедленно поехал к Шестакову. У него нет двухсот червонцев? Сколько? Пятидесяти не хватает? Что же, Сонечка ему одолжит, выложит из своих (портнихи подождут). Ведь дело верное, капитал мигом вернется. Шестаков оставляет в наследство некоего Лазарева, который берет для Баку всю партию, значащуюся подмоченной, за шестьсот червонцев. Бракованный же товар можно продать за триста - триста пятьдесят червонцев самое большее, получив еще благодарность от правления. Таким образом, сразу - двести пятьдесят червонцев. Если б не срочность отъезда, Шестаков сам кончил бы это дельце... Словом, ждать нечего. Сейчас же к Шестакову!

Пересказанное нами, все это может показаться скучным и будничным. Но Сонечка была замечательной женщиной, если и не Артемидой, то, во всяком случае, достойной обожествления. Внося деловитость в любовные похождения, она умела опоэтизировать весьма трезвую аферу. Стоило послушать, с какими придыханиями произносила она слова «подмоченный» или «бракованный». Михаил не мог отвести глаз от ее пухленьких губ. Он попробовал было разгрузить густоту цифр и терминов лирическими вздохами. Он так соскучился! Право же, он заслужил иного приема. Ведь в Берлине приходилось все время работать. Аппараты, счета, мультипликаторы, переводы марок на доллары, смазывание честных немецких сердец - тоска! (Об актрисе он, разумеется, умолчал.) Но Сонечка гнала его к Шестакову. Тогда, обиженный, он решил прибегнуть к весьма прозаическому намеку:

- Ведь ты же сама сказала: если с Берлином выгорит... (Последнее время в патетические минуты он говорил ей «ты».)

Сонечка возмутилась:

- Я вам не проститутка. Меня нельзя купить, даже за сто семьдесят пять червонцев. Поняли?

Она знала, как с кем разговаривать. Наш герой, пристыженный и укрощенный, поплелся к Шестакову. Дело было слажено. В субботу Шестаков, как и предполагалось, отбыл на пресную жизнь рантье,

связанного диетой и экономией, наш же герой, возведенный в звание московского представителя «Югвошелка», с горделивой осанкой осматривал небольшое помещение треста. Право, он чувствовал себя по меньшей мере посланцем. Он одаривал улыбками веснушчатую секретаршу, курьера, портреты вождей, диаграммы добычи и обработки шелка, все и всех. Впрочем, самая нежная улыбка досталась Лазареву, этому и без того достаточно сахарному армянину, круглому, красному, с маленькими черными глазками, напоминавшему арбуз. Лазарев, привыкший рассматривать все события, от весны до «испанки» в соседней квартире, от звонка на парадном до революции, как источник возможных доходов, хотел нажиться и на отъезде Шестакова. Вместо шестисот он давал теперь только пятьсот, хотя смена представителей никак не отражалась на мягкости и безупречности шелка. Понижение суммы он думал смягчить прирожденной сладостью, но Михаил не поддавался. Так, оба улыбаясь, они просидели добрый час безрезультатно. На следующий день повторилось то же самое. Дней десять длилось это состязание улыбок, вздохов и сетований на отсутствие дензнаков. Победил хоть молодой, но уже привыкший ко всяческим триумфам представитель «Югвошелка». Лазарев пронзительно вздохнул и вытащил из кармана перевязанную голубой ленточкой пачку:

- Считайте.

Руки Михаила быстро порвали ленточку и, раскидав бумажки (которые аскетическая фантазия нам, к сожалению, неизвестного гражданина украсила церковнославянскими буквами), не захотели, вернее, не смогли заняться проверкой. Ком ассигнаций был засунут в брючный карман. Лазареву досталась записка на получение со склада шелка. Секретарша пометила в книге, что бракованная партия 18 августа отпущена Пепо за триста десять червонцев. Шестаков не надул: шелк оказался питательным продуктом.

Следует полагать, зная привычки Лазарева, что дело не так скоро кончилось бы, не будь здесь некоторых посторонних обстоятельств. Наверное, этот прохвост протянул бы еще неделю-другую, пытаясь скостить хоть пятьдесят червонцев. Но недаром мы упомянули о хорошем нюхе гражданина Шестакова. Ильинка вместо повышательной или понижительной тенденции указывала, что ли, туристическую. Подлинное томление, ностальгия, розыски иных

горизонтов сказывались на физиономиях обычных завсегдаев пивных и кофеен Варварки, Театрального проезда, Маросейки и других центральных артерий.

В некоторых государствах Центральной Америки, где почва вулканическая и землетрясения столь же часты, как у нас грозы, дома строятся чуть ли не из папье-маше, недвижимосты ни во что не ценится, а люди ведут полукочевой образ жизни. Нечто подобное замечаем мы в истории нашего нэпа. Где тут до мебели ампир! Чуть что - приходится перекочевывать. Сегодня - суконное дельце в Москве, а завтра он - «безработный педагог» в Воронеже. Капитал его в червонцах или же в фунтах, то есть в самом что ни на есть портативном, почти от человека неотделимом, как штаны или душа. Походная жизнь. По сравнению с ней даже приключения искателей золота где-нибудь в Калифорнии кажутся семейным уютом. Место сейсмографов занимают носы, различные: индюшачьи с наростом, горбатые, картошкой, кнопочкой, всех фасонов, но равно впечатлительные. А землетрясения, при всей их катастрофичности, происходят методично, как по программе. Стоит всем этим носам раздобреть, размякнуть от вбирания исключительно приятных запахов гуся с яблоками или духов «Убиган», подаренных дамочкам, как рабкоры начинают ругаться. В «Правде» появляется ехидный фельетон. Известное боевое оживление, как ветерок, пробирает «ремингтоны» и лица сотрудников ГПУ. Носы тоже не клюют носами: одни направляются в идиллические захолустья - переждать, другие запасаются различными удостоверениями. Валютчики оказываются агентами Госбанка, а маклеры - служащими солиднейших учреждений. Какой-нибудь нос, решающий в тоске пойти на оперетку, шепчет недогадливой кассирше: «Хорошо, и вам заплачу за первый ряд, но вы меня посадите подальше, чтобы не бросаться в глаза, максимум в восемнадцатый».

Наконец - наступает. В наших газетах операция называется образно «снятием накипи нэпа». (Очевидно, жирность и смачность улова придают мыслям кулинарный оттенок.) Все невнимательные и нерасторопные носы отбывают. Окошко в вестибюле ГПУ, где выдают справки, облипает взволнованными шляпками. Нэп, являя образец чисто христианского долготерпения, уходит в катакомбы. Балы отменяются. Закрываются рестораны. Ощущение великого поста

сказывается даже на тетерках и семге Охотного ряда. Потом самый предприимчивый нос решает выплянуть: что слышно? Не имея конкурентов, он быстро растет и пухнет. Молва о носе-умнике ширится. Мало-помалу возвращаются провинциалы. Ильинка снова гудит.

У Лазарева тоже был нос. И в ресторане «Бар», и в кафе Мосторга, и в прочих местах он встречал немало приятелей, одаренных интуицией. Стрелка указывала на близость землетрясения, и Лазарев спешил покинуть хоть лакомую, но опасную столицу. В три дня он закончил тянувшиеся около месяца переговоры, в том числе и шелковое дельце. Он собирался уехать на следующий день. Михаилу везло: даже стихийные явления и те работали на него.

Часов в десять вечера, услышав условный звонок, Сонечка нехотя открыла дверь. Наш герой вошел в комнату, молча сел на софу, с видом человека, пришедшего к себе домой, и даже не удостоил Сонечку объяснений. Он был не на шутку утомлен. Сразу после одной трудной главы, не переводя дыхания, он должен был перейти к другой. Радиоаппараты сменились шелком. В согласии с библейским проклятьем, червонцы не давались даром. В течение последней недели он пробовал раза два-три заглянуть на Малую Никитскую, мечтая о лирической паузе. Но Сонечка встречала его холодно: она терпеть не могла промедлений. Нерешительность Лазарева она относила за счет халатности нашего героя, требовала энергичных поступков, беспрестанными упоминаниями о шелке как бы подхлестывая Михаила. Ни одного поцелуя! Зато все время она просила: ей, видите ли, хочется манто, ей хочется браслет с опалом, ей хочется платье, парижская модель без талии - прямая линия, всего сто червонцев, ей хочется... Ей действительно многого хотелось. Михаилу следовало бы скорей вытянуть деньги у Лазарева. А того, чего хотелось ему, он не получал и даже не рассчитывал получить когда-либо. Но что тут делать? Любовь не сделка с Лазаревым. Здесь даже Михаил и тот способен был прогадать.

Теперь с кипой червонцев он тупо сидел на софе, ничего не ожидая. Он просто чувствовал изнеможение. Сонечка, растравленная молчанием, теребила его за рукав:

- Лазарев?.. Шелк?.. На когда?.. Сколько?..

Наконец он собрался с силами и, опорожнив карман, кинул бумажки на стол:

- Бери.

Сонечка не понимала:

- Сделал? Молодец! А на чем кончили? Ты деньги возьми. Мне ведь только пятьдесят следует.

Но Михаил уныло зевал:

- Бери все. Я знаю: там опалы разные и модель с прямой линией. Покупай сама, я в этом ничего не понимаю.

Сонечка попробовала отказываться, щедрость поклонника смущала ее, но Михаил настаивал: «Все бери!» Тогда она, расправив ассигнации, аккуратно сосчитала их:

- Здесь пятьсот восемьдесят.

Михаил на минуту оживился:

- Не может быть. Он ведь завязанными дал. Должно быть шестьсот.

Пересчитали еще раз: пятьсот восемьдесят. Михаил был возмущен: какая, однако, каналья этот Лазарев! Ну, ничего: он завтра утром пойдет к нему, взыщет. Он знает, где Лазарев остановился. Варварьинское подворье. А если тот не додаст, плохо ему придется. Руки Михаила в предчувствии мыслимой расправы уже терзали воздух. Потом он снова впал в апатию. Даже поцелуй Сонечки не смог оживить его. Нехорошая сонливость оттягивала щеки и крыла мутью перегоревшие глаза. По узлу бровей Сонечки можно было догадаться, что она занята серьезными раздумьями. Новая операция с шелком? Или уже не шелк, а табак? Вата? Нет, на этот раз она думала о Михаиле: его общее состояние, несуразность пусть и щедрого, пусть и приятного жеста требовали радикальных мер. Нужен Сонечке Михаил? Конечно нужен, более того - необходим. Он один, ничего при этом не требуя, заменяет всех нахальных, желающих на свои деньги взыскать побольше, всех значившихся в рубрике «для тела», оставляя Сонечке возможность жить «для души». Если он необходим, нужно его беречь. Сидит и молчит. Может, чего доброго, в Москву-реку кинуться или найти другую. Взвесив все, Сонечка направилась за ширму.

Михаил не обращал на нее никакого внимания. Он громко дышал и указательным пальцем постукивал о портсигар. Наконец Сонечка

окликнула его. Он не двинулся с места. Она показалась, и вид ее должен был произвести на нашего героя сильное впечатление. Розовость плеч и бедер, в сочетании с черным бельем, привезенным из Берлина, говорила о трагической нежности. Но Михаил все еще ничего не соображал.

- Что? Недурна? Это ведь твой комбинезон, шелковый...

Он был так мало подготовлен к ожидавшему его счастью, что откликнулся мысленно лишь на слово «шелковый», напомнившее ему о недавних трудах. Подлец Лазарев! Следует обязательно дополнить двадцать.

- Ну, дурачок! Иди сюда.

Сонечка начинала сердиться. Что с ним? Оглох? Болен? Розовое и черное приблизилось, стало теплотой, реальностью, жизнью. Раздалось глухое мычание, Сонечке вовсе не понятное. Его слышал когда-то, это было давно, Артем (Кармен с розой в зубах и нота). В этом утробном животном мычании сказались сухость двадцати пяти лет, запас неизрасходованной нежности, унаследованной не от Якова Лыкова, не от матушки, бог знает от кого, фосфорической нежности, тщета слов и плотность любви, которая, не родив ни гениальных творений, ни благородных поступков, все же проникла в кровь, стала тяжелыми известковыми сгустками.

Неравная борьба началась: беспомощности человеческого сердца с трезвым решением, родственным блокноту и шелку, с обдуманностью всех поз и интонаций. Можно ли сомневаться в ее исходе? Конечно же, победила Сонечка, все произошло, как она и предполагала, если не считать некоторой замедленности дебюта, раздражавшего ее мямления Михаила и разорванного комбинезона (пусть! он ей новый купит). Куда девался весь цинизм Михаила, сводивший прежде его любовные авантюры к двум-трем поговоркам? Неужели эти руки и впрямь тосковали по ласке? Он вел себя как школьник, он вполне заслужил пренебрежительный отзыв Сонечки:

- Ты не мужчина, а кролик.

Взять хотя бы робость рук, еще недавно душивших воображаемого Лазарева, а теперь не решавшихся коснуться выхоленного плечика. Где их хваленая расторопность?

Неуклюжие жесты, обозначившие нежность, неожиданное девичество развратника и грубияна, злили Сонечку.

- Дурака валяешь! Ложись!..

Нет, он был вполне искренен. Отнюдь не притворство, подлинность чувств тормозила его руки. Он ждал от десяти—двадцати подступающих минут переворота, такой встряски, чтобы с души спала шелковая или овчинная одурь, он ждал оплаты всех прежних лет, вплоть до последней проделки с Ольгой, ждал топлива, замерзая среди скрипучей сухости своих безлюбых дней. Он ждал решительно всего. Могли он пойти на явную подделку? Все что угодно! Лучше трусить сейчас по сырым, дождливым, керосиновым улицам окраин, лучше действительно с Каменного моста броситься в чернильную гущу реки, расшитую фонарными отсветами, лучше смерть! Если и это окажется сродни привычному - дарницкой бабе, Ольге, той же заграничной актрисе, что тогда делать, как вернуться к шелку, к червонцам, к окаянной жизни?..

Так произошло на первый взгляд непонятное: Михаил упирался. Но мы ведь знаем, кто одержал верх. Сонечка поставила на своем. Была минута, одна, короткая, но грузная, минута, когда звериный оскал обозначился на лице нежного и застенчивого мальчика, боявшегося учащающихся поцелуев. «Расквитались!» - облегченно подумала Сонечка и зевнула:

- А теперь спать. Завтра с утра портнихи, примерки. Ты знаешь, почему крепдешин?..

Михаил ничего не ответил. Задушить Сонечку он не мог: руки на это не шли. А говорить было не о чем. Он подумал, что углубляться нельзя, все может кончиться дикой выходкой, даже преступлением. Он решил утешить себя. Сонечка рядом. Он получил все. Другое? Другого не бывает. Другое - выдумки. Михаил не слюняй. Он знает цену шелку. Он знает и цену любви. Лучше просто глядеть на плечико Сонечки. Или гладить его, только тихо, чтобы она не проснулась (Сонечка засыпала сразу, как дети или как люди с безупречно чистой совестью). Этой близости розовой нежной кожи у него нельзя отнять. Это лучше самой Сонечки. Плечо - это вещь. Как шелк. Мягкое, как шелк. Нежное, как шелк. Дорогое, как шелк. Рука его вскоре замерла на розоватом холмике: усталый, он задремал.

Пробуждение совпало с рассветом, смешалось с ним. Проступали различные формы: округлость комода, массив шкафа, светлая прорубь зеркала, а с ними и первые мысли: что произошло? Где он? Кровать не

так стоит, Сонечка... В серости, в злокачественности переходного часа вещи и мысли барахтались, копошились, ерзали. Наконец и свет и отрезвление позволили разобрать оставленные на столе червонцы. Тогда Михаил от остроты боли вскрикнул. Отмычка лежала перед ним: деньги за шелк. Червонцы и розовое плечико вязались в одно. Солёный вкус поцелуев, потеря дыхания, беспометство - все это разлагалось на цифры. В голове Михаила шуршали слова газет: «денежная единица», «товарный рубль»... Вот именно, товарный рубль! Разве он вырос за прилавком? Руки, что ли, приучены к костяшкам? Страсть, он знал ее, когда от горечи спаленной травы кровенеют белки и каблук, как копыто, гвоздит землю. Там, в Берлине, под газовым солнцем, плотая пенную горечь пива и смерти, один, среди пьяниц, - «Сонечка!» Значит, все это выдумки? Последние кулисы обследованы. Фикция! За шелк - шелком. Любовь - для стишков, при этом со скудностью рифм: ну «кровь» или «вновь». Еще «морковь». Но это не подходит! Морковь только для Кармен из Дарницы. Лучше бы шелк. Если ассонансы (как тот, из «кружка») - «тубо». Непонятно, но выразительно. «Любовь... червонцы «Югвошелка»... тубо... ацетиленовое солнце...» Дрянь! Сонька - дрянь!

- Слышишь? Дрянь!

Не находя больше сил, чтобы сдерживаться, чтобы глаз на глаз воевать с резкостью утреннего света и с подытоживанием чувств, он тряс теперь это розовое, обожествленное и вправду божественное плечико. Сонечка, проснувшись, сердито зевнула в локоть и скосила один, лучше раскрывшийся, глаз на часики: семь.

- Ты сума сошел? Будить меня! Я встаю в десять.

- Встанешь и в семь. Без оговорок. Скажи мне лучше: в чем дело? Я совсем сума схожу. Следовательно, ты за червонцы?..

- Я спать хочу, а не философствовать. А денег жалко, бери назад и убирайся. Только не мешай мне спать.

- Жалко? Ничуть не жалко! Обидно сочетанье. Ясно? Я вот, признаюсь тебе, в Берлине актерку одну подрядил. Шик исключительный. На подвязках японские птицы вышиты, честное слово! И что же? Дрянь! Как все! И ты как все! Ведь не в штучках дело. Я от чувства погибаю. Я любви от тебя хотел...

Сонечка, привстав, тряслась от злобы. Ей мешают спать! Это подлее всего. Каждый человек имеет право на отдых. А так хочется спать! И вот, мало вечерних забот, глупости, грубости этого хамоватого щенка, нужно еще, вместо сна, беседовать с ним...

- Я, миленький, тебе ничего не обещала. Хотел со мной спать, клянчил полгода, ну и получил. Не нравится, убирайся к другой! Денег жалко - забирай. А нежничать я с тобой не собираюсь. Нравится мне Петька Верещук из футбольной команды, так и говорю: Петька - для души. Завтра он здесь будет вместо тебя. Я тогда, может быть, и вовсе спать не стану. А теперь - к черту! Молчи или выкидывайся!

Разве не так беседовал Михаил с голубоглазой Ольгой? Почему же он удивился? Почему счел себя снова непонятым, одиноким, исключительной натурой, трагическим Мишкой? Нет, чувства нельзя сравнивать, нельзя измерить их ни «товарным рублем», ни другими мерами. Он оставил Сонечку спать. Он не забрал червонцев. Сидя возле окна, он долго глядел на улицу, на метлу дворничихи, на лоток со сливами, на серость пыли, асфальта, неба, лиц, на всепримиряющую однородность мира. Он больше не думал. Приняв общую окраску этого заурядного утра, он был тих и безличен. Неудачливый маленький человечек сидел у окошка, чиркая ногтем по подоконнику (получались палочки, елочки, кривульки, кресты). Два часа прошли так. Они сделали свое. Столь патетично умершая, последняя надежда на нечто необычайное, на Артемиду, на любовь, должна была разложиться, смешаться со всеми отбросами чувств и лет. Он освободился от последней нелогичности, от последней зацепки, и, возвращенный к подозрительной свободе воздуха, лишённого запаха и окраски, к свободе внутреннего перемещения, он уже не хотел перемещаться, в свободе он соприкасался со смертью. Сколько бы ни предстояло ему еще ходить, даже волноваться или радоваться, сидя у этого окошка, глядя на метлу, чиркая ногтем, он умирал, без выстрела, без монолога, без слез.

Бой часов («девять»), однако, прервал этот процесс. Эпилог был, таким образом, отложен. На сколько глав? Пока что он тихонько мылся, завязал галстук. Он задумался: куда ему идти? Снова шелк? Но зачем?.. Уже давно не было азарта первых дней, озноба, пробиравшего новичка, который с чемоданом помжериновских марок отправлялся в Одессу-маму. «Лиссабон» теперь чадил скукой, зевал двойными

дверьми, наводил тошноту и бужениной, и полипом цыганки Вари. Вчера еще имелась Сонечка, придававшая даже шелку теплоту, чувственность, клейкость человеческого тела. Но вот и это кончилось. Он, рыжий и юркий, никогда не будет «для души». Там Петька из футбольной команды. Это его вина, он сам все меняет, одним прикосновением обезьяньей руки превращает Сонечку в берлинскую актерку. Куда же ему деться? Уже галстук завязан, уже кепка венчает чуб, а идти некуда, незачем.

Михаил подошел к спящей Сонечке. Ладонь под щекой, поджатые ножки, свежесть и слабость маленького тельца вызвали в нем знакомое умиление. Это, конечно, остается загадочным - почему Сонечка, столь деловитая, удачливая, как никто обдeldывавшая свои делишки, вызывала в нашем герое подобное чувство? Он даже попытался пожалеть ее, забыв о Петьке-футболисте: нелегко ей одной, такой молоденькой, может, например, напасть тоска, могут и накрыть ее (вот эта ладонь, розовая раковина - в тюрьме!). А то еще подберет какую-нибудь болезнь. С кем она только не спит! Бедная Сонечка! Как это еще выразить? Маленькая! Девочка! (Он бессознательно копировал Ольгу.) Спит? Пусть спит. Но куда же ему идти? На одну минуту он поддался легчайшему соблазну. Он помечтал о хорошей, честной, простенькой жизни. Взять Сонечку и уехать - куда-нибудь в глушь, где о них никто ничего не знает. Он будет служить в Наробразе или в губфине. А Сонечка?.. Она может давать уроки. Легко. Хорошо. Ни раскаяния, ни стыда, ни расплаты. Приехали. Молодожены. Флигелек. Вечером на крыльце звезды, за рекой собачий лай... К чести нашего героя следует сказать, что мечты эти длились не дольше минуты. Представив себе Сонечку скромной учительницей с тетрадами, он еле сдержал резкий приступ смеха, который мог бы разбудить гневную богиню. Чего тут кривляться? Он - служить? Четыре червонца в месяц и государственные интересы? Нет, увольте! Крыльцо и покой - это очень хорошо, слов нет, это лучше валандания и шелковой эпопеи. Но для этого нужно родиться счастливым болваном. Поздно! Себя не переделаешь. Ему конец один - не ворковать на крыльчке, а в серое утро, как это, когда небо и сердце - одно, теряя калоши, мокрому от дождя и от пота, пройти к стенке, взвизгнув, метнуться, застыть, руку - под щеку, поджав ноги. Это тоже счастье. Это как сон Сонечки. А пока нужно жить. Раз-два. И без

арапской идиллии! Куда? А шелк? Ведь его ждет шелк. Лазарев - какой мерзавец! К нему! Двадцать червонцев на улице не валяются. Если не отдаст, Михаил ему съездит по роже, да покрепче, чтобы из арбуза сок брызнул...

Уходя, Михаил оставил Сонечке записку:

«Пошел к Лазареву дополучить 20. Зайду вечером пораньше, до твоего Петьки. Несмотря на все - богиня».

Богиня? Их делали, кажется, из мрамора. Почему Сонечка не мраморная? Хотя мраморная - это холодно. Сонечка - шелковая. Вдруг Лазарев успел перевести из склада? Тогда не отдаст. Придется зубы вышибить. Это ему не шелк! А дальше?..

Что дальше? Скажите, граждане, что же дальше? У Никитских ворот стоял некий гражданин, выпивший, вероятно, дюжину «Горшанова» или «Старой Баварии», серый, как улица, серый, как небо, стоял и задумчиво гнусавил: «Ламса-дрица-гоп-ца-ца!..»

Гоп-ца-ца. Ца-ца. Ца. (Это уже шаги Михаила.)

А дальше? Граждане, почему же вы молчите?..

Егохватило на это

Как просто все разрешилось. Как мудро устроена жизнь! Сложнейшие психологические узлы, над которыми тщетно пыhtят года, разрубаются короткой минутой. Одно только остается невыясненным: надул ли Лазарев Михаила, недодав ему двадцати червонцев? Легко это допустить: за Лазаревым ведь и не то водилось. А может быть, и не надул. Он клялся, что не надул, хотя в дальнейшем это для него не играло существенной роли. Он ведь сказал Михаилу «сосчитайте». Михаил сам не захотел считать, быстро засунув бумажки в брючный карман. Нервность Михаила всем известна. Он мог обронить две бумажки по десяти. Обронил? Или Лазарев плут? Повторяем, это так и остается невыясненным. Михаилу не удалось побеседовать по душам. Он быстро вбежал в контору гостиницы, где заспанная барышня пила с блюдечка чай. Он успел произнести имя Лазарева, но не больше. Две руки сжали его руки. Наш герой вырвался, кинулся вниз, сделал несколько прыжков. Перед ним была река, трамвай «А», голуби, свобода. Жалкая попытка! Хваткие руки настигли его, к ним присоединились и другие. Тогда, покорно вытянувшись в струнку, выдавая победителям свои руки, не угнавшиеся за трамваем и голубями, он жалостливо забормотал:

- В чем дело?.. Ничего не понимаю... Ничего...

Его отвезли в тюрьму. Держал он себя глупо и непристойно, как мальчонок, пойманный на краже яблока с лотка, мычал, ругался, молил о пощаде. Он беспрестанно выражал недоумение, хотя еще в конторе Варварьинского подворья круглое словечко «шелк» покатилося перед ним.

Он бился головой об стену и требовал врача. Ему казалось, что он действительно болен: ломило в висках и ноги не сгибались. Он кричал:

- Я ведь никакого Лазарева не знаю!..

Когда в оконце оказался кипяток, он яростно выплеснул его и обжег себе руку. Потом, обессилев, свалился на койку. Тогда решетка, дверь, чайник, еще недавно метавшиеся, менявшие очертание и сущность, бывшие какими-то клубами удушливого дыма, стали

постепенно оседать, определяться. Страх и злоба, остывая, принимали формы. Наконец-то он понял: шелк, тюрьма, смерть. Утром в комнате Сонечки, у памятного окошка, он был наполнен смертью, казалось, он готов к ней. Даже известная сладость (как будто предвкушение мягкости постели, свежести простынь) сопровождала тогда мысли о стенке. Но вот стоило этой стенке перейти из разряда понятий в мир вещественный, стать близкой, может быть - соседней, может быть - стенкой этой самой тюрьмы, как необычайная, всепоглощающая жадность к жизни проснулась в Михаиле, все равно к какой, честной или нечестной, без Сонечки, впроголодь, на краю света, здесь в тюрьме, с решеткой и чайником, лишь бы жизни! Арест сделал то, чего не могли сделать ни трогательная суровость товарища Тверцова, ни убудочная любовь с ее помесью боксера, крепдешина, червонцев и сентиментальных вздохов. Арест взболтнул, оживил Михаила, показал, что он все-таки жив. Для чего? Чтобы сделать трагичнее и назидательнее такое-то количество дней и часов, отделяющих его от смерти? Возмущаясь этим, руки царапали дверь. Жить! Исключительно! Физиологическое торжество, взрыв животной энергии должны были вылиться в прекрасный аппетит, в быструю ходьбу, в раскатистость хохота. Они никак не сочетались с мыслями о близком конце. Когда Михаил дошел до этого, то есть когда он понял, что существует связь между шелком, червонцами, Сонечкой, решеткой и что все завершится пулей где-то слева (уже сейчас болит), что это неизбежно и, однако, невозможно, когда он подумал о своей молодости, о трамвае «А», о дуге улетевшего голубя, о жизни, оставшейся по ту сторону ворот, конторы, сборной, - началось настоящее помешательство, конвульсии вместо мыслей, агония. Это объясняет и все его дальнейшее поведение, нагромождение глупостей, приниженности и наглости, столь неприятно удивившее сначала следователя, а потом членов губсуда. Здесь не было ни плана, ни логики. Казалось, приоткрывается дверца, Михаил кидался туда, нет, он просто бегал, выл или валялся в ногах. Иногда он вбирал в себя руки, деревенел и ругался, как мог, темными подлыми словами.

Прежде всего с несуразностью поведения этого арестованного пришлось ознакомиться следователю Маркову. Допрошенный раньше Лазарев выложил начисто все. Что же, Лазарев был трусом, но у него имелся план. Он ставил на чистосердечное раскаяние. Конечно, и он

сплупил. Проследили человечка в казино (такое стояло время, носы не ошибались), пришли пощупать: откуда? в чем дело? Пригрозили. Ну и не выдержал, сам объяснил содержание записочки касательно шелка: так и так. Услужливо назвал Михаила, дал приметы - рыжий, руки особенные. Старался вообще всячески услужить. Каково же было изумление Маркова, когда Михаил сначала заявил, что он с Лазаревым познакомился только вчера в пивной, сдуру одолжил ему двадцать червонцев, за которыми и пришел, а пять минут спустя, узнав, что следователю известна вся операция с шелком, стал кричать:

- Вы мне его сюда дайте, сукина сына! Мало что двадцать червонцев зажулил, он еще доносит! Да я искрошу его!..

Допрос пришлось прервать. Но и успокоившись, Михаил продолжал говорить исключительно о двадцати червонцах. Он должен был получить шестьсот, а получил пятьсот восемьдесят. Мошенничество! Следователь решительно прервал его:

- Это мы потом выясним. Теперь объясните-ка, где находятся полученные вами деньги?

Михаил увидел в серости рассвета пачку ассигнаций. Сказать? А Сонечка? Тогда и ее в тюрьму. Ладонь как раковина... Решетка. Кипяток. Стенка. Нет! Ни за что!.. Оказывается, загадочная нелогичность, называемая в общежитии «любовью», не была изжита этой ночью. С некоторой гадливостью погружаясь в рыхлость Михаила, рука следователя натолкнулась на что-то твердое. Сердце не поддавалось. Хоть чем-нибудь, хоть одной чертой, да этот трусливо ерзающий воришка напомнил героя зимней ночи в бывших номерах «Скутари».

- Деньги? Потерял.

Следователь настаивал. Но слова его, просьбы, угрозы, разъяснения, что Михаил упорством отягощает свою участь, обычная артиллерийская подготовка, все падало на бетон. К стенке? Что же, он будет визжать и кусаться. Ни красоты героизма, ни мудрой покорности. Но этого он не скажет. Только этого. Жизнь велика, кажется, все в ней и продано и предано: Октябрь, молодость, Ольга, Артем. Только вот Сонечка, Сонечка, сейчас поджидающая Петьку-футболиста, одна уцелела...

- Сказал, потеряны...

В поединке, происходившем между следователем и преступником, первый защищал закон, интересы государства, честность, второй - гаденькую крепдешиную душонку, гусеницу, исподтишка сверлившую тресты и плавки, продававшуюся на день и на час ради парижского платья (того, что с прямой линией). Но не скроем, услышав ответ нашего героя, мы испытали чувство удовлетворения. Нам ничуть не жаль Сонечки. Мы понимаем, что ее следует поскорее посадить в исправдом, а краденые червонцы вернуть государству. Но ведь не только ее защищал Михаил. Он защищал еще так называемую любовь, темное и нелепейшее чувство, которое мы, несмотря на его, а может быть, и нашу старомодность, склонны почитать за великое человеческое достояние, чувство, право же, не зазорное и для современников. Его, а не деньги на портних, защищал Михаил, и хоть перо следователя могло пытаться ничуть не хуже памятной русой бороды, он не предал его. Поверженный, истоптанный, похожий на раздавленного червя, он в этом, на несколько минут, предстал перед опытным следователем, хорошо знающим и законы государства, и законы логики, но слепым в темнотах сердца, как победитель.

Но когда следователь, решивший заменить фронтовой удар обходным движением, перешел от денег (то есть от Сонечки) к другому, Михаил сразу утратил твердость, он снова стал крикливой и уродливой массой, способной на любую подлость. Шестаков, конечно, вовремя уехал. Какое удовлетворение он должен был испытывать, кушая теперь диетический йогурт за зеленым столиком Карлсбадского кургауза и в сотый раз перечитывая газетную заметку о разоблачении «Югвошелка»! Но зачем было помечать сдачу дел своему заместителю лживой датой, взвалить на Михаила пять-шесть афер, обделанных самим Шестаковым и давших ему возможность кушать тот же целительный йогурт? Зачем? Какое-то посмертное пакостничество: ведь он не думал возвращаться. Узнав об этом, Михаил положительно взбесился. Мало с него Лазарева, здесь ему ставят мистификаторские вопросы о полученных за окраску от неизвестного лица четырехсот пятнадцати червонцев. «Неизвестного»! Разумеется! И червонцы неизвестные...

- Вы меня, гражданин следователь, простите, но это же фактическая бессмыслица. Меня тогда и в Москве не было.

Достаточно я и сам накрутил, чтобы за чужие грехи отвечать. Вы меня абсолютно пытаете. Шестаков - это жулик почище Лазарева. Он мне место за двести червонцев продал. Деньги на бочку. Условие - тот самый подмоченный... Больше никаких. И вдруг, переносом даты, оказывается окраска. При чем я тут? Занесите в протокол категорический протест. Это подлог, и только!..

Михаил долго негодовал, размахивая руками, так что следователю приходилось отставлять подальше пухлые папки, и визгом наполняя узкую комнату. Явная несправедливость - его заставляют страдать за проделки Шестакова! Нет! Стоп! Лазареву он продал - это верно. И только. То, что его, Михаила, другие изъяны не раскрыты, казалось ему естественным и справедливым. Обозревая свое, достаточно живописное, прошлое, он с некоторым удовлетворением думал: а следы-то заметены. Заведующий издательской частью давно уничтожил список агентов. В Центропосторге тоже все обставляют аккуратно - законные сделки. Что касается Берлина, то это вместо улики являлось рекомендацией честности: аппараты доставлены, остаток суммы, счета, оправдательные документы - все сдано в полной исправности. Даты никак не могут быть проверены. Он настолько верил в защитность берлинской операции, что усиленно напирал на нее (скрывать все равно нечего - заграничный паспорт у них). Как же он мог принимать какой-то частный шелк для окраски, находясь в «Дэнишер хоф»? Подлог! (Конечно, не в счетах за аппараты, а в делах «Югвошелка».) Следователь, однако, явно ему не верил. Начальная ложь касательно Лазарева, общее увиливание, наконец, отказ раскрыть местонахождение денег - все это говорило против Михаила. На беду, в бумагах «Югвошелка» (Шестаков уничтожил только то, что ему не нравилось) оказались две записочки Михаила насчет окраски, правда не за четыреста пятнадцать, а за сто восемьдесят и двести сорок, относившиеся к началу весны, когда наш герой, только что познакомившись с Шестаковым, стал эпизодически предаваться шелковым делишкам. Эти записки, доказывая давность проникновения Михаила в представительство треста, опровергали все его показания, и, увидав их несожженными, лежащими перед следователем, Михаил отчаянно замычал:

- Пропал! Черт с вами, стреляйте! Подлец Шестаков - отблагодарил! Декреты у вас... Звери! А только страшно это человеку, очень страшно...

Последние приметы разумной речи исчезли. Звериный вой не укладывался в строки протокола, и Маркову, хорошему спецу, хорошему и человеку, стало от натуральности воя не по себе, как будто в чистоту и тишину его камеры, полной скорее стратегии, стройности шахматных комбинаций, абстрагированного фехтования с арестованными, перенесли вязкость, тошноту, страх экзекуции - вот куда ведут все твои ходы, все уловки. Визжал зверь, и это было много страшнее человеческих слов, ограниченных условностью, разделенных социальным положением и разностью идеологий, слов, которых можно не расслышать, а расслышав, не понять или не принять. Вой доходил до сердца Маркова, он сказал с гримасой брезгливости и жалости:

- Успокойтесь!

Первый допрос был на этом закончен. Михаила отвезли в тюрьму. Но и там он не мог последовать совету Маркова. Ощущение близости стенки после допроса окрепло. Раз те записочки плюс штуки Шестакова, значит, конец. Нечего упираться. Выволокнут. Ужас перед огромной физической силой невидимого аппарата уничтожал его. Какие тут могут быть разговоры! Он вспомнил удар Темки, тоже сухой и безличный. Это было началом, первой коликой заболевания, первым спуском всеильной машины. Говорить? Но с кем? Со стенами, с губсудом, с пулей? Ведь они неживые. Они не поймут особенности, злосчастной особенности Михаила, его горения, ретивости рук, тоски. Они знают свое: стены держат, следовательно роется в бумажках «Югвошелка», губсуд подберет параграфы Уложения, а пуля... Пуля легко и просто разыщет его сердце, как голубиное сердце на крыше крымского дома. Все здесь высчитано, обдуманно, вроде блокнота Сонечки. То, что он описка, срыв, неправильность - кому это важно? Только ему, Михаилу, чтобы еще сильнее биться, бредить, плакать тридцать, сорок подаренных ночей. А потом? Потом - смерть.

Михаил стал всячески представлять себе ее. Богатый опыт помогал. Он видел изгаженность или прибранность лиц, грязные, загроможденные хламом или, напротив, пустые, слишком чистые

комнаты, равно нежилые, нестерпимую красноту крови, постепенно гадко буряющей, паноптикум развороченных животов с удушливым запахом гнилостных газов, слюну и склизкость губ, мозги, похожие на собачью блевотину, - это внешнее убожество конца, для которого поэт бережет самый эффектный образ, самую неожиданную рифму и который в действительности граничит с вонью, с грязью, с выгребной ямой. Он видел все это. Он примерял различные позы, он хотел привыкнуть, приспособиться к смерти, найти подходящее положение. Как это будет? Но образы, пугая, не казались убедительными. Он никак не мог представить себе свою собственную кровь. Тогда из гнойного полусвета тюремных уголков вылупилось видение, особенно ему памятное: по камере, как на качелях, стала покачиваться бывшая классная дама, Ксения Никифоровна Хоботова, распахивая смрадные объятия. Она искала Михаила. Кошачий кончик ее высунутого языка, как пуля, впивался в левый сосок. На крик заключенного отвечала только брань надзирателя. Ночь длилась.

Потом он устал от пассивности. Живое, здоровое тело не мирилось с ожиданием, оно требовало выхода, настаивало на лазейке. Но что он мог сделать? Задушить надзирателей или следователя? Какая от этого польза? Минутный разгул рук, и только. Убежать? Все в ответ издевалось: крепость дверей, решетка, угрюмый язык этих стен, принявших и жалобы и проклятия не одного человека. Щелью, узкой, однако светлой, до рези в глазах, оказались слова следователя: «Облегчите свою участь». Сказать, где червонцы? Покаяться, как Тверцову, начисто и не потому, что хочется каяться - спасая шкуру? Можно мобилизовать чувствительность, закидать этих людей лирическими воспоминаниями, рассказать об Октябре, о спасении Артема, призвать в качестве свидетеля брата, надрываясь, вопить об ордене выдавить несколько слезинок, молить, обещать заградить все, выклянчить если не свободу, то хотя бы жизнь. «Хотя бы»! Ведь это значит все. План как будто готов. Да, но для этого нужно прежде всего раскрыть, кому он передал деньги. А Сонечка?..

Бой, происходивший в камере следователя, возобновился, теперь он шел в душе Михаила. Выдать? Слово на первый вкус показалось отвратительным, невыносимым, как касторка - выплюнуть. Однако, принудив себя, он повторил - выдать. Как раньше со смертью, он пробовал теперь свыкнуться с предательством. Он создал

соответствующий ландшафт в виде Шурки Жарова, Лукина, Петьки-футболиста, он всячески себя уговаривал: нечего сентиментальничать. Рассвет в камере сливался с тем, другим, обозначившим червонцы на столе и природу нежности Сонечки. Продажная тварь! Ради такой гибнуть? Небось она даже не думает о нем. Гогочет с Петькой. Петька, тот для души, а он вычеркнут из блокнота, просто, деловито: был такой-то, носил подарки и вышел. Дрянь! Пошла покупать крепдешин на червонцы, проклятый шелк, из-за которого гибнет живой, в душе добрый и честный, только неосторожный Мишка. Плечо? Но его розовость теперь казалась неживой, нарисованной, глянцевиным пятнышком на обертке мыла, лишенным объема и теплоты. А грудь Михаила под рубашкой, сырая, горячая грудь, со знакомой впадиной, с двумя родинками справа, с хлопотливым топотанием сердца, существовала, требовала защиты. Ну разумеется, выдать! Боясь, что силы на подлость (так уж устроен человек - и на это нужна сила) не хватит, торопясь, как будто здесь сейчас решается его судьба, он стал стучать в дверь:

- Бумагу! Заявление следователю!

Он считал: семь, восемь, девять. Считал, страхась думать. Следовало воспользоваться этой передышкой, затмением Сонечки, свободой. Он напишет как можно короче: деньги у Софьи Дмитриевны Петряковой, адрес такой-то. Он спасет себя. Ее схватят. Будут вместе судить. Нет, послушайте, скорее бумагу! И не думать... Считать: сто сорок, сто сорок один...

Наконец принесли бумагу. Блуждание руки с пером, ее взлеты и припадания к коленям, дрожь, наконец, заостренность, придавали сцене характер самоубийства, как будто это было не перо, а нож. Написать даже две короткие строчки оказалось не столь легким. Имя Сонечки никак не выходило. Контуженное, но не выведенное из строя чувство теперь перешло в контратаку. Плечо вновь ожило, как в сказке. Если бы еще написать, а потом исчезнуть, умереть. Нонет, ему придется сидеть с ней рядом, видеть нежность, холеность, хрупкость тела, преданного им, выдержать презрительные сдвиги бровей, а после остаться одному с порожним сердцем, из которого выплеснута последняя страсть, жить впустую, то есть только жевать и спать. Это слишком! Сонечка - все, что у него осталось, даже не она (она сейчас с Петькой), даже не любовь (любовь перечеркнута этой ночью с

червонцами, шелком, нудной тоской у окошка), да, не любовь, только молчание, только упирательство, может быть, и не вполне искренняя, но возвышающая забота о, по существу, безразличной женщине, все, что осталось от помпезной молодости, от шествия по снежным горбам Киева к смерти, от ухарства «даешь!», от спасенной девочки, от мечтаний об Индии и подполье, от знамен, труб, комсомольской ругани и комсомольского ребяческого героизма, только это.

- Нет, не выдам!

Он бегал из угла в угол, как бегал некогда по улицам Ростова, как бегал по холмам - в штывы или по одесским учреждениям с марками Помжерина, бегал не останавливаясь, боясь остановки, нового слома. Выдать? Нет, никогда! Серый день в камере мало чем отличался от ночного полусвета: так же глушила тишина, те же амфибии пресмыкались в углах, пятнистые, скользкие, с монотонностью уколов, с тупо бережущими воображение языками, как язык Хоботовой, как пуля, с той же карболовой одурью смерти.

Михаил, однако, выдержал. На четвертушке линованого листа, которую он, ничего не сознавая, роняя бессмысленно фосфор зрачков в черную глушь коридора, вручил надзирателю, значилось:

«Гражданину народному следователю.

Прошу меня расстрелять без проволочек, иначе за последствия не отвечаю.

Заслуживший честно священный орден Красного Знамени, а теперь попросту паршивая тля, Михаил Яковлев Лыков».

Техническое заседание с отступлениями

Мы часто присутствовали на судебных разбирательствах наших губсудов или нарсудов и можем, не колеблясь, сказать, что прямокой, честной оголенностью как заданий, так и форм, подвижностью суждений и приговоров, не связанных традициями, они выгодно выделяются среди европейских судилищ, которые к первичной охоте на красного зверя присовокупили пошлое красноречие захудалого парламента, парад ярмарочного балагана. Да, у нас судят, а не щеголяют перед дамочками речами, пышными, как балахоны адвокатов, судят всерьез, то с лупой часовщика - годно ли такое-то колесико, то выстукивая подобно врачу: «опасен», «неизлечим». В этих кропотливых рабочих разборах более, чем где-либо, сказывается природа власти, заботливая суровость государства, ничем не прикрытая: как Бог писания, оно дает, оно и берет. Может быть, поэтому и столь ясно чувствуешь в них, несмотря на серьезность обстановки, на разумность вопросов, на специальность терминологии (варьирующей в зависимости от места хищений), древнее непреложное право всех против одного, грузный топот множества ног, кровь и тяжелое дыхание настигаемого.

Так было, когда в небольшом зале, где перед этим слушалось дело о милиционере Григории Власове, привлеченном за незаконное присвоение государственного имущества, судили Михаила Лыкова. Мало кто заинтересовался процессом московского отделения «Югвошелка». Сколько слушается таких дел! Статистика показывает рост должностных преступлений за счет других. Мужья больше не стреляют в неверных жен, и соперницы не дорываются до серной кислоты: материальные заботы захолаживают сердца. Кроме того, имеются утешительные хвосты загса. Не станет же Артем преследовать Ольгу. Он только горько вздохнет и пойдет на очередное собрание. Но по части денег дело обстоит много хуже. Соблазнительней ли любви стали червонцы? Или просто «молодозелено» наше новое общество, так что, разбежавшись сгоряча, люди не замечают, где порог, отделяющий дозволенную деловитость от преследуемого рвачества?

Так или иначе, стоит просмотреть любую повестку губсуда, чтобы увидеть весьма однородный перечень статей Уложения: присвоение, хищение, взяточничество, подлог. Разнообразие сказывается исключительно в материале, в этих пестрых клочьях урываемого. Как на базаре, чего только тут нет: бумага, арматура, парусина, мазут, внешторговые тракторы, дрожжи, дамские заготовки, сухумский табак. Тайны производства, а подчас гениальные фокусы урывания раскрываются в тихих невыразительных залах. Психология отсутствует, как и в современной литературе. Нужно ведь известное мужество, чтобы написать теперь психологический роман без фашистов и без буденновцев, исключительно о скучнейшем, то есть о «душе». Здесь о ней и не слышно. Кажется, это не суд, а техническое заседание, ревизия бухгалтерии, курс нормального торговлеведения. И вдруг - крик... Человек, только что тихо говоривший о мазуте в баках или о вагоне парусины, погибает. Запах крови заставляет на минуту забыть и о цифрах, и о терминах. Только на минуту - заседание продолжается. Такое-то колесо (имя, фамилия, возраст) не годится, его надлежит изъять.

Мог ли столь сухо, деловито, незаметно погибнуть наш герой? Конечно нет! Месяцы предварительного заключения, буйство и бред в камере, истерики на допросах, жесты, позы, наконец, вся его предыдущая жизнь обещали эффектное зрелище. Однако публика об этом не знала. Газетная заметка, весьма лаконичная, легко затерялась между курсом червонца и рецензией на новый балет. Еще один рвач. Эта порода давно уж перешла из ведения любопытных зевак к статистикам. Народу поэтому было мало: бойкая девица от «Вечерней Москвы», то приходившая, то уходившая, раздражая скрипом двери коменданта, два-три особых любителя, не пропускающих ни одного процесса, обширная родня Лазарева, старичок, зашедший погреться (морозы стояли лютые) и вежливо кивавший все время головой, вот и все. Тихо, просто, скучновато.

Михаил, однако, сумел оживить процесс. Это было трудно, на следствии он успел себя окончательно запутать. Желая показать свою преданность советской власти, он как-то заявил следователю, что эмигранты предлагали ему пять тысяч фунтов за экшпионаж в Донбассе, но нет, не на такого напали! Петряков и Ивалов были

допрошены. Профессор ничего не знал, кроме своих электрических волн. Но Ивалов (на всякий случай) проявил подозрительность: что же, весьма возможно. Кроме того, было установлено, что Михаил приехал с деньгами и солидным багажом. Откуда деньги? Утаивая проделку с радиоаппаратами, Михаил не мог на это ответить. Точность суммы и описание переговоров с эмигрантами увеличивали подозрения: ведь не станут же ни с того ни с сего предлагать это неизвестному человеку! Показания Артема также не говорили в пользу брата. Правда, он настаивал на былой честности и храбрости Михаила, но одновременно заявил, что незадолго до отъезда брат просил записку к Бландову, предлагая за это часть прибыли. Предположение об экшпионаже окрепло. С другой стороны, Михаил не хотел рассказать о своем прошлом. Что он делал после вычистки? Назван был лишь Центропосторг. Но Вогау находился в Нарыме, а заместитель его показал, что Лыков действительно служил в учреждении, откуда был выгнан за попытку смошенничать. Наконец, Сонечки Михаил так и не выдал. Значит, у него имелись сообщники. Всем этим участь Михаила была предрешена. Правозащитник (из бывших) Гаубе для ободрения говорил:

- Десятью годиками отделаетесь.

В душе он, однако, сильно опасался большего. Что касается второго подсудимого, случайно связанного с Михаилом шелковыми узлами, Лазарева, то за ним числилась лишь эта сделка, он мог рассчитывать на пять лет. Впрочем, гадать было трудно. Многое зависело и от хода судебного следствия, и от состава суда. Председатель Громов, по словам людей судейских, отличался прямоотой, строгостью, умел хорошо вести процесс, но вовсе не был педантом. Он считался с подсудимыми, всматривался в их прошлое, учитывал не только факты, а и побудительные мотивы. Двух хмурых и настороженных нарзаседателей (один был рабочим-металлистом, другой трамвайным служащим) никто не знал. Михаил, взглянув на них, почувствовал сразу злобу: вот эти! Они казались ему глухими и знающими только свое назначение, как стены тюрьмы, как пуля: судить, засудить, убить. Тюрьма и ожидание его доконали. Он теперь совершенно не мог владеть собой. Сколько раз защитник уговаривал его вести себя спокойно, благообразно. Где тут! Руки метались. Глаза обыскивали зал, то юля перед Громовым, то шавками кидаясь на

нарзаседателей. Что ни слово, он вскакивал с места. С самого начала председатель, на что уж был опытен, и тот смутился. Чтение обвинительного заключения Михаил прервал возгласом:

- Враки! Лучше бы вы Шестакова заплучили. Надо через Инотдел его выдачи требовать, а не на меня валить...

Секретарша «Югвошелка» подтвердила, что видала Михаила у Шестакова еще весной, и неоднократно. Сначала Михаил забормотал:

- Ошибаетесь, гражданка, физиономию смешать очень легко.

Потом, после ее настойчивого заявления, что Михаила трудно с кем-либо спутать, он крикнул:

- Что я, спал с тобой?

Какой-то гражданин в зале, не утерпев, прыснул. Громов пригрозил удалить Михаила. Тот струсил:

- Извиняюсь. Расстроен одиночным заключением. Больше не буду.

Дошли до весенних записок. Громов полюбопытствовал:

- Это вы от Каца получили сто восемьдесят червонцев за окраску?

- Ничего подобного. Я даже не знаю такого.

- Однако на предварительном следствии вы признали, что записка эта писана вами и что скрывшийся Кац действительно сдавал вам шелк, который вы направляли для окраски как принадлежащий государству.

- Извиняюсь. Не понял.

- На предварительном следствии...

- Вот что!.. Кац - вы говорите? Я его просто за Яшку знаю. Может быть, и Кац он. Плешивый такой? Действительно, Яшка Кац. Он в пивной на Арбате всегда сидел. Там и клеили... А отсылал Шестаков. Он и есть главный виновник.

Дело с «Югвошелком» казалось вполне ясным. К наивным приемам подсудимого все быстро привыкли, и некоторые операции, обделанные единолично Шестаковым, были приписаны ему. Занялись окрестностями дела. Тогда привели нового свидетеля - Артема Лыкова. Глаза братьев встретились, и встреча эта обоим далась нелегко. Как ни был стоек Артем, он все же заколебался. Промолчать? Сколько раз эти сомнения лихорадкой пробирали его, до суда, до допроса, с той минуты, когда три строки в хронике «Известий» сообщили об аресте Михаила! Казалось, после последней встречи на

бульваре ничего не должно уцелеть, и все же якобы преодоленное, выполотое чувство еще копошилось, боролось, пробовало диктовать решения, и не будь пуританизма, не будь привычки к дисциплине, оно бы победило. Оно граничило с тем нотой кровных опознаваний, с мяуканием кошки над трагической помойкой, и Артем не мог от него отделаться: ни логика, ни воля здесь не помогали. Он любил брата, дрянного, подленького, любил, и что против этого скажешь? Сложись иначе обстоятельства, он отдал бы за него, за такого вот - жизнь. Но раздор шел не между двумя людьми. Михаил выступил против государства. Здесь-то и кончалась широта чувства. Простить свои обиды? Да, это легко. Но государство должно изъять Михаила, именно изъять. Если Артем не только на словах коммунист, он обязан и в этом способствовать общему делу. О его переживаниях никто не спрашивает. Легко или трудно подталкивать ему родного Мишку к стенке - это его, Артема, частное дело. Но молчать он не смеет. Убежденный после разговора на бульваре в виновности брата, он должен говорить. «Каждое слово - подвиг»? Подобные выражения надлежит оставить: Артем не любил декламации. Сколько раз он шел на смерть. Но скажите ему об этом, он удивится, может быть, и рассердится. Не на смерть - он шел занимать такую-то позицию, как и другие Артемы. Он в точности выполнил задание, и только. Тяжесть увеличивалась Ольгой. Здесь жизнь ясного, как бы насквозь прозрачного человека становилась, вне его воли, похожей на бред, на перепутанные страницы романа ужасов, на злостные наслоения экспрессионистического фильма. Хорошо, он принял все: ложь Ольги, ее беременность, чуждость. Но горшее началось со дня ареста Михаила. Уже не хитря, забыв о всех мыслимых подозрениях, Ольга теперь заполняла комнату, сутки, уши, сердце Артема одним: «Спаси его». Она молила, унижалась, пресмыкалась, как старая, неповоротливая, брюхатая сука, хватая руку мужа и пытая его и горячностью губ, и едкостью слез. Она кричала о бесчувственности, об этом ненавистном ей бессердечии человека-машины, грозила, если он не выручит Михаила, покончить с собой. Артем метался между человеческой требовательностью, шумной, истеричной, неотвязной, и призрачной, немой требовательностью идеи. Читатели знают - может быть, и нет у нас гениев, может быть, мы надолго лишены прекрасных жестов нескольких безумцев, еретиков, юродивых, но ведь поэтому мы

и сколотили, отстояли от разбоя и от огня, кое-как приспособили для жизни новый, новый нам, новый и миру дом. Это следует учесть. Артем, вернувшись от следователя, сказал Ольге, что раскрыл дело с Бландовым, иначе он не мог. Тогда впервые уже не досада, а подлинная злоба переместила черты Ольги. Первой ее мыслью было: уйти, ни одной минуты не оставаться дольше с ним. Но другие соображения взяли верх: Ольга ведь жила теперь надеждой спасти Михаила. Она кидалась от одного плана к другому, от организации побега к размягчению сердца какого-нибудь члена ЦИКа. Она осталась с Артемом, все еще надеясь как-нибудь смягчить, переломить его. Суд совпал с первыми родильными схватками. Когда Артем уходил, он слышал ее горячечный шепот:

- Спаси его! Не то умру...

Он выдержал ее взгляд. Теперь он выдержал и другое: взгляд брата. Знакомые глаза как бы кричали через головы красноармейцев, Лазарева, защитника: «Темка, сжался!..» Он выдержал все это. Тихо, но раздельно, заражая даже спокойного Громова своим напряжением, он повторил все, уже сказанное им на предварительном следствии. Пока он говорил о прошлом, о Киеве, о героизме ночи в «Скутари», Михаил ласково, как-то женственно улыбался, готовый кинуться к брату, ища у этих широких плеч защиты. Темка? Нет, Темка свой, он не выдаст! Но когда Артем дошел до Бландова, Михаил привскочил и, белея от ярости, крикнул:

- Вы знаете, граждане, почему он это говорит? Злится. Мстит. Я ведь с его женой баловался...

Артем сгорбился, вобрал в себя голову. Здесь все растерялись, кажется, даже старичку, что зашел погреться, и тому стало не по себе. Близость человеческого горя, вне статей Уложения, вне шелка и червонцев, на минуту захолонула все сердца. Артем продолжал:

- Насчет жены - это верно. Но злобы не чувствую. Говорю правду, как гражданин и как партийный...

Кончив показания, он ушел, ушел к разъедающей голубизне караулящих его возвращение глаз. А заседание продолжалось. Вскоре общая неловкость сменилась деловитостью, даже некоторой веселостью, когда на вопрос общественного обвинителя, почему он исключен из партии, Михаил нагло ответил:

- Из-за моей исключительности.

Его допрашивали о берлинских переговорах. Чувствуя себя в этом невинно пострадавшим, он особенно горячился. Председатель заметил:

- Не кажется ли вам и самому странным, что, не зная вовсе, с кем имеют дело, они обратились к командированному?

- Абсолютно не кажется, раз это было. Вы меня не допрашиваете, а пытаете. Я ведь понимаю, куда вы гнете. Не так уж глуп. Только могу одно констатировать: я сам вам рассказал об этом. Будь здесь что, разве я стал бы выбалтывать? Как козырь, можно сказать, вытащил. А вы вместо того, чтоб оценить выдержку, меня этим же кроете. В таком случае, я об этом вовсе и говорить не желаю.

- А на вопрос, откуда у вас в Берлине были деньги, много превышающие суточные, вы тоже отказываетесь отвечать? - спросил общественный обвинитель.

Михаил взглянул на него. Тогда плотный чад младенческих лет, сырость и влажная духота киевского Пассажа обдали его. Нервически билась верхняя губа, руки же, не выдержав, пытались прикрыть, защитить глаза, эти жидкие, беспомощные, нежнейшие сгустки, на которые целилась теперь «та самая рыбка». Выколупнет! Чем заменить их? Холодным логосом? Артистическим фосфором Абадии Ивенсона? Вместо ответа касательно денег он заговорил невпопад, глупо и задушевно:

- Меня пожалеть следует. Я ведь с детства таким был. И никакого во мне чувства нет, только факты. Я вот радовался, когда телескопу глаза вырвали: у него глаза как на ниточках. Все вы на меня накинулись, а я об участии прошу. Причем, повторяю, я мофективным ребенком был, но никто мною не занимался. Вот и результаты...

Нет, не для подобных объяснений пришли сюда эти серьезные, занятые люди. Цифры. Окраска шелка. Присвоенные червонцы. Статьи Уложения. Один заседатель написал на листочке: «Прикидывается», - и показал другому. Лица их сохраняли при этом бесстрашие, только чуть поскрипел твердый грифель карандаша. А вопрос об экшпionaже и о берлинских деньгах так и остался невыясненным. Подозрения и предубеждения против подсудимого с каждым его выступлением возрастали. Была минута, когда даже на покойном, скорее задумчивом лице Громова обозначилось брезгливое возмущение: выяснялись обстоятельства, сопровождавшие вычистку

Михаила из партии. Обвинитель заинтересовался, на какие средства жил Михаил до исключения. Может быть, и тогда он прибегал к шелку? Казалось, последует вразумительный ответ (ведь ни овчины, ни марки не были раскрыты). Но общественный обвинитель положительно выводил Михаила из себя. Что он сделал этому маленькому человеку с черными усиками? Почему тот ехидно простодушничает, смотрит в упор, не моргая, и каждым словом подкапывается под Михаила?

- Я партийность свою заслужил, как и орден Красного Знамени, в бою заслужил, а не при подобных разговорах. Если б я даже фактически извлек из этого пользу, то менее виноват, чем всякие прочие. Посмотрели бы вы, сколько партийных спекулируют. Их вы не трогаете - руки короткие, а все на меня. Почему? Да только потому, что я вычищен. Очень просто, гражданин обвинитель. Отобрали у меня партбилет, как будто и не заработал я его, а с лотка слизнул...

Здесь-то и председатель поморщился. Впрочем, он быстро сдержал себя, ограничив ремарку формальными рамками:

- Подсудимый, отвечая, вы должны обращаться к суду.

Председателя Михаил и уважал и побаивался. Вновь он вытянулся по-школьному:

- Извиняюсь.

Пока длилось судебное следствие, и Громов и народные заседатели зорко-угрюмо следили за каждым словом. Их карандаши скрипели, заноса цифры, даты, имена. Они знали, что это работа, серьезная работа. В голове металлиста она сливалась с переборами заводских машин, трамвайный служащий видел дезорганизованное движение различных линий. Но когда начались выступления сторон, напряженность сменилась скукой, едва скрываемой досадой: зачем они говорят? Как будто заседатели - дети, которые сами не могут во всем разобраться! Стороны ощущали бесполезность красноречия, и речи, произносимые почти для проформы, отличались подобающей сухостью. Они (даже бывший присяжный поверенный Гаубе, столь любивший некогда рычать, утирая лоб фуляровым платком) невольно подчинялись суровому стилю этого заседания спецов. Речи были заранее известны, они скорее являлись этикетом процесса, нежели его живой частью. Все, например, знали, что общественный обвинитель будет настаивать на «высшей мере», ввиду злокачественности

преступления, отсутствия раскаяния, партийности, понимаемой, как выгода, будет говорить о чистоте революции и о необходимости радикальных мер. Знали наперед и речь правозащитника, с беспрестанными возвратами к ордену и к «Скутари», с ссылками на пролетарское происхождение и с методически задушевными просьбами о снисхождении. В этой торговле за человеческую жизнь, кажется, никто не был заинтересован. Громкие слова, вроде «чести революции» или «пролетариата, который не мстит», произносились тихо, вяло, как будто говорившие чувствовали их ненужность и неуместность. Громов в это время изучал повестку, один из заседателей рисовал эмблему профсоюза (на конкурс), причем карандаш его, занятый тушевкой, лениво посвистывал, другой разглядывал публику. Несколько оживились все, когда вновь заговорил подсудимый. Слова его казались важными: может быть, хоть в последнюю минуту он заговорит всерьез. Не в лирике дело, не в чувствах, нет, надлежит определить будущее, выяснить возможность исправления, установить степень социальной опасности. Здесь могла начаться настоящая защита. Но Михаил не думал защищаться. Обрадованный тем, что наконец-то его не прерывают, что вместо ответов на назойливые и неудобные вопросы ему позволено теперь говорить свободно, он чувствовал оживление, даже приподнятость, он решил выложить самое большое, самое важное, показать всем этим людям, кого они судят.

- Вы вот все о шелке спрашивали, как будто и не существует вовсе меня, то есть Михаила Лыкова. Я, конечно, понимаю, напакостил. Но в этом ли суть? Что важнее, разрешите спросить вас, жизнь борца или интересы? Я не себя, исключительно обстоятельства обвиняю. Есть в Москве казино, самое что ни на есть разрешенное. Не скрою, захаживал, когда денежки водились. Так там та же самая история. Выскочил твой номер - иди, что называется, задрать голову. Прогодал - пропадай, иллюстрируй хронику в виде пошлого самоубийцы. Неумолимо. Вот я, граждане судьи, прогадал. Мой номер вовсе не вышел. Вы мне смертью грозите. Я, прямо говорю, смерти боюсь. Кусаться буду. А вот раньше не боялся, шел себе и посвистывал. Меня тот астраханец всю ночь по морде лупил. А я улыбался. Как же это случилось? Нельзя не задуматься. Из партийных списков, конечно, вычеркнуть очень легко: обмакнул перышко - и нет

такого-то. Да и расстрелять нетрудно. Сам знаю - приходилось. Только это ничего не разрешает. Факт остается. Перед вами, как вы меня ни называйте, герой Октября... Я когда себя вспоминаю - не верится даже. Горело все во мне. Я памятником мог стать, а вместо этого до Яшки Каца опустился. Вы жизнь судите, граждане судьи, она меня и довела до этого. Всякий это понимает, что приятней Перекоп брать, чем с проклятым шелком возиться. Как я увидел «Лиссабон» - здесь и цыганки, здесь и мадера, - обалдел. Как же такое разрешают? Ну, одни - бараны вроде моего братца, им скажут: «Ради коммунизма подушки вышивай», сейчас же все наперстками вооружатся. А другие с дипломатией лезут: «Мы, мол, им очко, а с них два». Мало нас попы царством небесным кормили! У меня критический ум, может быть, в этом и главная моя вина. Конечно, и простор человеку нужен. Не всякому: Темка, тот в склянке проживет. А у меня не такие руки. В конечном счете, не будь революции, я, может быть, примирился бы с категорией. О происхождении моем вам уже гражданин правозащитник говорил: самое что ни есть злосчастное. Стал бы официантом. Но вот взяли и показали мне такую жизнь, такое горение, что я просто с ума сошел. И вдруг вылезает такой Яшка Кац как ни в чем не бывало. Это трагедия, ее в театре можно ставить, слезы лить, а вы все шелк да шелк. Ну, украл. Это же частность, деталь. Я и на худшее мог пойти. Вас, например, деньги интересуют: где шесть сот червонцев? Отдал их, а кому, не могу сказать. Остатки благородства. Да и незачем - все равно плакали ваши денежки. Нет их, вышли, вроде как я вышел. Вы меня пристрелить должны, чтобы не стоял я перед вами живым укором. И еще - насчет Берлина. Ложь это! Я Советской России не предал и не предаю. Хоть и надула она меня. Память волнует: в Себеже чуть до слез не дошел. Вот и все. Был Мишка, захотел он прыгнуть вроде портного Примятина - и не смог, промахнулся. А удалось бы, вы бы обо мне биографию писали...

Речь эту он произнес с большим подъемом, надрываясь, жестикулируя, внося в скромный зал нечто чуждое и неприязненное. Как все обрадовались, когда он наконец-то кончил! Слова его были слишком напыщенными, чтобы растрогать, а голос... Но люди, слышавшие не раз и крики расстреливаемых, и басы тяжелых орудий, и плач умирающих с голоду ребят, уже не могли интересоваться оттенками человеческого голоса. Они делали свое дело: выслушивали,

высчитывали, определяли. Вместо раскаяния они увидели самоуверенность рецидивиста, откровенное шкурничество, целую философию рвачества, отдававшую, кроме того, контрреволюционным духом. Все же они совещались долго, как честные и прилежные спецы, которым поручено обсудить пригодность той или иной модели. Михаил в это время полулежал на скамье, опустошенный своей речью, обессиленный, бесчувственный. Он вновь погрузился в темноту физиологических образов. Отрывистые рефлексывы передергивали порой неподвижность корпуса. Когда раздался звонок и все встали, он еле приподнялся, не соображая больше, где он, что совершается, с неотвязностью последнего образа: «Мозги телячьи в сухарях, рубль двадцать». Он опустил длительное чтение, статьи и параграфы, три года, которые получил мелкий статист этого процесса, все время чувствительно вздыхавший или стонавший Лазарев. Он расслышал только одно - «к высшей мере». За этим следовало: «...принимая во внимание заслуги перед революцией и пролетарское происхождение, ходатайствовать...» Но это уже не обозначалось в его сознании. «К высшей мере»! Еще с минуту длились темнота и бесчувствие. Формула перерабатывалась в голове. Наконец он понял: конец!.. Тогда-то и раздался этот ужасный, высокий, тонкий вой, заставивший всех быстро отвернуться. Пока Михаила выводили, он показал, что его слова не образы: отбиваясь, он действительно укусил руку одного из красноармейцев. Человек понял бы всю несуразность такого поведения. Но человека не было. А зверь чувствовал, что его тащат на смерть, подстреленного добивают, и зверь визжал, царапался, кусался.

Следующим слушалось дело о гражданине Рейхе из «Фарфортреста», обвинявшемся в незаконной продаже партии суповых мисок.

Жизненность героя. Нежизненность других

С какой радостью мы опустили бы эту главу! Страдания, пусть и не героические, несколько примиряют с человеком. Мы убеждены, что вой выволакиваемого из зала Михаила дошел до читателей, сменив на жалость недавнее осуждение. Не всем же дано быть судьями! Слушая этот вой, мало кто помнил бы о тридцати пяти главах (или двадцати пяти человеческих годах), о всем разнообразии пакости, начиная с Ольги и кончая неподмоченным шелком. Покинуть нашего героя здесь, может быть, заставить его умереть - какой это соблазн, и нелегко нам дается правда, жестокая, безоговорочная правда, заставляющая нас раскрыть новую подлость Михаила. Мы сами принижены и опустошены рассказываемой нами историей, длительным сожительством с неистребимой живучестью этого для всех умершего, может быть, даже и несуществовавшего человека. Но профессиональный долг, побуждающий врача любовно склоняться над язвами, гнойниками, разлагающимися внутренностями уже дышащего трупным зловонием пациента, подстегивает и нас: ты видел это, что же, расскажи об этом обстоятельно, чтобы все знали, для кого цветет наша земля и над кем блистают звезды.

Ком барахтавшейся и мычавшей массы, называемый еще «Михаилом Лыковым», после суда был доставлен в тюрьму. Там он начал, вытягиваясь, опоминаясь, мало-помалу принимать форму человека, способного говорить, даже думать. Его укороченные мысли напоминали строение примитивных существ, угрюмое вращение инфузорий в капле воды. Все они не выходили из пределов: «высшая мера» - «ходатайствовать». Другой сообразил бы, раз суд ходатайствует, можно успокоиться. Но цепь человеческих взаимоотношений, реальность некоторых слов, формул, институтов - все это уже лежало вне поля зрения Михаила. Первенствовала исконная подозрительность: ходатайство добавили для проформы, для успокоения себя и других, как счастливый конец фильма, может быть, просто для того, чтобы удобнее выволочь Михаила из помещения суда. Дудки, не на такого напали! Что значит это слово - «ходатайство»? Бумажный шелест, отписка. Оно пасует перед конкретностью

«высшей меры». Конечно же, надувательство! Его убьют, убьют завтра, возможно, сегодня, сейчас! Уже идут! Останавливаются у двери...

Что бы то ни было: обычная проверка, глаз надзирателя, прилипший к волчку, кипяток - все это воспринималось Михаилом как приход за ним, как финал. Можно сказать, что он умирал ежечасно. Умирал и, чудодейственно спасаясь, снова воскресал для скудной, жидкой надежды, едва просачивавшейся в душу, как в оконце болезненный свет декабрьского дня. Он дошел до полного забытья, уснул, но вскочил под утро, разбуженный легким треском койки: идут! Никто не вошел. Однако больше успокоиться он не мог. Что делать? Ждать? Это не в его силах. Спасись! Жить хоть один месяц, но зная наверняка, что его не тронут. Покаяться? Не поможет. Приговор прочтен, скреплен печатью. Выдать Сонечку? (Да, мы не скроем, сейчас он без колебаний выдал бы и свою Артемиду.) Тоже зря. Денег у нее нет. Девочку, конечно, на всякий случай засадят. Но его, его пока что убьют. Выдать себя? Раскрыть какое-нибудь, не известное еще, дельце, хотя бы с аппаратами, чтобы его снова допрашивали и судили? Три месяца обеспечены. Но нет же! Зачем его станут судить, когда он уже заработал «высшую меру»? Тогда...

Так в гнилом кружении уловок, среди многих тихих и мучительных шорохов, при смешанном, оравном свете чадающего утра и придушенного рожка, родилась эта мысль: припутать! Руки ловили спертый воздух и полусвет, душа же, душа, оплеванная Минной Карловной и торжественно осужденная общественным обвинителем, вовсе отсутствовала. Скорее! Кого-нибудь! Все равно кого, пусть не причастного, беспомощного, чужого. Кого же? Да хотя бы профессора. Никакой ремарки о низости поступка не последовало. Паузы диктовала не совесть, а только рассудок стратега, наспех обдумывающего план отчаянной вылазки. Да, Петрякова. Он и Петряков совместно надували государство. Начнут проверять, расследовать, запросят Берлин. Если только себя, не обратят внимания. Уже осужден. Если только Петрякова, могут не поверить: Ивалов покажет, что закупками ведал Михаил. Значит, обоих. Новый суд. Не спасение, только отсрочка? Все равно. Где уж тут считать, стоит или не стоит, когда любой шорох означает конец...

Если читатели до сих пор еще не знали в точности, для кого цветет земля и над кем традиционно «блистают» звезды, если мало им было горящих театров, с их не совсем обычным выходом по истоптанным плечам, если случайно они не слышали о торпедированных пароходах, о борьбе за шляпки, о скидываемых за борт стариках или ребятах, - что же, тогда мы покажем им казенный тюремный лист, на котором рукой Михаила было старательно выведено:

«Главному Прокурору Республики.

Прошу отложить выполнение высшей меры ввиду важности сохранения моей жизни. Хочу дать откровенные показания о крупных хищениях, совершенных мной совместно с профессором Петряковым при закупке радиоаппаратов в г. Берлине».

Его хватило на это, сказали мы, когда, припертый следователем к стенке, наш герой все же не назвал Сонечки. Повторим еще раз: и на это его тоже хватило.

Мы можем теперь оставить его, снующим по камере или лежащим на койке, с чередованием надежды и страха, с обостренностью слуха, изучающего партитуру тюремных звуков, далеких от каких-либо примет раскаяния. Он сделал все, что мог. А мы поспешим в знакомую нам квартиру № 32, вряд ли способную порадовать глаз и сердце даже после дома предварительного заключения, в этот чад сальных оладий и кухонных пересудов. Не к Сонечке - что сказать об этой легкомысленной особе? Михаил не ошибался: червонцы были быстро промотаны, первые страхи, вызванные арестом приятеля, давно улеглись, шли обычные дни, делимые между работой и отдыхом, между перепродажей хинина и танцем «ява», начинавшим вытеснять фокстрот. Вот только Михаил не знал, что Петьку-футболиста успел сменить пылкий грузин Лель Джупидзе, совмещавший мелкую службу в некоем солидном учреждении (им игриво называемым «госпупчиком») с участием на паях в хинных и других предприятиях, являвший, таким образом, идеал Сонечки, дивное сочетание в одном всех запросов и тела и души. Немалое количество из злосчастных шестисот червонцев пошло на кутежи, ботинки, портсигары, галстуки этого далеко не мифологического Леля. Нет, не к Сонечке направимся мы, но к ее

отцу, судьба которого после последней выходки Михаила оказалась неожиданно связанной с судьбой нашего героя.

Духота, немощность, безнадежность, давно уже превращавшие ночи профессора в метания, в переворачивания с боку на бок, в горькую сухость губ, в настойчивость часовых отстукиваний с покалыванием сердца и с мыслями о смерти, после берлинской поездки еще более сгустились. Плацдарм, до последнего времени защищаемый некоей воображаемой армией, как бы сузился. Петряков больше не ждал спасения. Паллиативы, будь то обстоятельство какого-нибудь доклада, заботы цекубу или крепкий озон солнечного морозного утра, уже не действовали. Бесцельность своя и своего дела, сливаясь в одно, делали дряхлыми не только тело, кожу, сосуды, но и мир, проделывавший за окошком или на столбцах сухих угловатых газет хоть энергичные, однако вневольные, предсмертные сокращения. Урезки наркомпросовского бюджета, чистка вузов, общая трезвость опоминания - все это, как бы со стороны, подтверждало доводы бессонных ночей. Запад нес то же: вымирание наивных чудаков, еще веривших в бескорыстность знания, патенты или голод, физику для удобств Моргана и химию для удушения Японии. Организм Петрякова сдавался, как его ум, день за днем, не видя больше смысла в дальнейшем сопротивлении. В голодные героические годы он был стоек. Огромное напряжение заменяло тогда недополучаемые калории. Теперь же сказался перерасход тех лет. Свора болезней с жадностью накинута на подшибленную добычу. Врач прописывал лекарства, режим, диету, и Петряков послушливо выполнял все его указания, не в жажде вылечиться, нет, просто как различные жизненные отправления, так же как считал белье, относя его к прачке, и ходил в столовую Дома ученых, - он не был по природе бунтарем. Он понимал бесцельность лечения, ибо каждая частица его организма болью, замедлением или же ускорением, подергиванием, отмиранием подтверждала ночные догадки: скоро конец. Ржавь механизма не допускала починки. Чувство это как бы смягчало Петрякова, оно делало его более рассеянным, пожалуй, даже более благодушным. Получая теперь грубоватую записку от какого-нибудь рабфаковца, профессор уже не досадовал. «Так и должно быть, - кротко думал он, - я не нужен, все мы не нужны, шкафа же, знаменитого шкафа никто не построит». Направляясь каждый день на улицу Кропоткина обедать,

он часто останавливался в сквере, у храма Спасителя и подолгу глядел на игры ребят. Хотя эти игры были жестокими, с бандитами, с расстрелами, с бранными, заторными словами, невинность глаз и тонкость серафических дискантов умиляли старого профессора: так и Сонечка играла. Прежде его омрачили бы мысли: вот что из нее вышло, эти тоже станут лживыми, гадкими, признающими только штыки и червонцы. Но теперь он не думал об этом, он был уже настолько вне жизни, что получил право смотреть со стороны, может быть даже сверху, смотреть бескорыстными и спокойными глазами. Поэтому он видел детство, только детство, одинаковое ныне и тысячу лет назад, и детству он улыбался. Даже обитатели квартиры № 32 не могли больше раздражить его. На все ехидные попреки Швейге или Даниловых он только тихо, сострадательно, скорее ласково, нежели обиженно, отвечал:

- Да, тесно живем, очень тесно.

В этой терпимости он дошел до того, что, столкнувшись как-то с Сонечкой, заботливо забормотал:

- Ты вот с открытой шеей ходишь, простудишься...

Соседи, даже дочка, уже никак не занимали его. Дни являлись только паузами, пробелами, передышкой среди разгоряченных ночей. Можно сказать, что Петряков готовился к смерти. Если он по-прежнему, несмотря на болезни, несмотря на убеждение в бесцельности своих занятий, работал, упорно, настоятельно, преодолевая все трудности, приближаясь к концу, к разрешению проблемы, столь увлекавшей его европейских собратий, то это объяснялось желанием ввести самую смерть в жизнь, принять ее не как глупую катастрофу, но с достоинством умереть, как он жил, - над листом писчей бумаги, с пером, до последних судорог исправно выполняя никому не нужное дело, глаз на глаз с формулами и совестью.

Такой смерти ждал Петряков. Он не знал о визге, о вое, о томительном копошении и буйствовании осужденного губсудом Михаила Лыкова. Услышав как-то, что его арестовали, профессор сокрушенно вздохнул: «Бедный юноша, такой симпатичный, вот оно, новое поколение!..» Он дал следователю самые благоприятные для Лыкова показания, а на суд не пошел, скошенный приступом грудной жабы.

Поздно вечером, когда он сидел за работой, вошли чужие нахмуренные люди и, показав бумагу, деловито приступили к обыску. Один из них упомянул о сделках в Германии, об аппаратах, о валюте. За дверьми, хоть напуганные, однако глубоко удовлетворенные, шушукались жильцы квартиры № 32: «Наконец-то!» Они отыгрывались на отце за все обиды, нанесенные им Сонечкой, которая, после внедрения Джупидзе, окончательно обнаглела, назвав как-то почтенную вдову Швейге «драной кошкой». Накрыли папашу, теперь и до дочки докопаются! Сердито покашливая, полуодетый Петряков ходил из угла в угол, пока чужие люди перетряхивали его рукописи. К шороху листов присоединились шлепанье туфель и мучительность астматического задыхания. Он начинал понимать значение этого прихода: его обвиняют в воровстве, в самом вульгарном воровстве, его, живущего впроголодь, удивляющего заплатами даже ко всему приученных служащих Дома ученых. Как ненужный хлам, раскидывают рукописи, среди формул и горя ищут червонцы. Что же, здесь судьба ставила точку, может быть, и не на месте (ведь не о таком конце помышлял Петряков), но с судьбой спорить не приходилось. Еще несколько минут, несколько неизбежных, навязываемых жизнью, вроде обеда или прихода полотеров, движений - и все будет, к общему благополучию, ликвидировано. Незаметно он засунул в карман бутылочку со стрихнином.

- Я пройду в уборную.

Люди не возразили, но один из них последовал за профессором, чтобы караулить у двери. В коридоре Петрякова обдал злорадный шепот соседей. Он хотел в ответ улыбнуться этим почему-то злым и все же близким, хотя бы территориально, лицам, но не смог: челюсти дрожали от волнения. Оставшись один, он вытащил склянку: сразу и залпом. Он, однако, помедлил. Предстала какая-то сжатая формула жизни: стеклянные глаза жены, Сонечка, революция, лекарства, аппараты, червонцы, раскиданные листы работы. Все сделано - можно кончать. Но не за работой, нет, в этом темном и вонючем сердце квартиры № 32, под надписью «Мочить не разрешается», здесь! От грубости, от уродства жизни профессор еще раз вздрогнул, последний раз, так как дальнейшие движения, толчки, отдачи, конвульсии, механическая тряска мускулов были уже агонией, протекавшей вне его сознания.

Кажется, в тот самый вечер Михаилу Лыкову сообщили, что, согласно ходатайству суда, высшая мера по отношению к нему заменена десятью годами заключения, с соблюдением строгой изоляции. Вначале он задрожал, потом понял и сладостно потянулся, улыбаясь возвращенной жизни.

На десятой или пятнадцатой перекладине

Дар, впрочем, оказался обманным. Очень скоро Михаил понял это. Вряд ли могли быть названы «жизнью» маячение, вращение и засыпание, оставленные помилованному герою. Конечно, другой примирился бы, но ведь Михаил не лгал, заявив судьям, что он не Темка и в банке жить не согласен. Заявление это никого не заинтересовало, и на голову бедного Глушкова (начальника изолятора) был взвален действительно непосильный груз в виде редчайшего заключенного. Есть самоограничение, необходимое и в творческой работе гения, и в шести будничных днях, седьмом воскресном любого обывателя. Всячески одарив Михаила - пестрой окраской, фантазией, темпераментом, - судьба этой добродетели ему не дала. А внешних рамок он не терпел. На что широк белый (белый ли?) свет, и тот жал нашего героя, выворачивая зевотой челюсти и заставляя со скуки кидаться куда попало: то к рулетке, то к девочкам, то под пулю. Кажется, этим, то есть неусидчивостью, широтой прыжков и ограниченностью мира, где, кроме естественных пределов трех измерений, на каждом шагу торчат стены государства, морали, эстетики, размахом рук и скукой, невыносимой скукой существования, объясняется добрая половина человеческих преступлений. Каково же было Михаилу, всерьез почитавшему жизнь за тюрьму, очутиться в настоящей тюрьме, перенести свои страсти и метания в крохотную спичечную коробку, где тщательно содержится муха, словленная сердобольным мальчиком? Руки, чуть разоидясь, налетали на известь стены, мечты же должны были ограничиваться подсчетом дней, часами супа и кипятка, злой жесткостью койки. Михаил, изолированный от жизни, умирал. Что он мог делать с собой? Бить себя? Ласкать? Он не умел ни вспоминать, ни мечтать, все его мысли носили утилитарный характер, они только подготовляли какие-либо поступки. Даже знаменитые тридцать страниц Куно Фишера, в свое время им проштудированные, являлись подготовкой к высокой партийной карьере, то есть сосредоточенным приседанием перед прыжком. Здесь же не прыгнешь. Четыре стены. Остается только биться о них. Действительно, когда миновала первая

животная радость от ощущения подаренной жизни, от хлеба, который успеет перевариться в желудке, от спокойного сна, не прерываемого никем, когда он впервые почувствовал: «10 лет», эту цифру 10, помноженную на месяцы, дни, часы, огромную рябь одинаковых часов, гулких от тишины, кружащихся мириадами точек перед воспаленностью глаз, он начал биться об стены. Ни уговоры, ни наказания здесь не помогали. Глушков терял голову. Бедный Глушков! Человека и без этого арестанта достаточно мучила новая инструкция «о классовой политике в местах заключения». Как это понимать? Проблема казалась ему неодолимой. Досада и горечь школьника перед хитрой задачей овладевали им, хотя он был коммунистом, знал, что такое марксизм, более того, в короткие часы досуга одолел «Детскую болезнь левизны». Тщетно искал он в сухом абстрагированном мире, в этом раю наизнанку, называемом «изолятором», мыслимые классовые подразделения. Перед ним были одни номера, и он терялся (также, как терялся некий киевский профессор, которому предложили установить классовую природу математики). А здесь еще новый арестант с его вечными буйствами, руганью, слезами. Тяжелая это должность! Поскольку уже речь зашла о Глушкове, можно раскрыть, что, несмотря на образцовый порядок в изоляторе, на весь боевой облик, он был в душе несчастнейшим человеком. Наказывать других людей не так-то легко, это не всякому дается, особенно в переходные времена, когда стирается грань между теми, кто наказывает и кого наказывают. Хорошо у Ломброзо расписано: форма черепа, уши без мочек и так далее. Но Глушкову приходилось наталкиваться сплошь и рядом на людей, ничем от него не отличавшихся. Все мочки на месте. Они тоже в прошлом были коммунистами, читали «Детскую болезнь», носили кожаные куртки или галифе. Один - политком полка, увлекшись железкой, продул казенные деньги, другой - принял в трест своего тестя, который что-то дал, что-то взял, получил подписи, с родственной нежностью обнял коммуниста и быстро привел его на скамью подсудимых. Третий... Но стоит ли перечислять? Невидимый волосок, необдуманый поступок отделяли их прежнюю, честную, идейную и вместе с тем уютную жизнь от камер изолятора. Думая об этом ночью, Глушков ворочался, потел и скидывал томившее тело одеяло, он чувствовал себя на волосок от судьбы заключенных. Почему он держит их, а не они его. Выручала (поздно, часто только

под утро) дисциплина: раз приказывают, значит, так нужно. Ясно, что ЦК, ЦИК и коллегия Наркомюста умнее какого-то Глушкова. Со столь успокоительным резюме он засыпал.

Зато обычные кошмары ночей тюремных начальников, надзирателей, караульных - перепиленные решетки, разобранные стены - не навещали Глушкова. Если сторожить, то уж сторожить хорошо. Даже наш фантазер начинал понимать, что отсюда не убежишь. Только на Якиманке голубоглазая мадонна, укачивая пискливого, как мыш, младенца, названного по настоянию Артема Кимом, все еще жила романтическими надеждами на побег. С невидящими белками и упорством лунатика, присущим кротчайшим любовницам, судьбой вознесенным в героини, она пыталась и мужа запутать в это дело. Тщетные, разумеется, попытки: Артем, идущий против государства, - какая горячка могла вычертить столь гротескный образ? Если Артем и страдал от участи, постигшей брата, то свою боль он стойко скрывал. А Ольга рядом, столь же тихо, подпольно вынашивала сложные планы с подкупами, переодеваниями, передачами хлороформа, напильников, револьвера. Только одни глаза ее поддерживали, еще бессмысленные, скорей две капли желатинной жижи, нежели человеческий орган, но в которых уже проступали обманчивый пигмент, фосфорическая напасть, ложь и подлинная лютая мука часов, полных хрипоты, мыслей о Бландове, двойного одиночества.

Узнай Глушков о мечтах Ольги, они показались бы ему верой в загробную жизнь. Из изолятора не так легко было убежать. Солидность заключения поворачивала мысли Михаила в другую сторону: к амнистии. Скосят, обязательно скосят, на треть, потом еще на треть. В общем, он, пожалуй, отделается пятью годами. Но хоть цифра 5 и вдвое меньше 10, желательного облегчения она не давала, множась на столь же мучительные коэффициенты, превращаясь в ту же рябь однородных и невыносимых часов. Различие не ощущалось, и, поскольку речь шла о пустыне, ни количество песчинок, ни объем площади не ослабляли сухости, духоты, отчаяния. Он явно погибал.

Не просто проходило это: организм еще боролся. В ходе дней и часов попадались приступы устойчивости, жизненности, мнимого выздоровления. Михаил тогда настойчиво пытался вымостить базу,

начать жить в предвидении некоей минуты, допускаемой лишь абстрактно, как результат арифметических выкладок, минуты, завершающей десять или хотя бы пять лет. Последние вещи, воспринятые свободным человеком, вставали в его сознании: когда раскроются ворота, он сразу увидит трамвай и голубя, описывающего грузную дугу. Для этой минуты стоит жить. Он пробовал заниматься. Книги, которые он читал, сказали бы наблюдателю, что и этот закоренелый преступник начинает каяться, исправляться, готовиться к честной гражданской работе. На самом деле они являлись лишь косяками, за которые пробовал хвататься выволакиваемый вон из жизни Михаил. Страница такая-то. Конспект. Зачем? Пригодится. Когда? И снова подсчитывались месяцы, дни, часы, чтобы при одном из подобных подсчетов Михаил, вернувшись к давней своей привычке, выместил на книжках тоску, чтобы он истоптал, порвал их. Наказанный Глушковым, наш герой похабно ругался и скулил. Так кончилось это кажущееся исправление. Протянулась еще неделя-другая. Цифры не менялись, скромная работа часового механизма или сердечной мышцы, этого маленького червячка, не могла подточить величавой плыбы десяти лет времени, или, вернее, для него безвременности.

Был еще взрыв, когда Михаил, разглядывая себя, вдруг увидел расхлябанность живота, дряблость рук, ослабление всего корпуса. Это убедительней, нежели зевота, томление и мутность мыслей, заявило о конце. Он струсил и заметался. В лихорадочных розысках выхода он решил заняться гимнастикой. Несколько дней подряд, маниакально, до отупения и сна, он предавался методическим телодвижениям, вбирал и выкидывал руки, подпрыгивал, даже кувыркался. Результаты не чувствовались. Тело его, всегда чуждавшееся выдержки, оказалось малоприспособленным к подобной учебе. Ноги должны были мерить длину московских бульваров, руки кидаться навстречу прохожим, молить Сонечку, бить Ольгу, рвать, рвать безразлично что - московскую разновидность самофракской «Победы» или червонцы, - но обязательно рвать. Шведская гимнастика только оскорбляла их, и очень скоро Михаил презрел новое лекарство. Он снова отдался движению часов, медлительному и пагубному. Куда девалась улыбка, добротная улыбка, вызванная в день смерти профессора сообщением о 10 годах? Жизнь, столь дорого оплаченная страхом, беспамятством,

стрихнином Петрякова, мысленной выдачей Сонечки, то есть истреблением последнего, чахлого, однако упорствовавшего в своем прозябании чувства, - эта жизнь оказалась фиктивной, неживой, выдуманной в коллегии Наркомюста, она оказалась той же смертью, только растянутой, чтобы человек успел ощутить ее цвет и запах, зеленоватую муть воздуха, гнилость слюны.

Хоть и поразительно это, но точно: несмотря на мучительность процесса, на пустоту порожних суток, на бессонницу, Михаил не испытывал ничего, что мы могли бы, даже с натяжкой, назвать раскаянием. Поскольку, вызванное случайными ассоциациями, вставало перед ним прошлое, он жалел себя, жалел трогательно и упорно. Неудачи, пакости судьбы, нагромождение случайных обстоятельств - вот в чем видел он объяснение своей жизни. Он мог бы родиться иным, вырасти в другой среде, получить завидное образование. Став коммунистом, он мог бы, вместо унижительной вычистки, выдвинуться в вожди. Наконец, раз он уж пошел на темные делишки, он мог бы не засыпаться. Все это не его грехи, а номера рулетки. Везет же другим. Те, кому везет, презирают, марают автомобильными плевками, гонят с помощью курьеров, вычищают из партии, судят, держат в тюрьме неудачников. Такую мораль вынес он из своей хотя кратковременной, однако достаточно содержательной жизни. Что касается Петрякова или Сонечки, это тоже не его вина, это несчастье. Профессору все равно пора было отправляться восвояси. Сонечка же, наверное, счастлива. Только он страдает, еще живой и несчастный. Предательство вконец уничтожило его. Была же Сонечка, гордо отстаиваемая на суде, следовательно, весомая, точная до округлости, до осязательности в любой момент пушка на ее щеке или сухого учащенного дыхания. Ее не стало. Такое разорение нельзя объяснить иначе, как грабежом, систематическими налетами судьбы. Любить, самозабвенно любить Артема, чтобы почувствовать перед зеленой скамейкой, перед грузной глыбой плеч одну злобу, звериную, темную злобу. От взволнованных слез перепорхнуть к Бландову, оставаясь все на том же тесном клочке земли, определяемом душой или, если угодно, телом Ольги. Наконец, выдать (пусть мысленно) Артемиду, выдать страсть, нежность чувств, об исключительности которых хорошо знают снега Полуэктова переулка, деревья бульваров и бронзовый Пушкин. Год за годом его обкрадывали. Он устроил бы

суд, не заседаньице насчет шелка, нет, настоящий суд. Там бы, сойдя со скамьи подсудимых, он предстал бы как потерпевший, как гражданский истец, выкладывая обиды, подводя счета убытков, требуя справедливого наказания. Кажется, только набожный шепот всего мира, любовь всех женщин, универсальное участие могли бы хоть несколько вознаградить его. Вместо этого ему бросили знаменитую цифру 10 (вероятно, для простоты умножения). Каяться? Нет, негодовать. Еще жалеть себя и, приучив соответствующие железы к новому режиму, прерывать ругань или механические выкладки месяцев, дней, часов регулярностью слез, ровных и беспредметных, как хронический насморк.

Так отмирание перешло в следующую стадию: попыток спастись, производимых уже инстинктивно, серии конвульсивных прыжков, лишенных примитивной обдуманности и способных лишь изнурять злосчастного Глушкова. Разбивая стекла, Михаил осколками резал себя, резал не всерьез, наполовину, даже на четверть, марая лицо кровью и визжа от неподдельного ужаса. Зачем? Глушков перебирал различные догадки: симуляция сумасшествия, хулиганство, наконец, желание сменить койку на спорный комфорт тюремной больницы, куда после первой из таких попыток был помещен арестант. Он не догадывался, что и для самого Михаила подобные поступки оставались темными и загадочными. Зачем как-то, оттолкнув надзирателя, он бросился бежать по коридору? Сколько поворотов, этажей, надзирателей, сколько дверей с часовыми, с пропусками, контрольными жетонами, проверками отделяли его от воли? Несколько глупейших прыжков, и только.

Глушков не понимал, наказывал, увещевал. Хорошо быть начальником исправдома - там понятны и функции мастерских, и назначение сердца, это возвышенные порывы собесовских фребеличек, только с некоторой наждачной жесткостью ласкающих воспитанников рук. Но зачем существует изолятор? Изолировать? Это вполне понятно, это даже естественно для стен, однако это трудно дается человеку, хотя бы тому же Глушкову. Начальник всячески хотел смягчить прямоту и сухость задания. Он пытался и в лепрозории остаться медиком с благодушным молоточком и трубочкой. Отсюда улыбка при виде книжек и конспектов. Отсюда тюремный театр, где один (подделывавший червонцы) артист нарисовал, по просьбе

Глушкова символическую свободу в виде симпатичной женщины с буйным бюстом и с красным знаменем. (Наивный, он не учел, как будет это двойное изображение равно недостающих и свободы и женщины волновать пациентов.) Он устроил для молодняка начальные курсы политграмоты Он, право же, старался. Но на проделки Михаила не хватало ни гуманности, ни терпения.

Ольга надеялась, писала трогательные письма, достойные издания, читала ежедневно «Известия», думая разыскать, как сказочный клад, затесавшуюся среди «международного положения СССР» и «валютной реформы» амнистию. Она даже наладила приятельские отношения с одним из надзирателей изолятора который, однако, дальше принятия папирос и философического «оно конечно», не шел. Она надеялась, не могла не надеяться, живая, животно окрепшая, полная, голубоглазая, ожидающая рядом с законным мужем другого - настоящего. Романтический чад Харькова перешел теперь в густоту быта, похожего на изобилие молока, даже Михаила делаая добротным отцом Кима, супругом, находящимся в длительной отлучке, в некоем дальнем плавании. Она не считала дней и часов, веря, что хватка его рук, что теплота и грузность ее чувства растопят цифру, выдуманную какими-то людьми. Оставаясь одна, она подолгу беседовала с заместителем Михаила, с младенцем, нежно-розовым, как цвет яблони или как заливной поросенок. Ему передавались длительные истории, любовные монологи, сетования и мечты, так и не рассказанные вечно торопившемуся Михаилу. Писк его, столь раздражавший соседей, казался ей разумным, знаком сочувствия и понимания, призывом к бодрости. Она ничуть не удивилась бы, увидав на пороге комнаты Михаила, - до того действенно и горячо было ее ожидание в зимние вечера, когда для Артема существовала только дискуссия, когда за стеной имелись часы, служба, червонцы, изредка «киношка», когда, кроме дискуссий, кроме службы, тяжелыми пластами нарастал и в морозной сухости ожесточался снег этой на редкость исправной зимы.

Ждать ей, однако, оставалось недолго. Глушкову тоже предстояло освобождение, как и нам, а с нами и нашим читателям. Нечего медлить, хоть и тяжела подступающая минута. Ясно, что один из таких прыжков должен был как-нибудь закончить историю, раз ни герой, ни судьба (в образе губсуда) не сумели или же не захотели

поставить более эффектной точки. Это не выдумка писателя, жаждущего освободиться от ставшего обременительным персонажа. Жизнь сама занимается известной уборкой, с помощью «несчастливых случаев» выволакивая прочь еще по инерции передвигающиеся трупы.

Михаила вели в баню. Утро было морозным и ясным, с той иллюзорной солнечностью, которая не раз восхищала русских поэтов своим мнимым весельем, нам же кажется мертвой, пахнущей фенолом и раскиданным ельником, искусственным освещением огромной, хоть и незримой похоронной процессии. Желтый диск, дающий на юге тепло, жизнь, мотовски швыряющий розы и шутки, здесь только значит, числится, чтобы голубизной снега и нестерпимым холодом подчеркивать всю помпезность церемонии. Впрочем, это дело вкуса, и к бане, куда вели нашего героя, отношения не имеет. Скорее уж следует отметить присутствие во дворе Глушкова, доброго фермера, осматривающего свое хозяйство. Солнце сияло. Глушков осматривал, предвиделись шайки и мыло. Что же дальше? Хмурый корпус, в котором помещалась баня? Руки Михаила, после длительного затекания рванувшиеся к желтой точке на небе? Да, все это, еще пожарная лестница, еще душевная спазма, еще веками истребляемая, однако, кажется, вовек неистребимая притягательность той стихии, чье плоское изображение украшало стены тюремного театра. О бессмысленности поступка не приходится говорить. В лучшем случае Михаил достиг бы крыши внутреннего корпуса, отделенной рвами двора от других крыш. Не птицей же он был, чтобы удовольствоваться обозрением окрестностей, чувством высоты или пением. Но мало думавший Михаил на этот раз и вовсе не успел подумать. Он увидел свет и ступеньки, тонкие перекладины, ведущие к диску, дорогу, отличную от обычных коридоров изолятора. Он рванулся, и только. Глоток воздуха, вскрик - иначе нельзя рассматривать этот нелепейший жест. Если в нашем герое еще оставались дробные величины жизни, то это они подкинули его вверх. (Кидая мячик, дети порой втихомолку, как бы стыдясь своей наивности, задумывают: а вдруг полетит...)

Ослабевшие руки жадно впивались в перекладины, подымая пуды тела. От резкости света, от крика Глушкова и надзирателей, от торжественной трудности двадцатиградусного воздуха у Михаила закружилась голова. Ни одной мысли в ней не было. Только где-то (на

десятой или пятнадцатой ступеньке) образ необычайного портного, этого оперенного тоской и безумием жаворонка, встал перед ним. Примятин летел зигзагами, усиливая головокружение. Перекладины же, скользкие и обжигавшие пальцы, давались все труднее и труднее. Еще одна, еще немного воздуха, и последний взлет был закончен.

Голова его ударилась об одну из перекладин, обдав нарочитую чистоту снега богатством и низостью, чтобы пурпур крови, чтобы мутность мозгов вошли навсегда в ночи Глушкова, искушая и томя человеческое сердце. Но оставим начальника стоящим над трупом с воспаленными любопытством зрачками, вновь переживающим хрупкость и натянутость «волоска», который отделяет хорошо нарисованную свободу от красной лужицы, неспособной даже растопить снега, - сами же в эту трудную минуту, вместе с Ольгой (кто же, кроме нее, поймет нас?), поскольку кончена жизнь, оплачен не один только шелк, некого больше судить и осуждать, позволим себе предаться горю, холодному, сухому, как это январское утро. Что добавить? Мы любили нашего героя, с ним мы присутствовали на последней (десятой или пятнадцатой) перекладине. Пусть за это судят и нас.

Почти апофеоз

Пожалуй, мы бы кончили на этом наше повествование, обойдя молчанием несчастную чету, теперь еще более обделенную и унылую, если бы не существо почти условное (увеличение фунтов, сосание груди, рези в желудке), которое меняет, однако, знаки препинания. Быстро зарастут плечи, образованные погибшим героем в кассах различных трестов, процесс забудется даже судьями, наши читатели и те, прочитав дюжину иных романов, на случайное упоминание заспанной библиотечарши: «Не хотите ли «Рвача»?» отзовутся недоуменным: «Что это?», да, именно «что», а не «кто». Изумительный оздоровитель - забвение - начисто сотрет сомнительные следы, оставленные Михаилом Лыковым. Кроме одного: на Большой Якиманке неизвестное продолжение нашего романа уже пищит и бьется в руках безутешной Ольги. Здесь залог того, что книгу эту не столь легко, захлопнув, сдать в архив. Последняя глава продиктована желанием, расставаясь с известной жизнью, обследовать ее мыслимое продолжение. Таким образом, помимо нашей воли точка заменяется гораздо менее эффективным многоточием. Выручает автора история, неожиданно превратившая эти обычные ночи, полные молчаливого горя Артема, слез Ольги и абстрагированного крика буддически безучастного Кима, в огромные черные мифы, хорошо памятные всей России.

Четыре ночи - кто же их забудет? Четыре ночи, когда у всех на глазах совершалось чудо: недавнее прошлое, житейски осязательное, связанное с пайками, с печурками, со службой, вдруг предстало перед всеми патетическим массивом, историей, историей, которую остается лишь изучать, завидуя современникам событий, то есть в данном случае самим себе. Историей каменело парафиновое лицо, расходясь со скромностью френча, еще недавно добродушно-едкое, катившееся по подмосткам митингов и съездов, теперь же недоступное, вошедшее в прохладу музеума. Кто назовет «лбом» архитектуру костей, как бы выражавших точность и величину циклопического задания? Нет, не труп лежал в Колонном зале - история. Древняя античная скорбь слышалась в истерических вскриках женщин, может быть, кокетливых

совбарышень или даже просфорниц: за них кричала земля, прощаясь с жесточайшим любовником, из тех редчайших, что, неудовлетворенные любованием, меняют черты ее лица, рельеф человечества.

Что будет дальше? Этого мы не знаем, но железное гроыхание переворачиваемого листа залило и наши уши в то утро, когда за дверьми раздалось: «Ильич!..» Мы поняли, что следует оглянуться, перевести дыхание на иной счет. Для этого дали городу четыре ночи, с их опаляющим лютым холодом и с пронзительностью яркого света, заливающего площади.

Пусть многие не сразу поняли значимости ночных паломничеств, говоря о любопытстве, об инфекции, даже о злорадстве, огромная коллективная воля вела и их, заставляя коченеть в хвостах, топтаться у скудных костров, выжидать в бездумии, в идеальном безвоздушии угрюмо сжимающегося реомюра одной минуты прояснения. Кого только там не было! Коммунисты прощались с вождем и с товарищем. Москва - с национальным героем, со вторым собирателем государства, с неистовым механиком (как был неистовый плотник), на род же просто с хозяйским оком этого марксиста, читавшего некогда рефераты в Женеве, а потом оказавшегося мудрейшим управителем путаной земли, которая историю свою начала с многообещающего обращения «порядка-то у нас нет...». Даже клиенты «Лиссабона» приходили сюда, забыв об Октябре, но хорошо помня о рождении нэпа, приходили жаловаться мертвому на живых («Вот если б он жил, разве...»). Впрочем, все это забывалось, когда люди после долгого топотания, с прокаженной белизной отмороженных носов и ушей, с металлическими ударами ледяных сердец, от ночи, гуда и морозной спертости переходили в зал, где аляповатая пышность, советской Византии таила в себе, как кокон, небольшое ядро, этот парафиновый облик, архитектурную форму черепа, штурм Октября, стратегию шести лет, еще недавнюю веру, радость, страсти России. Однородной волной протекала человеческая масса мимо бесчувственного тела, чуждая обособленности мыслей, не зная подразделений, встречаясь с историей, которая одна принимала этот страшный парад. Люди должны были выдержать на себе опустошающий пущу мороза взгляд ее только предполагаемых глаз.

Потом они снова выливались в жизнь, то есть на осиротелость площадей, улиц, тупиков, к маленьким игрушечным кострам, тщетно

пробующим смягчить бесчеловечность ночи, вспоминали свое, домашнее, бабки крестились, переругивались мастеровые. Теплота зала оставляла лишь судорожность зевоты. Нужно было жить. Возле огня, чтобы согреться, прыгали как на гуляньях. Бабка визжала: «Не щупай!..» Из носов свисали самые фантастические сосульки, и общая седина была исключительно гримом зимы. Подступая с трудом к вожделенным языкам костра, валенки потели и сдавались. Тулупы же не могли отойти, они оставались звериной броней. Декорация в виде кремлевских стен дополняла картину: это век Алексея Михайловича, истребованный для грядущего, бил в ладоши, лунатически бродил по залитым электричеством улицам и трепетал.

Кто победит? - невольно спросили мы себя, выходя из Колонного зала, как бы сопоставляя суровую точность черепа и стихийное копошение толпы, дымность костров, ухабистость речи. А может быть, и вовсе праздный это вопрос, ибо и он, и они одно - Россия?..

Подобные сомнения одолевали и Артема, прощавшегося с мертвым водырем. Он пытался различить свист и шамканье заснеженных деревьев, прочесть морщины на лице ее ходок - эти шифрованные телеграммы грядущих «Известий». Он хотел проникнуть в монотонный говор Запада, еще более загадочный, нежели молчание снега. Сдвинутся ли? Долго ли Артемам держаться на этих нелегких аванпостах? Ведь лют мороз и слабо человеческое сердце. Здоровая порода, однако, победила: продержимся! Предстоит трудное время лавирования, маневров, выжидания, кропотливой подготовительной работы, без вождя, серое время выращивания на смену одному такому тысячи простых. Но не напрасно жил этот человек, не напрасно живем и мы. В шторм бьется суденышко (где уж тут думать о флаге!), и слезы, даже ропот понятны. Однако поворот назад, измеряемый узлами, можно и наверстать. Это не брошенный берег. Иди же, Артем! Работай! Истребляй глазами сусликов, а если нужно будет, и людей! Проще, только бы проще!..

Он шел домой стойкий и ободренный общностью горя, хоть одинокий, пораженный жалким концом брата, враждебностью Ольги, сказали бы мы, несчастный, если бы не его счастье (нам недоступное) - знать, зачем человек живет. Дверь открыла Ольга. Какие бессмысленные и впрямь страшные глаза! Известие о смерти Михаила здесь решило все. Она не забилась в падучей, не кинулась из окошка:

тяжесть груди и глаза Кима надежно вязали ее. Она и не сошла с ума, то есть не вырвалась из стен, воздвигаемых разумом на непосильную волю. Она просто кончилась, согнулась, отупела, уже ни на что не реагируя, кроме крика Кима, встречая и провожая дни равно бесчувственными, коровьими глазами, слов нет, прекрасными, редкостно голубыми, способными вызвать умиление, восторг или же брезгливую гримасу.

- Я у Ильича был.

Ольга ничего не ответила. Для нее ведь больше не существовало ни Ленина, ни Артема, ни мороза. Даже образ Михаила и тот стал недоступен, исчез в чаду кухни, в чаду слезных пустых часов. Она мыла тарелки. «Проще! - повторял себе Артем. - Проще! Работать! Жить!» Он боялся застекленелости близких глаз. В это выразительное молчание вмешался третий. Крик младенца заставил Ольгу очнуться, кинуться к нему. Тогда нечаянная радость оглушила ее: в том, как рвались ручки Кима к погремушке, висевшей над кроватью, трудно было не опознать мечтательной и жестокой биографии нашего мертвого героя с ее вступлением в виде ослепленного телескопа и с финальными перекладами отвесной лестницы. Даже глазки уже посвечивали фосфорической меланхолией, памятной обманчивостью пигмента, как бы толкая рваческое движение рук. Что он хотел? Погремушку? На что могли жаловаться глаза, кроме голода или колики? Ложь, выдумка, подлог, вечные вдохновители преступности, а также искусства!

Не только Ольга, даже Артем тоже понял язык рук и глаз. Он не выдержал, отвернулся. Пока Ольга покрывала истерическими поцелуями слепок боготворимых рук, ночь за ночью воссоздавая прошлое, он пытался взглянуть вперед, включить и младенца в захват этой ночи, в косность снега, в величественный расчет черепной коробки: воспитаем Кима! Ночь не поддавалась, а сжатое, как ртуть градусника, сердце упрямо пыталось подняться вверх.

Ручки же Кима по-прежнему рвались к яркой побрякушке.

Июль-ноябрь 1924

Коксид-Париж

notes

Примечания

1

Старик (фр.).

2

Мой ангел (фр.).